

MODERN RUSSIAN LITERATURE AND CULTURE
STUDIES AND TEXTS

volume 18

М. А. КУЗМИН

ПРОЗА

ТОМ V

Berkeley, 1985

MODERN RUSSIAN LITERATURE AND CULTURE
STUDIES AND TEXTS

volume 18

edited by

Lazar Fleishman *Jerusalem*
Joan Delaney Grossman *Berkeley*
Robert P. Hughes *Berkeley*
Simon Karlinsky *Berkeley*
John E. Malmstad *New York*
Olga Raevsky-Hughes *Berkeley*

Berkeley, 1985

М. А. КУЗМИН

ПРОЗА

V

ПЛАВАЮЩИЕ-ПУТЕШЕСТВУЮЩИЕ

*** * ***

ВОЕННЫЕ РАССКАЗЫ

РЕДАКЦИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

ВЛАДИМИРА МАРКОВА

И

ФРИДРИХА ШОЛЬЦА

BERKELEY SLAVIC SPECIALTIES

Berkeley, 1985

«Примечания» © 1985

by Vladimir Markov and Friedrich Scholz

PRINTED IN U.S.A.

ISBN 0-933884-45-1

М. К У З М И Н

ПЛАВАЮЩИЕ
ПУТЕШЕСТВУЮЩИЕ

РОМАН

ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ПЕТРОПОЛИС

1923

*Дорогому ЮР. ЮРКУНУ
Посвящается*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1.

— Ну, можно ли так долго спать?

— Разве так поздно?

— Скоро два. Я принес вишен.

— Ты уже выходил, Орест?

— Очевидно. Лучше того: я уже работал.

— Это ужасно, Орест. Ты всегда — как укор совести. А я всегда просыпаю. Ну, с завтрашнего дня начну жить по новому; у нас завтра что? среда? Ну, вот и отлично... а смешные вчера стихи говорил в «Сове» этот московский тип. По правде сказать, я ничего не понял. А Лелечка, по моему, совсем напилась. Она — забавный зверек. Ну, уж твоя Ираида, благодарю покорно!

— Она очень достойная женщина, Ираида Львовна.

— Я ее достоинств от нее не отнимаю. Но она очень громоздка для нормального времяпрепровождения, и иногда, прости меня, прямо напоминает Полнну. Нельзя же из всякой малости делать катастрофы и великие вопросы! если у нее попросить 10 р., она их даст с таким видом и с таким чувством, будто спасает голодающую деревню.

— Да ты одеваешься, или просто так болтаешь?

— Я уже почти встал. Раз у меня голова отодрана от подушки, — дело сделано.

И в двери просунулась голова почти подростка со спутанными светло-русскими волосами, подпухшими глазами, открытым, будто еще не выпавшимся, ртом, очень розовыми щеками.

— Ну, здравствуй, Лаврик!

— Я еще не умывался, — проговорил другой и снова исчез за дверью. Орест Германович сам развязал попку и подошел к столу, где лежал большой, серый конверт с надписью: Оресту Германовичу Пекарскому, в собственные руки. «От неукротимой Ираиды», вспомнилось Пекарскому выражение Лаврика, и он стал читать длинное послание...

«При том любовной клятвой связан
Совсем с другой, совсем с другой».

Лаврик вошел, напевая, молча поцеловался и припаялся за вишни.

— Как скучно, когда пишут такие длинные письма. Еще скучнее, когда их при вас читают, и уже совсем не весело, когда знаешь, что это письмо написано женщиной, которая тебя терпеть не может.

— Откуда ты знаешь это? Она просто в тебе разбирается, как и во всех людях.

— Никогда не поверю, чтоб Ираида могла не только разобратся, но и разбираться; у нее слишком оглушительный темперамент и неистовые желания спасти людей от несуществующих катастроф.

— Ираида Львовна — мне большой друг, и опять-таки повторяю, очень достойный человек, — потому нахожу твои насмешки неуместными.

— Ах, простите пожалуйста, дядюшка Орест Германович, — сказал Лаврик, держа вишню во рту. — Я не знал, что это — табу.

— Да, это — табу.

Орест Германович, действительно приходился дядей Лаврику, носившему ту же фамилию Пекарского. Он не только приходился дядей, но был единственным родственником своего племянника, так что, действительно, и забота и ответственность за последнего лежали на нем, Оресте Германовиче. И заботы и ответственности было не мало, так как выгнанный из реальной гимназии Лаврик был мальчиком живым, беспечным, веселым, и ничего не хотел делать, кроме как писать какие-то стихи, да бродить по городу. По правде сказать, Ореста Германовича это не очень тяготило, так как он сам был человеком беспечным и не думал о будущем, отчасти же потому, что с водворением Лаврика в его трех комнатах, в них появился дух молодости и веселого бездумья. Может быть, и прав был младший Пекарский, думая, что автор письма, полученного Орестом Германовичем, не очень-то его, Лаврика, долюбливает. Конечно, письмо было совсем не об этом, и этого ясно не было сказано, но за ласковыми фразами чувствовалось скрытое беспокойство, хорошо ли идут запятия, и, вообще, вся жизнь Ореста; спокойно ли ему, и как-то все сводилось к тому, что и беспокойство и несчастья, и неудобства, которые могли бы происходить с Пекарским, главную причину имеют в его племяннике.

Собственно говоря, письмо было ни о чем, но это обстоятельство не удивило Ореста Германовича, потому что он привык к подобным доказательствам подлинной, хотя несколько и беспокойной дружбы со стороны Иранды Львовны Вербиной. Виновник беспокойств этой дамы молча и капризно пил кофе, выстукивая свободной рукой по столу тот же оффенбаховский мотив. Одетый, он не казался таким мальчиком, но во всяком случае, край-

не молодым человеком. Только налив своему племяннику вторую чашку, Орест сказал:

— Хочешь со мной поехать на Фонтанку? Это не мешало бы.

Лаврик сделал гримасу и промолчал.

— Я знаю, что тебе это скучно, но тебе больше, чем кому бы то ни было, следует поддерживать порядочные знакомства. Конечно, богема и разные неизвестные мальчики — очень мило, но если ты серьезно думаешь о литературе, о своем успехе, то тебе нужно посещать и другие круги, — не спорю, скучные, но почтенные и полезные, — и несколько исправить свою репутацию.

— Ах, Боже мой, Орест! Ты говоришь так, будто ты действительно мой дядя и тебе 50 лет. Ведь это же безмерно скучно, и от этого не только не разовьется, если что-нибудь у меня и есть, а окончательно засохнет!

— Да, но мне и действительно, хоть не 50, но 32 года, и все-таки я твой дядя.

— Нет, нет, нет! Ты на себя наговариваешь. Ты все говоришь официально и как хотят разные дурацкие барыни вроде твоей Ираиды. Я знаю — ты мой ровесник и никакой не дядя. Зачем ты хочешь наши отношения заменить какими-то ординарными разницами между старшими и младшими? Есть огромная разница между нами, но она легка и незаметна, — радостна для тех, кто любит. Если-б даже ты сам захотел обратить эти отношения в исправительное влияние брюзгливого и благодетельного старшего родственника, то тебе это не удастся, потому-что я для тебя слишком дорог.

Лаврик вскочил в волнении, бросил окурки на пол и вдруг так покраснел, что сделался розовее розовой обивки кресла, на которое он опустился, тотчас же закурился новой папиросой.

Орест Германович переложил окурок с полу в пепельницу и, подойдя к креслу, где сидел Лаврик, начал несколько глухим, и, повидимому, спокойным голосом:

— Милый Лаврик, ты, конечно, прав. Конечно, я все говорю против сердца, единственно желая тебе добра.

— Ах, мое добро исключительно в том, чтоб ты был около меня, иначе я погибну.

— Да, но этого мало. Может случиться так, что если мы не будем рассудительными, мы оба погибнем.

— Оба погибнуть, пока мы вместе, мы не можем. Ну, что может с нами случиться? Я беру самое ужасное: оба мы обнищаем, попадем в тюрьму, умрем, нас повесят. Разве это гибель? А вот если ты меня прогонишь, это будет не только моею гибелью, но и твоею!

И Лаврик ринулся бегать по комнате, куда Орест не оставил его, взяв под руку.

— Какой ты глупый, Лаврик! Никто не хочет, чтоб мы с тобой расставались; все, что ты говорил, конечно, правда. Я несколько ворчлив сегодня, потому что предстоит платить за разные вещи, а деньги из Москвы задерживают почему-то.

Лаврик спросил вдруг неожиданно просто, будто и не он минуту тому назад ораторствовал с таким жаром.

— Так что у тебя совсем нет денег?

— Есть какая-то мелочь.

Племянник поморщился.

— Жалко.

— А тебе нужно что-нибудь?

— Да... Но, это ничего. Как-нибудь обойдусь.

И будто, чтоб отвлечь разговор, он спросил:

— Ты сегодня много поработал?

— Порядочно. Я очень весело писал с утра. Потом меня несколько расстроило это письмо.

Лаврик незаметно улыбнулся и продолжал, сделав вид, что пропустил мимо ушей последнюю фразу дяди:

— Ты опять будешь писать? Очень прошу тебя, напиши покуда. Мне тут нужно сходить по одному делу, а на Фонтанку я за тобою зайду попозже.

Они подошли к столу, не слишком заваленному бумагами, светлую политуру которого еще более охладили небольшие, белые листки начатого рассказа. Из светлой рамки светлые Лавриковы глаза лукаво взирали на разорванный серый конверт, а сам Лаврик, уже простившись с Орестом, не удержался, чтоб не заметить:

— А все хлопоты и дружба и теснота, которую заводит Иранда Львовна, объясняются очень просто: она влюблена в тебя — вот и все.

ГЛАВА 2.

В квартиру Вербиной входили со двора; впрочем, у этого старинного дома и не было входа с улицы. Но если Иранде Львовне и неприятно было во всякую погоду пешком переходить двор, окруженный на манер итальянских монастырей, или старинных гостинных дворов, низкими аркадами, то это неудобство вполне искупалось внутренним устройством квартиры, где необычайное расположение комнат, изобилие коридоров, людских и шкапных, внутренние лестницы и антресоли, — сохраняло подлинный характер 30-х годов, что необычайно радовало хозяйку, оставившую свои апартаменты старинною же мебелью, отчасти перевезенной из Смоленской усадьбы, отчасти найденной в Александровском рынке. Госпожа Вербина не только в обстановке, но и в

костюмах старалась сохранить характер старинности, который очень шел к ее высокой, полной фигуре, напоминавшей Брюлловские портреты: покатые плечи, высокий лоб с прямым пробором, большие, темные, без особенного выражения глаза, удлинённый овал и маленький рот бантиком, — заставляли желать на этой голове желтый, турецкий тюрбан, а самое Иранду Львовну видеть или в маскарадном costume, сопровождаемую арапчатами, или в цилиндре и амазонке, готовую сесть на серого в яблоках жеребца, привязанного у балкона с широкой лестницей в сад. Она без сомнения знала это сходство и часто принимала позы, сидя на диване, заваленном вышитыми подушками, опустив свободно узкую кисть руки с длинными пальцами и выставив кончик лакированной туфли. Для полноты впечатления она часто носила декольте, прикрывая его нежными, пестрыми тканями, а в руках держала круглое опахало из белых перьев с маленьким зеркальцем посередине, в котором так соблазнительно отражалась ее торжественная, пышная, не без примеси гаремности, красота. В этот день впечатлению Брюлловского портрета несколько мешало то обстоятельство, что рядом с Ирандой Львовной на кушетке помещалась ее *belle-soeur* Лелечка Царевская, тоже очень хорошенькая дама, но совсем не в стиле Иранды Львовны. Она не напоминала ничьих портретов, а просто была миленькая блондинка, каких тысячи, но которые, тем не менее, всегда находят достаточное количество ценителей. Повидимому, несмотря на родство, обе дамы различались и взглядами, по крайней мере в данном разговоре, потому — что невыразительное лицо старшей носило некий намек недовольства, а Лелечка, вся красная, волновалась и горячо доказывала что-то.

Брат хозяйки, Леонид Львович, молча сидел у окна, перелистывая книгу.

— Я не понимаю, чего же ты ждала? Раз ты против богемы, против свободы, против артистичности, зачем же ты туда шла? Если ты шла из любопытства, так чего тут сердиться? Ну, посмотрела, не понравилось и не ходи больше... Пускай каждый забавляется по своему.

Низкий, несколько медлительный голос Ираиды Львовны отвечал:

— Ты говоришь — забава. Но ведь там бывают люди искусства. Это их мельчит, распыляет и овульгаривает... Они делаются, хотя бы на два часа, людьми распущенными, что не может не отражаться на их искусстве.

— Ты смотришь слишком мрачно и серьезно. А я так положительно распускаюсь, расцветаю там и как-то непосредственно соприкасаюсь с искусством, которое во всякое другое время стоит в стороне. Здесь оно входит в жизнь, ты понимаешь?..

— Жизнь!.. — задумчиво протянула Ираида.

Елена Александровна, будто что поняв, быстро и как-то некстати весело спросила:

— Ты думаешь об Оресте?

— И о нем.

— Поверь — это его несколько не интересует. Его таскает туда Лаврик.

— Тем хуже.

— И посмотри: ты говорила, что это влияет на искусство. Разве Орест Германович пишет меньше, хуже, чем прежде? По-моему, нет.

— Да... Но пишет совсем не то, что следовало бы и что, я уверена, он сам хотел бы...

— Очень трудно указывать людям, чего они хотят, особенно таким капризным существам, как поэты.

Это сказал Леонид Львович, не отходя от своего окна. Ираида Львовна повела на него глазами и не спеша ответила:

— Я давно знала, что ты — не христианин с твоей теорией невмешательства.

— Я не понимаю, при чем тут мое христианство?

Елена Александровна, недовольная тем, что разговор переходит от впечатлений вчерашнего вечера к отвлеченным рассуждениям о христианстве, начала было быстро: — А что касается Лаврика... — Но была прервана звоном телефона, повешенного тут же над кушеткой. Ираида Львовна плавным движением взяла трубку, и первые ее реплики сохраняли спокойную певучесть, но через несколько секунд ее глаза округлились, рука выронила опахало с зеркальцем, и в ответах слышалась нескрываемая тревога.

— Что вы говорите, милая?.. Нет, не знаю... Он сам. Я ничего не знаю...

Все может быть... Это же ужасно... Непременно... Сегодня же... Я его жду... Но если он не придет, я сама поеду... До свидания...

— Это Полина? — шопотом спросила Елена Александровна и взяла трубку из рук Ираиды. Теперь уже зазвонел Лелечкин голосок без всякой тревоги:

— Милая Полина Аркадьевна! здравствуйте! Выспались ли вы?.. А? Что? Здесь... Ну, конечно, с мужем... Я без мужа езжу только в предосудительные места. Верхом?.. Почему?.. На вас?.. Но почему же вы-то должны ездить верхом?.. Какой вздор... Конечно, конечно, буду ждать... Ну, целую вас!..

Опустив трубку, Елена Александровна рассмеялась и сказала: — эта Полина — неподражаема. Какой-то ее знакомый генерал женится — и не на ней вовсе, а она

по этому случаю ездит верхом в манеже... Я ничего не понимаю... У нее положительно, как говорят поляки, «заяц в голове». Но, ах, какой милый человек!

— Только напрасно она держится под неприличную даму, — заметил муж.

— Ты к ней всегда несправедлив. Она премилое и превеселое создание.

— Она несчастный и очень добрый человек... — заключила Ираида.

Елена Александровна удивленно переглянулась с мужем, но ничего не возразила. Затем, спросив, где Ираида брала материю на платье, с невинным видом прибавила:

— Ты сегодня ждешь Ореста? Так хотелось бы его видеть, но тысячи дел. Передай ему, что я его очень люблю, что непременно жду на днях к себе... Если он один не двигается, может придти и с Лавриком. А я с Леонидом исчезаю... До скорого...

Выйдя на улицу, Елена Александровна весело общилась мужу:

— Я понимаю еще, что Полина может разводить всякие истории и соваться в чужие дела, но как Ираида ей верит, это непостижимо. Ведь нужно быть набитой душой, чтоб не видеть, что Полина врет на каждом шагу. И при том злостно врет... Так, просто в свободное от свиданий время сидит и выдумывает разные гадостные новости про своих друзей. И с христианством тоже хорошо шлепнулась твоя сестрица! Она, конечно, прекрасная женщина, но ее высокий стиль удручает, по крайней мере меня. — И несколько не меняя тона, Елена Александровна начала торговаться с извозчиком.

Между тем прекрасная женщина, высокий стиль которой удручил Лелечку Царевскую, уже не лежала на

кушетке в позе Брюлловского портрета, а ходила по комнате, думая возвышенно и страстно, как бы устроить, подать помощь, спасти ее друга Ореста Германовича, которого она так ценила, любила, уважала.

Тотчас же после первых приветствий и извинений со стороны Пекарского за то, что он несколько задержался, имея спешную работу, Ираида Львовна отвела своего гостя на излюбленную кушетку и таинственно начала:

— Милый друг, я должна вас предупредить, что вас ожидают большие неприятности...

— От неприятностей никто не застрахован, — довольно равнодушно заметил ее собеседник.

— Да, но их можно предотвратить... Если вы сами этого не хотите делать, то этим должны заняться ваши друзья.

— Я вам очень благодарен, Ираида Львовна, но вы, наверное, очень преувеличиваете... Вы знаете, как любят распускать сплетни даже не злые люди.

— Это не сплетня... Я знаю из верного источника...

— От кого же? Уж не от Полины ли Аркадьевны?

— А если бы и от нее?

— Она же совершенно безумный человек.

— Вы ее не знаете. Несчастный — да. Но почему безумный? Притом она так искренно расположена к вам, что может считаться вашим другом, а врагов у вас не мало.

— И у устрицы есть враги.

Ираида Львовна умолкла, а Орест, думая, как бы не оскорбилась его собеседница на последнее изречение, несколько лениво продолжал тот же разговор, который, повидимому, его не особенно интересовал.

— Так вот мои враги хотят мне сделать неприятность?

— Неприятность вам грозит не от врагов, а от людей, которых вы считаете очень близкими,—раздельно и медленно обыкновенного произнесла Ираида Львовна.

Орест Германович задумался на минуту, потом вдруг покраснев, спросил с некоторым гневом.

— Надеюсь, вы говорите не о моем племяннике?

На неподвижном лице Вербиной скользнуло и исчезло испуганное выражение, но она ничего не успела ответить, потому что в эту минуту в комнату вошел раскрасневшийся и улыбающийся сам Лаврик.

ГЛАВА 3.

Полина Аркадьевна Добролюбова-Черникова были стигудь не артистка, как можно было бы подумать по ее двойной фамилии. Может быть, она и была артистка, но мы хотим сказать только, что она не играла, не пела, не танцевала ни на одной из сцен. Во «Всемирном Петербурге» при ее фамилии было поставлено: дочь надворного советника, а на ее визитных карточках неизменно красовалось: урожденная Костюшко, что давало немало поводов для разных насмешливых догадок. Действительно, было не то удивительно, что ее девичья фамилия была Костюшко, а то, что Полина могла быть каким бы то ни было образом урожденная. Казалось, что такой оригинальный и несуразный человек мог произойти только как-то сам собою, а если и имел родителей, то разве сумасшедшего сыщика и распутную игуменью. Мы назвали Полину оригинальной, но, конечно, как и всегда, если покопаться, то можно было бы найти типы и, если хотите, идеалы, к которым она естественно или предумышленно восходила. Святые

куртизанки, священные проститутки, непонятые роковые женщины, экстравагантные американки, оргиастические поэтессы, — все это в ней соединилось, но так нелено и некстати, что в таком виде, пожалуй, могло счесться и оригинальным. Будь Полина миллиардершей, она бы дала, может быть, такой размах своим неленым затеям, что они могли бы показаться импозантными, но в теперешнем ее состоянии производили впечатление довольно мизерное и очень несносное. Одно только было характерно и даже кстати, что она с браслетами на обеих ногах и с брилом величиною в добрый булыжник, болтавшимся у нее на цепочке немного пониже талии, поселилась на Подъяческой улице в трех темных-претемных комнатухах, казавшихся еще темнее от разного тряпичного хлама, которым в изобилии устлала, занавесила, законопатила Полина Аркадьевна свое гнездышко. А между тем она была женщиной доброй, душевной и не чрезмерно глупой. Но она официально считалась и сама себя считала «безумной», и потому волей или неволей «безумствовала». Она безумствовала и теперь, сидя на мягком ковре у ног Иранды Львовны, и страстно шепча большим накрашенным ртом:

— Вы непременно должны это сделать. Это ваша миссия, ваш крест; я вас так понимаю. Я сама люблю Ореста Германовича, я ничего не ищу, не хочу от него, я, просто, стихийно его люблю. У меня было пятьдесят шесть любовников, вон там моя книжка. Они все записаны. — И она, не вставая с ковра, проползла к маленькому столику, где лежала тетрадка в темно-лиловом коленкоровом переплете с вытисненной золотом адамовой головой. Полина порылась в ней немножко и прошептала:

— Два месяца тому назад пятьдесят пятый застрелился, — снова ее захлопнула. Окончив это мрачное интермеццо, она снова продолжала:

— Но Ореста Германовича я люблю стихийно. Я ничего не требовала... Вы не знаете, Ираида Львовна, какое счастье сидеть, смотреть в глаза и ничего не требовать... Вот вы ко мне относитесь как к человеку, это я так ценю, а то ведь все — и мужчины и женщины — смотрят на меня с вожделением. Я же не виновата... Когда я была маленькой, мы жили в Виленской губернии. У нас был пруд... В лунные ночи я к нему спускалась, опускала голые ноги в воду и мечтала... Когда я разговариваю с вами, я всегда это вспоминаю. А знаете, этот генерал Перевертников, он серьезно женится на Манжетке...

При всей своей невыразительности лицо Ираиды Львовны изображало все явственнее и явственнее недоумение, но когда дело дошло до Манжетки, то гостья уже не вытерпела и с некоторым страхом спросила:

— Послушайте, милая Полина! какая Манжетка? и какое это имеет отношение к нашему делу?

— Манжетка? Это — Катя Доброхотова. У меня все знакомые как-нибудь прозываются. Вы знаете: Иван Иванович, Петр Петрович, это так банально, по-мещански. А у меня есть Манжетка, Пепел, Полтинник, Шининглет, Орхидея, Нечаянно.

— Но, милая Полина, ведь такие прозвища в ходу у ворюшек или у потерянных женщин.

— Да? Может быть. Мне все равно. Я не имею предрассудков. И чем же потерянная женщина хуже нас?

Ираида Львовна, очевидно, не очень соглашалась с мнением Полины, потому что, оставив без ответа ее вопрос, спросила:

— Откуда же вы знаете, милая Полина, то, что вы сообщили по телефону?..

— Ах, это целая история! — начала было Полина Аркадьевна, но была прервана звонком, на который, повидимому, никто не шел.

— Это ужасно! Никогда не дадут поговорить. Еще звонят? Паша, Паша! скажите, что меня нет дома, что я умерла, что хотите!

И Полина Аркадьевна бросилась к передней, но было уже поздно, так как в дверь входили три молодых человека.

— Зачем вы пришли? Паша же вам сказала, что я умерла.

— Вот мы и пришли навестить дорогую покойницу, — ответил самый высокий из молодых людей, улыбаясь и кладя форменную фуражку на пол.

— Иней, Чижик и Шпингалет! — представила хозяйка Ираиде вновь пришедших.

Те пробормотали свои настоящие фамилии и тотчас уселись по креслам, заняв ногами весь пол. Полина говорила уже весело и громко, поспев все-таки шепнуть Ираиде: Иней, это сорок девятый.

— Какой сорок девятый?

— Ну, да там, из моей книжки... Он тоже стрелялся, но выздоровел.

— Но, милая, ему же на вид пятнадцать лет.

— Ему семнадцать... И потом, что же? Я молодых больше люблю.

— Я не про то!.. Это когда же вы поспели? Это было давно, раз теперь пятьдесят шестой?

Очевидно, шопот дам не ускользнул от слуха кавалеров, потому что Чижик пробасил:

— У Полины это быстро делается. Вы ее, очевидно, мало знаете. И потом, обращаясь к Инею, продолжал:

— Ну, ты... сорок девятый самоубийца, дай-ка мне напироску!

Беленький мальчик вытащил портсигар, усеянный монограммами, а Ираида Львовна поднялась, чтоб уходить. Хозяйка ее удерживала, гнала своих гостей, но те сказали, что не уйдут, пока Полина не напонт их кофеем, а Ираида Львовна должна была спешить к Пекарскому, хотя спешить было нечего, не разузнав в точности все угрожающие ему обстоятельства.

Полина Аркадьевна набросилась почему-то прямо на Шпингалета, упрекая его в том, что именно он навел к ней всю компанию и помешал деловому разговору.

— Ну, виноват, виноват! Я не знал, что ты у нее хочешь просить денег.

Дама запустила в него Чижиковым портсигаром, промахнулась и, быстро сбросив туфлю с ноги, на которой не было чулка, закричала не своим голосом:

— Целуй ногу, чудовище!

Шпингалет мялся, два других молодых человека сдерживали смех, а Полина, вдруг понизив голос до яростного шопота, повторила: — Сейчас же целуй ногу! а то я тебя зарежу.

Иней уже громко рассмеялся и вместе с Чижиком стал уговаривать Шпингалета, чтоб он исполнил желание хозяйки.

Тот опустился на колени, задев шлягой за столик, где лежала лиловая книга Полининых любовников, и молча прикоснулся губами к сухой ноге с синими жилками. Быстро, как эксцентрик, опять надел золоченую туфлю, уснокоенная Полина весело спросила:

— У тебя, Чижик, есть деньги?

— Рублей сто есть.

— Тогда мы все едем обедать, а потом кататься, кататься!

Затем будто облачко прошло по небольшому Полининному лбу, и она задумчиво сказала, играя бериллом, с которым никогда не расставалась, даже на ночь:

— Шпингалет еще у меня в долгу! за его невежество и непослушание он должен...

— Свезти тебя на скачки и накормить ужином?

— Ничего подобного... Он должен меня познакомить...

Она вынула из сумочки, валявшейся где-то тут же на полу, обрывок бумажки и продолжала:

— Он должен меня познакомить с Зоей Михайловной Лилиенфельд, а также с Андреем Сток.

— Я их не знаю, — ответил Шпингалет.

— Если бы ты их знал, было бы совсем не трудно исполнить мою просьбу.

— Т.-е. я знаю, что Лилиенфельд известная актриса, но я с ней не знаком, а кто такой Андрей Сток, я даже не имею никакого понятия.

— Мистера Стока несколько знаю я, но совсем не соображаю, какой интерес он может представлять для Полины, — так проговорил Иней, покраснев до ушей.

Вообще, он часто краснел, имел очень розовое лицо и темные волосы, так-что было совершенно непонятно, почему его зовут Иней. Чижик был огромный, рябой детина с глубоким басом, а Шпингалет — очень толстый студент, всегда ходивший при шпаге.

Полина уже мочила щеки водой, дающей румянец, который не смывался, а было похоже, будто вы полдня спали на крапиве. Провинившийся Шпингалет держал перед нею зеркало и едва его не выронил, когда хозяйка порывисто вскочила, нарумянив только левую

щеку. Ее возмутили слова Чижика, который только-что пробасил:

— Этого англичанина-то я не знаю, а Зоя Лилиенфельд едва ли захочет с тобою знакомиться.

Полина не закричала, что она его зарежет, не назвала иднотом, негодяем и дрянью; негодование будто лишило ее дара слова. Так она постояла несколько минут молча, сжимая маленькие кулачки и, наконец, сказала твердо:

— Чего я хочу, то и будет, — и принялась румянить правую щеку.

ГЛАВА 4.

Очевидно судьба помогала Полине, потому что не прошло еще трех дней, как она встретилась с Зоей Лилиенфельд, и даже познакомилась с ней.

Это случилось в той же «Сове», которую так защищала Лелочка Царевская, и в которую, несмотря на теплый майский вечер, отбивавший, казалось бы, всякую охоту закупориваться не только что в подвал, а в какое бы то ни было закрытое помещение, собралось много постоянных посетителей и редких гостей. Светлое, насторожившееся небо; пустынную торжественность петербургских улиц им заменяли пестро расписанные стены, тусклый свет фонарей и душный воздух двух небольших комнат, из которых, не считая крошечной буфетной, состояла «Сова». Полина Аркадьевна приехала уже к третьему периоду «Совиной ночи».

Несмотря на характер импровизации, который хотели придать этому кабачку устроители, там образовалось, как во всех повторяющихся явлениях, извест-

ная последовательность настроений и времяпрепровождения. Когда же последовательность нарушалась действительными импровизациями, это всегда бывало не особенно приятной неожиданностью, неминуемо походя на самый обыкновенный скандал. Импровизации, которые производились случайными посетителями, сводились к тому, что или кто-нибудь из гостей, всегда сняв ботинок, бросит его на сцену, или спросит у дамы, сидящей с мужем, сколько она возьмет за то, чтоб с ним поехать куда-нибудь, или толстый пристав под гитару запоет:

— «Я угасаю с каждым днем,
Но не виню тебя ни в чем»...

Или выползет никому неизвестная полная дама и с сильным армянским акцентом, под звуки арфы, начнет декламировать: «Расцветают цветы. — Ах, не падо! не падо!» — или артисты одного театра, всегда ходившие стадом, затеют драку с артистами другого театра на почве артистического патриотизма. Импровизация, вообще, вещь опасная и потому устроители кабачка, хотя и не переставали говорить о свободном творчестве, были отчасти рады, что известная последовательность установилась сама собою. А последовательность была такова. Сперва приезжали посторонние личности и кое-кто из своих, кто были свободны. Тут косились, говорили вполголоса, бесцельно бродили, скучали, зевали, ждали. Потом имела место, так сказать, официальная часть вечера, иногда состоявшая из одного, двух номеров, а иногда не из чего не состоявшая. Тут не только импровизация, но даже простейшая непредвиденность была устранена, и все настоящие при-

верженцы «Совы» смотрели на этот второй период, как на подготовку к третьему, самому интересному для них. Когда от выпитого вина, тесноты, душного воздуха, предвзятого намерения и подлинного впечатления, что тут, в «Сове», стесниться нечего, — у всех глаза открывались, души, языки и руки освобождались, — тогда и начиналось самое настоящее. Артистические счеты, внезапно вспыхивающие флирты, семейные истории, измены, ревности, восторги, слезы, поцелуи, — все выходило наружу, распространялось и заражало. Это была повальная лирика, то печальная, то радостная, то злобная, но всегда полупьяная, если не от вина, то от самого себя. Три четверти того, что говорилось, конечно, не доживало в памяти и до утра, но и одной четверти бывало достаточно, чтобы распатать воображение, или сделаться источником бесчисленных сведений и сплетен. После этого наступал четвертый период, когда и флирты, и измены, и неприятности приходили к какой-то развязке, по крайней мере, на сегодняшнюю ночь. Кто-нибудь уезжал в очень странных комбинациях, кто-то требовал удовлетворения, а кто-нибудь ревел во весь голос, сидя на возвышении и ничего не понимая. Наконец, наступал последний период, когда человека два—три храпело по углам, несколько посетителей, всегда случайных, иногда еле знакомых, общались друг-другу гениальные планы, через пять минут забываемые, а откуда-то вылезшая черная кошка или делала верблюда при виде спящих гостей, или ловила луч солнца сквозь ставни, который тщетно старался зажечь уже потухший камин. Конечно, Полина Аркадьевна всего уместнее и незаменимее была в третий период «Совиной» ночи, к которому она всегда аккуратно приезжала. А так как она всегда была гото-

ва пуститься в откровенные раскопки человеческой души и чужой, и своей собственной, то ей совсем не нужно было подготовительной второй части.

Знакомство у Полины, как у Лесковской Воительницы, было необъятное и самое разнокалиберное; и почти всех своих знакомых она таскала в «Сову», начиная с отставных генералов, ходивших с костылями, и кончая какими-то четырехклассными гимназистами, которых Полина заставляла белиться, румяниться и подстригать челку. Они всегда носили: один сумку, другой зонтик, третий муфту, четвертый еще какую-нибудь принадлежность Полининого обихода. Всего замечательнее была сумка Полины: это был довольно объемистый саквож, в роде тех, с которыми ездят в баню и ходят акушерки. Там находилось: носовой платок, портсигар, портмоне, связка ключей, лиловая книга Полининых любовников, пачка писем знаменитых людей, четки, засушенный листочек с могилы матери, пудреница, зеркало, ножницы, бутылочка с румянами, последняя вышедшая книга стихов и испанский кинжал, на лезвие которого было выгравировано: «Зивьялов в Ворсме». Часть этих вещей она выкладывала перед собой, постоянно забывая. потому что, несмотря на то, что Полина Аркадьевна обыкновенно усаживалась так, как-будто сидеть тут три года, т. е. обкладывалась подушками, садилась с ногами на диван и брала под руку соседа, если он был кавалер, или обнимала, если то была дама, — несмотря на это, она часто меняла места, потому что думала, что она везде необходима, как добрый исповедник, и что все мятущиеся души только того и ждут, чтобы перелиться в ее чуткую душу, которая звучала от малейшего ветерка, как Эолова арфа. Тут же попутно она передавала только что по-

веренные ей другие тайны, и шла дальше, так что к концу ночи у нее образовывался полный комплект дружеских секретов, которые она почти всегда находила недостаточными и уже добавляла своим романтически-эротическим воображением, на все накладывая довольно однообразную, но высоко-трагическую политуру.

Уже высокая певица, не переходя от своего места к роялю, пела дуэт, между тем как ее партнер помещался на другом конце комнаты, через головы сидевших и стоявших людей, под шум ножей, вилок и разбиваемой вдали, на кухне, посуды, когда Полина Аркадьевна в желтом платье с черными кружевами, сшитом на подобие польского кунтуша или поддевки, остановилась на пороге входной двери. Быстро и зорко обзрев первую комнату, кивнув направо и налево маленькой головой с подстриженными черными волосами и видя, что среди присутствующих незаметно высокой фигуры Иранды, Полина Аркадьевна начала осторожно пробираться во вторую комнату, где уже, повидимому, начался третий период. Там было мало посторонних лиц, но и среди знакомых людей Полина Аркадьевна Иранды не разыскала.

Она взглянула даже на высокие ширмы, где тесно сидело несколько человек. Они молча подняли на взглянувшую блестящие в полумраке глаза, и успокоенная Полина на ходу бросив им: «Ничего, ничего, я так...» отошла к столику, который занимали супруги Царевские, оба Пекарские и какой-то высокий стрелок. Полину встретили шутливыми приветствиями, и она быстро забралась с ногами на скамью между Лелечкой и Лавриком, не переставая обводить беспокойным взором комнату, как-будто отыскивая, нет ли каких новых комбинаций в распределении и соединении гостей

по группам. Очевидно, все было по старому, так как Полина очень скоро занялась своими непосредственными соседями. Вскоре к их столу присоединились Иней, Шпингалет и два гимназиста с челками, которые подружили около Полины ее знаменитую сумку, муфту, боа и еще какие-то принадлежности, которых всегда казалось очень много. Устраняясь на скамье, Полина Аркадьевна не переставала говорить как-то зараз со всеми окружающими:

— Ах, Лелечка, идол мой! Дайте мне ваши губы! Что может быть лучше розовых губ! Не правда ли, Лаврик, да? Я знаю, ты понимаешь это! И Орест тоже! Он такой тонкий художник. Иранды Львовны нет? И не будет? Мне так много нужно бы ей сказать! Я так замучилась сегодня в Манеже. Битые три часа ездил верхом. Вы стрелок? Всегда живете в Царском? Я обожаю это место. Там веет дух Екатерины. Одну зиму я провела в Павловске. Это было время больших переживаний... Жизнь, ведь это такая фантастика!.. А тебе, Орест, я тоже многое должна сказать. Но тебе одному, так что потом попрошу тебе выйти со мною за ширму. Мушку? Это мне Иней посоветовал посадить ее под левый глаз. Что же, по моему, это не плохо... Я так люблю Сомова...

Тут Полина Аркадьевна на время перестала говорить, занявшись свиной котлеткой. Офицер, в первый раз бывший в «Сове», вежливо и деликатно ухаживал за Лелечкой, рассказывая, как он охотится у себя в Смоленском имении, что было на скачках и какие последние книги он читал, несколько стыдясь перед этой артистической и, повидимому, модернистской, блондинкой, которая ему очень нравилась, за отсталость и неинтересность своего чтения. Полина с грохотом отодви-

нула тарелку, опрокинув при этом стакан и, схватив Лелечку за обе руки, начала восторженно:

— Лелечка! дай мне твои глаза! Я их выпью, как вампир... Какое счастье! Какая прелесть; пить женские глаза; чистые, светлые!.. Не правда ли, Лаврентьев, какая прелесть наша Лелечка?

Офицер, отвернувшийся было от восторженной сцены, неровно покраснел и сказал с запинкой:

— Елена Александровна одна из самых красивых женщин, которых я встречал.

— Фу, противный бука! Как вы официально говорите! — воскликнула Полина, глядя исподлобья, и хлопнув офицера по руке.

Тот проговорил, смутясь еще более:

— Я здесь в первый раз, Полина...

— Аркадьевна, — подсказала ему дама. — А лучше всего зовите меня просто Полина, здесь не стесняются, а со мной стесняться было бы даже совсем не стильно.

Они чокнулись втроем, а Полинины мальчишки разом зашаркали ногами. Леонид Львович, сидя на краю стола, обводил глазами комнату, скучая и не зная хорошенько, что ему делать, как вдруг его внимание было привлечено разговором за соседним столом, где сидело три бритых человека и старик в очках. Они говорили так громко, что привлекли внимание и других окружающих, особенно же Лаврика и Пекарского, потому что, повидимому, говорили о двух последних.

Пекарский встал и, отыскав распорядителя, стал ему что-то долго и горячо объяснять. Тот, поспешно перейдя к столу со стариком и наклонив свои спадающие плоские космы, начал в свою очередь убеждать в чем-то, размахивая рукою и указывая в сторону Пекарских.

— Мы и вам приедем обе вместе? Хотите? — шопотом пела Полина, глядя в упор на все более красного Лаврентьева.

— Мы поедем втроем в парк, верхом... прогулка верхом... знаете, как это описано у Теофила Готье?

— Если вы позволите, я завтра же заеду к вам днем, чтобы сделать визит.

— Если вы хотите застать мужа, то приезжайте между двенадцатью и двумя.

— К сожалению, я могу приехать только часа в три.

— Лолечка, милая Лелечка, какая ты прелесть! — томно вздыхала Полина и вдруг расширенными глазами взглянула в другую сторону: Лаврик, Пекарский, Царевский и почти все мужчины, находившиеся в этой компании, были у соседнего стола плотной толпой, из которой раздавались истерические, гневные, оскорбленные и угрожающие восклицания:

— Вы не смели так говорить!

— Я всегда готов ответить за свои слова.

— Гнать их в три шен!..

— Дайте выслушать! может, они правы!..

— Все равно, здесь не зало суда!

— Хамы! Фармацевты! Вы услышите еще о нас! ДвигаЙ, Шпингалет! Ах, вы вот как! Вот именно!.. И кто это пускает сюда всякую сволочь!

Наконец все крики смешались в один общий гвалт!

Посуда зазвенела с опрокинутого столика... В углу начиналась свалка. Растрепанный распорядитель ку-барем выскочил в соседнюю комнату, где испуганные посетители жались робким стадом, как вдруг весь рев покрылся очень громким и спокойным голосом с легким акцентом, который произнес:

— Господа! как вам не стыдно! Вы — артисты, а не мастеровые!—и посредине расступившейся толпы оказалась высокая, очень худая женщина с лицом египетских цариц в белом расшитом золотом платье. В молчании она подошла прямо к ссорящимся и сказала с тем же спокойствием:

— Никаких ссор, никаких дуэлей не может быть. Вы этим оскорбите меня, артистку и женщину, которая пришла сюда, чтобы дружески отдохнуть. Вы можете затевать свары на улице, где угодно, но не здесь.

И потом, обратясь к растрепанному Лаврику, спросила: это вас обидели, милый мальчик? Идемте к нам, у нас просторно и тихо...

И взяв его под руку, медленно направилась в первую комнату.

— Кто это? — шопотом спросила Полина у Шпингалета.

— Как же, Полина, тебе не стыдно? Это и есть Зоя Лилиенфельд.

ГЛАВА 5.

Все время завтрака Елена Александровна была в некотором нервном состоянии. Более обыкновенного она говорила, смеялась и с лукавым кокетством старалась скрыть внутреннее дрожание. Леонид Львович, казалось, ничего не замечал, но это только казалось, потому что отодвинув тарелку, и окончив, так сказать, официальную часть трапезы, он обратился к своей жене, откидываясь на спинку стула:

— Ты сегодня в очень хорошем настроении, Лелечка?

— И? Ничего особенного, — ответила та, покраснев, и посмотрела на стрелку часов, придвигающуюся к половине второго.

— Я возьму отпуск, поедem к Иранде в Смоленск. Я знаю, тебе хотелось бы поехать за границу, но вряд ли это удастся. Нужно будет отложить до будущей весны. Притом теперь скоро будет жарко. А в Смоленске, насколько я помню с детства, очень красиво. Притом там будет сестра. Может быть, еще кто поедет. Тебе не будет скучно. Этот вчерашний Лаврентьев, он кажется тоже что-то говорил, что у него имение в Смоленской губернии. Может быть, в далеком уезде, а может быть и соседнем. Он, кажется, славный мальчик... очень выдержанный.

— Да, ничего себе, — ответила Лелечка, и в голове у нее вдруг поплыл весь предыдущий вечер в обрaдном порядке, от конца к началу; и ей показалось необычайно скучно... зачем придет к ней незнакомый молодой человек с малиновым кантом, имевший как-будто какие-то виды на нее. Зачем-то тут путается Полина... зачем все существует так, а не иначе. Как иначе—она и сама не знала. Она посмотрела на мужа, который что-то продолжал говорить. Он казался усталым, и глаза его, большие темные, похожие на глаза Иранды, были окружены серыми кругами. Особенно жалостно Елене Александровне было видеть, что муж ее был не совсем чисто выбрит.

— Останься, Леонид, сегодня дома!.. Ты устал, по моему, и не совсем здоров.

Леонид Львович удивленно улыбнулся.

— Что за странная фантазия? Может быть, ты сама нездорова? Тебе вредно так засиживаться.

— Может быть, я и не здорова, мне все холодно

что-то. Но я не оттого прошу тебя остаться... Мне просто этого хочется... Ты так редко пропускаешь службу, что тебе этого не поставят в вину, а между тем я очень прошу тебя исполнить мою просьбу.

— У тебя нет никаких причин?

— Никаких... — ответила Елена Александровна, и в эту же минуту раздался звонок.

— Ты остаешься, не правда ли, — шепнула Лелечка, уже переходя в гостиную, где посреди комнаты неловко стоял высокий стрелок.

Лаврентьев почти все десять минут своего визита разговаривал с Леонидом Львовичем, и Лелечке казалось смешным и невероятным, что еще вчера она сидела так близко, рядом, локоть с локтем с этим мальчиком в мундире, а Полина говорила им смешной и любовный вздор. Ей до такой степени казалось это странным, что если б кто напомнил ей вчерашнее, она с негодованием стала бы отвергать... А между тем это действительно было, при чем Елена Александровна не пила, была в нормальном состоянии, несколько не была влюблена определенно в кого-нибудь. Все это она думала, слушая рассеянно разговор мужа с гостем, пока последний не стал прощаться.

— Ты для него просила меня остаться? Разве он так опасен?

Елена Александровна ничего не ответила, рассеянно перелистывая альбом с крымскими видами, который только-что перелистывал Лаврентьев. Вся ее веселость куда-то пропала и она начала тихим, несколько жалобным, голосом:

— И для него и для себя. Ты, действительно, прав. Мне нельзя поздно ложиться, а особенно вредно часто бывать в «Сове». Я ее всегда защищала и теперь за-

щищаю, но сама лично к ней не приспособлена. Мне не от него освободиться... нет никаких причин распустаться... а потом я чувствую себя дико и нелепо. Я люблю тебя и люблю очень просто. Мне не пужно никаких выдуманных переживаний и, вместе с тем, смотри, как странно: я вижу, что в «Сове» нет никакой прелести. Она распущена и нелепа, и, вместе с тем, она лишает прелести, отнимает ее и от нашей с тобой обыкновенной жизни. Я тебя люблю, но все мне надоело смертельно. «Сова» это не то. Но ведь есть же где-нибудь блестящая, веселая, радостная жизнь... Без угару... без дикости!..

Она умолкла, казалось, не оттого, что все высказала, а потому что устала говорить, или на нее напала неизъяснимая лень.

— Мне очень жаль, Лелечка, что я не могу, не сумел дать тебе ту блестящую жизнь, о которой ты говорила. Может быть, если бы мы были очень богаты, было бы иначе... Тебя, конечно, тяготит известное мешанство нашей жизни, но я думаю, что и самая блестящая внешняя жизнь, если она не одушевлена духовными интересами, интересами искусства, такая же «Сова», только слегка подкрашенная. Может быть, тебе не было бы так скучно, если бы у нас были дети.

— Это все не то. Богатство, дети, это не то, что я хотела сказать. Я бы хотела иметь восторженные глаза на все, восторженные чувства, и чтобы мне не было стыдно за них через полчаса...

— Конечно, мы не так любим друг-друга, как три года тому назад, когда были влюблены, но ведь быть постоянно влюбленным, это значит менять любовников, как перчатки, не хочешь же ты этого... И неужели это по твоему называется «блестящая жизнь»?

— Я не знаю... Я ничего не знаю... Ты говоришь какие-то мертвые слова! — и она снова принялась за альбом.

Леонид Львович прошелся по комнате и веселым, громким голосом, голосом доктора, который разговаривает с больными, сказал:

— Ты просто устала к концу зимы... Действительно, эта нелепая жизнь так треплет нервы... вот отдохнешь в деревне, успокоишься и начнешь, если не восторженную жизнь, то тихую, радостную, любовную, какую мы жили до сих пор.

— Да, вероятно, ты прав... Ты очень хороший человек, Леонид. Я очень тебе благодарна и никого кроме тебя не люблю.

Но Елена Александровна говорила это таким усталым, равнодушным голосом, что казалось — сама насколько не верит ни уверениям мужа, ни собственным своим надеждам.

Не успели затопить камин, как в комнату вихрем ворвалась, неся сама все свои атрибуты, Полина Аркадьевна, наполняя воздух тысячью восклицаний и запахом сильнейших духов. Только что Леонид Львович удалился к себе, как Полина, забравшись с ногами на диван и привлекая к себе белокурую голову хозяйки, начала ажитированным шопотом:

— Ну, что же? был?

— Да.

— А как же муж? почему он здесь?

— Я сама просила его остаться...

Полина быстро сообразила:

— Значит вы уже в него влюбились? Когда же опять вы увидите?

— Я право, не знаю, Полина, он просто был с визитом.

— У нас сегодня что? Среда? В Пятницу я его вызову к себе, всех мальчишек выгоню и приезжайте вы... Милая Лелечка! подумайте, какая будет красота жизни! Это будет гимн любви!..

— Но ведь он подумает Бог знает что!

— Он будет ослеплен! Это будет фантазмагория экстаза. Он же тонкий человек! его бабушка принята ко двору!.. Жалко, что вы так скоро уезжаете. Но я вам ручаюсь, что эти две недели будут сплошной оргией красоты.

От волнения Полина Аркадьевна даже вскочила. Несмотря на дневные часы, она была сильно гриммирована, имея при ярко-зеленом платье широкую розовую ленту, вышитую крымскими камушками, на голове с двумя искусственными цветками величиною с розы, которые сажают на куличи.

— Помните, как это говорится у Брюсова? — и не рассказав, как это говорится у Брюсова, Полина снова принялась мять и целовать Елену Александровну. Та, выдержав поток Полининых ласк, заметила спокойно: — все это прекрасно, милая Полина, но в пятницу я к вам не приду.

— Я понимаю — вы хотите его измучить, но, смотрите, не измучьтесь сами. Времени так мало.

— Вы меня совсем не понимаете, Полина.

Полина изумленно открыла глаза, но на всякий случай проговорила.

— Ах, вы не знаете, как я вас еще понимаю.

— Ведь я же люблю своего мужа...

Полнна Аркадьевна громко рассмеялась и потом вдруг необыкновенно серьезно произнесла:

— Разве это чему-нибудь мешает.

Елена Александровна не могла сдержать улыбки и нехотя ответила:

— До пятницы еще два дня... Может быть, я к вам приеду...

— Ах, милая, я вас так понимаю! — воскликнула гостья и снова принялась тискать хозяйку в объятиях.

ГЛАВА 6.

В пятницу Елена Александровна все-таки решила к Полине пойти. Это не было твердо взятое решение, но когда утром она увидела, еще не вставая с постели, голубое небо, на котором будто млели длинные, белые облака, она подумала: — «а может, и пойти сегодня к Полине? Ведь от меня же зависит, как там себя вести — от меня самой; а сегодня в такой день все должно быть легко, любовно и красиво. Особенно красиво...» — И, Елена Александровна весело спустила ноги, весело плескалась водой и, когда посмотрела на свою ногу с тонкою щиколоткой в черном ажурном чулке, который просвечивающее тело делал похожим на вещь из черного дерева инкрустированного розоватым перламутром, ей показалось это тоже очень красивым и она стала еще веселее. Через окно донесся звук выколачиваемых ковров и Лелечка, не зная почему, вздохнув, произнесла вслух:

— Нет, все-таки еще можно жить.

И кофе, и газетные известия, и рассказы мужа за завтраком, и какие-то покупки, встречные лица, все казалось забавным, милым и аппетитным. Она не знала, было-ли это состояние как раз обладанием теми «восторженными глазами», о которых она так возвы-

шенно и томительно говорила мужу. Ей просто было хорошо. И она будто пила глотками каждую минуту. Но это продолжалось не так долго: как звук, распространяясь, все слабеет, так и Елена Александровна все стихала и сделалась не то, что грустной, а мечтательно тихой к тому времени, часам к семи, когда неожиданно после обеда к ним зашел Лаврик. Он искал Пекарского, думая, что тот здесь. Елена Александровна попросила его посидеть. Она ни любила, ни не любила Лаврика, она никак к нему не относилась, почти даже не зная, какой он с виду. Но в этот вечер она искренно задержала молодого человека, потому что была бы рада кому угодно, не очень шумному, чтобы самой не окончательно угаснуть. А Лаврик, она знала, будет тих и спокоен, по крайней мере с нею.

Елена Александровна не читала, не вышивала, а просто сидела, сложив руки, у светлого окна. Лаврика посадила напротив. Она почти забыла, что он гость и смотрела на него, будто эти розовые щеки, светлые волосы без пробора и веселые светлые глаза не жили, а были нарисованы нежными красками когда-то. Она вздрогнула, когда Лаврик заговорил. Он говорил тихонько самые обыкновенные вещи: где он был, что видел, что работает Орест Германович, так что Лелечка вздрогнула не от какого-нибудь известия, а просто от звука его голоса.

— Сегодня очень хорошо! — неожиданно заметила она.

— Да, сегодня прекрасный вечер.

— И вечер прекрасный, и так, вообще, хорошо! Вы, Лаврик, куда едете летом?

— Не знаю. Куда поедет Орест Германович. Он, кажется, собирается к Ираиде Львовне.

— А хорошо бы поехать в Италию, не в большие города, а там есть такие маленькие, заброшенные. Никто вас не увидит, жить долго-долго, около старинной церкви или какой-нибудь развалины римской, знать всех жителей, ведь это так... не знакомство... По вечерам загоняют стада, пылитесь дорога с низкими каменными заборами, а по холмам оливки и каштаны. Или ехать на корабле и просыпаясь и ложась спать, видеть море, одно и то же и всегда разное. Вы, Лаврик, ни в кого не влюблены?

— Что это?

— Я говорю: вы, Лаврик, ни в кого не влюблены?

— Нет, почему?

— Я просто так спросила... Я, знаете, никогда вас не разглядывала... Вы такой хорошенький, что было бы жаль, если б вы влюбились. Покуда естественнее, чтоб влюблялись в вас.

— Я не совсем понимаю, что вы говорите, Елена Александровна.

— Не понимаете, так тем лучше. Я так разболталась и говорю глупости, вроде Полины. Кстати о ней вспомнила, она же меня ждет! — последние слова Елена Александровна произнесла совсем уж другим голосом, будто стяхивая с себя меланхолическую лень, но еще не поднимаясь с кресла.

— Я с утра была очень бодр и весела, а теперь как-то ослабела.

— Это я на вас навел скуку. Я совсем не умею разговаривать с дамами.

— Нет, милый Лаврик, без вас мне было бы еще хуже. Я вот с вами поговорила, и несколько освободилась от поэтической размазни, которая во мне сидела, а не поговори, так бы с собой и таскала. А теперь про-

стите, я пойду переодеваться. Вы меня подождите, выйдем вместе.

И она вышла из комнаты. Лаврик встал к окну, откуда был виден круглый поворот Екатерининского капиала, в воде которого золотел крест церкви, которая, казалось бы, никак не могла в нем отражаться. Разговоры о путешествии его расстроили, хотя он сам себе представлял дальние странствия не совсем такими, какими их мечтала Лелечка: шумнее, веселее, шаловливее.

Елена Александровна вернулась минуты через две, и положив уже гашированную ручку на плечо Лаврику, проговорила:

— Вот я и готова... Вы на меня не сердитесь и не обращайтесь большого внимания на то, что я вам сегодня говорила. Поверьте, я к вам отношусь, как нельзя лучше и притом я очень большой друг Оресту Германовичу.

— При чем же тут Орест Германович? — проговорил Лаврик неожиданным басом.

— При том. Вы не фыркайте, а лучше проводите меня до Полины. Она живет здесь в двух шагах, и я хочу пройти пешком.

Лелечка взяла своего кавалера под-руку и они прошли молча, будто влюбленные, несколько кварталов, отделявших дом, где жили Царевские от Подъяческой улицы.

— Может быть, мне можно зайти к Полине Аркадьевне? Она меня звала... — проговорил Лаврик, целуя на прощанье Лелечкину руку.

— Лучше зайдите в другой раз. Сегодня у нее кроме меня никого не будет, у нас маленькие секреты, а потом вы не предупредили Ореста Германовича и он, наверное, беспокоится.

Елена Александровна, казалось, позабыла, что она

идет как-никак на свидание Никаких решений, даже предназначений, слов и поступков у нее не было и единственная мысль, которая вертелась в голове, была пустяшная и не подходящая ко времени, а именно сравнивая в уме только-что виденное лицо Лаврика и то, которое она должна была увидеть, — лицо Лаврентьева, — Лелечка подумала, почему Лаврентьева представить влюбленным легко и понятно, а Лаврика можно было только самой любить, смотреть на него, целовать, беречь и холить. Для него можно было многое сделать, а от того, офицера, хотелось требовать подвигов и жертв. Конечно, никаких подвигов и жертв она требовать не будет, они просто втроем посидят в полумраке на мягком диване, послушают, о чем будет мечтать Полина, сами помечтают тихо и целомудренно.. Может, он поцелует ей руку, не больше... никаких эстетических неистовств не будет.

Хлопнули двери и Елену Александровну чуть не сшиб с ног человек, кубарем скатившийся с лестницы. Вслед за ним из той же двери были выброшены пальто, котелок и палка. Елена Александровна со страхом посмотрела на визитную карточку, думая, не ошиблась ли она дверями, хотя была у Полины Аркадьевны по первый раз. За дверью продолжали шуметь и кричать мужские голоса и когда Елена Александровна вошла в переднюю, там находилось человек шесть мужчин, которые не обращая внимания на вновь пришедшую, продолжали ссориться и ругаться. Служанка принесла под мышкой полдюжины пива, из соседней комнаты раздавались крики; — вы не имеете права! вы оскорбляете хозяйку дома! Полина! поди сюда! Ах еще пиво! Ура! — Как среди бури едва доносился Полинин голос, хотя она почти кричала.

— Тихе, тихе! Я сейчас буду танцевать... Надеюсь, вы не будете обращать внимания, что я почти голая...

Взволнованный и красный быстро вышел в переднюю Лаврентьев и увидя Елену Александровну, прижавшуюся к дверям, бросился к ней со словами:

— Ради Бога! Куда я попал? И зачем вы здесь?

ГЛАВА 7.

За большим столом, заваленным бумагами и словарями, не покрывая мелким почерком белой бумаги, а поднеся перо ко рту, сидел мистер Сток. Очевидно, не было в его правилах мечтать, или, если хотите, отдыхать за работой, потому-что, мельком взглянув в окно, за которым виднелся Смольный собор, он тотчас перевел глаза на маленькие часики, стоявшие перед ним и снова принялся писать. Так он писал, не вставая, покуда слуга не позвал обедать; и за едою он просматривал какие-то бесконечные столбцы английских газет и, вероятно, слова бы принялся писать, встав из-за стола, если бы к нему не пришел неожиданный гость. Этот гость был знакомый нам уже стрелок Лаврентьев. Очевидно, с ним что-нибудь случилось, или его тревожило что-нибудь, потому-что, во-первых, об этом свидетельствовал неровный румянец, покрывавший его гладко выбритые щеки, а во-вторых, будучи очень дружен с мистером Стоком, офицер заходил к нему только тогда, когда ему была нужна помощь, совет или утешение. Англичанин не сердился на некоторый корыстный оттенок этих визитов, видя в этом известную деликатность, которая не позволяет без важных причин отрывать от дела занятого человека, и зная, что продолжительные

промежутки между свиданиями нисколько не влияют на дружбу, в противоположность отношениям любовным. Потому отложив газеты, он прямо спросил:

— Ну, что же случилось, Лаврентьев?

— Ничего особенного. Пришел вас проведать. Я очень по вас соскучился.

— Конечно, это так; это само собой разумеется, но надеюсь, мы не будем говорить о том, что нам известно и без разговоров. Притом, я достаточно вас хорошо знаю, чтобы предполагать, что вы пришли ко мне без причины, из одного дружеского расположения. Я вас нисколько не упрекаю за это, наоборот, очень ценю в вас эту черту; времени так мало, а мы не бездельники и не влюбленные, чтобы проводить время в пустой болтовне. Вот кофе и коньяк, — пейте и рассказывайте, в чем дело!

— Если вы заняты и не влюблены, мистер Сток, то я не могу того же сказать про себя. Я решительно ничего не делаю, даже самому противно.

— И при том влюблены?

— Да, мистер Сток.

— Очевидно, это не проходящий флирт, иначе бы вы не обратились ко мне.

Лаврентьев еще сильнее покраснел и заговорил быстро, будто, действительно, времени было очень мало, и они разговаривали на вокзале, ожидая поезда, который должен сию минуту притти и разлучить их на долгое время.

— Это страшно трудно... страшно сложно... Какой там флирт! Я прямо сам себя не помню. Притом она — це свободна, она замужем. Ее муж не пегодай, а очень достойный человек, они счастливы... и она совсем дру-

гая, чем я, другого общества, других взглядов, характера, может быть, лучше меня, даже наверное лучше, но другая... Притом вы знаете, это будет таким ударом для матушки, я всегда был, как говорится, паньской, я не кутила, не волокита, вы сами знаете, и вероятно так и продолжалось бы, я жил бы тихо и просто с матерью, покуда бы не женился на хорошей девушке из нашего круга, а теперь вы не можете себе представить, где я бываю, что я делаю, что я говорю! Я сам себе кажусь лишенным рассудка. Подумайте, все, все ломать, это ужасно!

— Относительно ломки вы смотрите, конечно, одно-сторонне: вы смотрите только на то, что вы покидаете и совсем не обращаете внимания на то, к чему идете... Одним может показаться это ломкой и какой-то изменой, другие это называют началом и новую жизнь. Отчего так бояться начал? Может быть, человек и жив только потому, что он всегда начинает... Зачем нам в пути таскать своих мертвецов. Как бы ни были милы могилы, но мы должны идти дальше, а не сидеть в слабости над ними. Вам всегда грозила известная косность, но я думал, что вы проснетесь. Может быть, вы уже просыпаетесь? Если это чувство не настоящее, — оно отбросится само и придет другое... Теперь я говорю совершенно отвлеченно, не относительно данной истории; что же касается практических выводов, для этого мне нужно было бы знать несколько подробней все обстоятельства... Расскажите, если не трудно... в вашем чувстве я не сомневаюсь.

Видя, что гость его молчит и даже закрыл лицо руками, англичанин начал сам свои расспросы:

— Во-первых, как далеко зашел ваш роман? Эта дама принадлежит вам?

— Нет! Но это может случиться каждую минуту, — ответил Лаврентьев, не без некоторого хвастовства.

— У нее есть дети? Дети, т. е. ребенки?

— Нет у нее никаких ребенков, — повторил, сам того не замечая, ошибку англичанина Лаврентьев.

— Она уже пожилая?

— Нет; я думаю, моих лет.

— Из какого же она общества, если она не вашего круга? Она жена коммерсанта, или, вообще, кто?

— Ее муж служит где-то... Так, чиновник, по моему, но ближе всего она с обществом артистическим. Художники, писатели, актеры... Есть тут такой кабачек «Сова», там я с ней познакомился.

— Да, да я слышал, — ответил Сток и, помолчав, добавил: — вы говорите, что она разного характера и взглядов с вами; я знаю, что у вас спокойный характер и порядочные взгляды. Значит, у нее наоборот?

— Ах, я не знаю. Она очень тонкая, нежная и милая, милая... Ей совсем там не место, она устала и скучает по-моему.

— Это уж совсем нехорошо. Ничего хорошего не может выйти, когда человек что-нибудь начинает, я не говорю уже от скуки, но даже в состоянии усталости и скуки. Начинаящий должен гореть и быть влюбленным, не только не тосковать, не думать о том, что он бросает...

— Она меня любит, — ответил просто офицер, не совсем поняв, что ему говорит хозяин.

— Я не совсем о том говорю, — заметил мистер Сток. — Ведь, собственно говоря, и дело то не в теоретических рассуждениях, а практических выводах. Тем более, что теория подходит не ко всем людям. Если б вы мне дали возможность увидеть где-либо вашу даму,

мне бы это очень помогло в моих советах, если вы в них нуждаетесь.

— Может быть, вы просто хотите познакомиться с ней? это не трудно сделать.

— И это можно, но пока я вам скажу только одно: покуда постарайтесь не огорчать вашей матушки, но и не бойтесь никаких начал. Мы всегда только начинаем... И если кто-нибудь почувствует, что он уже что-то совершил, закончил, тем самым он умирает, потому что делать ему уже ничего не остается.

Конечно, Лаврентьев хорошо знал мистера Стока, он не мог ожидать от него каких-нибудь других речей, но любовь, действительно, так перевернула все в его голове, что он был почти обижен, почему хозяин говорит с ним так сухо и безжизненно о том, что трепетно и живо. Ему хотелось бы, чтоб тот сел с ним на диван, в полутемный угол и начал охать и ахать над его чувством, или расспрашивать, какие у Лелечки глаза и волосы, хотя за подобными упражнениями всего естественней было бы обращаться к Полине Аркадьевне, антураж которой навел такую панику на нашего стрелка, который сам себя рекомендовал «панньюкой».

ГЛАВА 8.

В это утро Елена Александровна проснулась не столь радостно, как в то, когда она ожидала первого визита Лаврентьева.

Так же накануне был вечер в «Сове», так же Лелечка, ничего почти не пивши, была опьянена, так же стрелок сидел близко к ней, а Полина говорила разный вздор, так же она встала поздно, но не было той беспричинной

радости и ликования, которое давало бы подобие восторженных глаз.

В ее воспоминаниях, сердце, и если хотите, душе была усталая и тревожная рябь, которая все дробила на мелкие кусочки и несла их неизвестно куда, помимо воли самой Елены Александровны. Было большое ощущение «все равно» и вместе с тем какой-то свободы, будто вся жизнь была не более, как совиная ночь. Зачем какие-то сдержки, обещания, обязательства, когда это только ночь, без вина пьяная, немного нелепая, — а все равно мы проснемся другими, едва помня на утро, что говорили сами. Она помнила только, что накануне обещала Лаврентьеву встретиться с ним в Летнем саду и куда-нибудь поехать. Одно это она помнила, как результат длинных объяснений и разговоров.

И еще она почему-то помнит, что он сказал это уже в передней, подавая ей пальто, так что никто, даже Полина Аркадьевна, об этом не знала. Одна мысль вертелась у нее в голове: как же его зовут? Кажется, Дмитрий... не то Алексеевич, не то Владимирович, во всяком случае Дима.

Что-же, довольно красно... Несколько напоминает благородные романы доброго, старого времени. А она будет звать его Митенькой, как старые няньки и никогда, никогда не будет с ним на «ты», чтоб ни случилось!

Елена Александровна почему-то подъехала к Летнему саду с набережной; было ветренно и Нева, как будто в соответствии настроению и мыслям Лелечки, была покрыта дробною, синею рябью. Не успела Елена Александровна войти в ворота, зачем-то мелко перекрестившись на часовню, как она встретила Лаврика, шедшего уже в капотье. Он поцеловал ей руку, а она

быстро и весело заговорила: — Идите со мной и никому не говорите, что меня встретили. Я сегодня весь день в Павловске, понимаете. Или вы тоже кого-нибудь ждете? Как я безбожно проговариваюсь! Но вы меня не выдадите, правда? Но отчего вы делаете такое печальное лицо? Это будет превесело, уверяю вас!

Розовое лицо Лаврика было, действительно, грустно и даже казалось менее круглым, особенно, когда он заговорил:

— Я никого не жду, Елена Александровна, а Лаврентьев вас ждет уж минут двадцать. Я только не понимаю, зачем я вам, что я буду делать?

— Скажите, Лаврик, как его зовут?

— Дмитрий Алексеевич.

— Значит я не ошиблась. Я так и думала. Относительно того, что вы будете делать, так это там видно будет. Мне очень хочется, чтобы вы пошли со мной... Мне будет веселее.

— Да, вот еще что... вы здесь посидите, по этой аллее никто не ходит, а я схожу за Дмитрием Алексеевичем и приведу его к вам, потому-что в саду есть знакомые. Я то вас не выдам, а если вас увидит Коля, он молчать не будет.

— Какой Коля?

— Да ваш же собственный брат.

— Да, конечно, это неудобно. Отчего вы, Лаврик, такой умный? Вы, наверно, привыкли обманывать? Ну, идите, приведите Лаврентьева, только и сами возвращайтесь с ним, не исчезайте.

— Нет, я не исчезну.

И Лаврик пошел, помахивая палкой. Елена Александровна села, прикрыв глаза рукою не то от солнца, не то для того, чтобы не быть узнанной. Ей было так

смешно, что она рассмеялась вслух, так-что какой-то господин, проходивший мимо, даже остановился. Тогда Лелечка закрыла уже все лицо обеими руками, продолжая смеяться. Когда она отняла руки, перед ней уже стояли Лаврик и Дмитрий Алексеевич. Лицо последнего выражало влюбленность и недоуменне.

— Вы очень веселы сегодня? — сказал, он, поздоровавшись.

— Простите, это — непроизвольно. Я вспомнила очень смешную вещь. А, знаете, Лаврик совершенно прав, нам нужно сейчас же куда-нибудь уехать, а то нас могут увидеть. Это, конечно, не важно, но мне хотелось бы секрета. Ведь не очень интересно, когда все случается слишком просто.

— Я пойду, Елена Александровна,—сказал Лаврик, приподымая шляпу.

— Нет, нет! Не смейте и думать! На сегодня вы наш пленник. Ведь правда, Дмитрий Алексеевич, нужно, чтобы Лаврик поехал с нами?

— Как вам угодно, — ответил тот суховаго.

— Мы поедем обедать. Но куда? Мне бы хотелось, чтобы это было прилично, не шикарно, весело и чтобы нас никто не видел. Вы знаете такой ресторан? Мне все равно, можно и загород, только не очень далеко.

— Я не знаю, право, куда же нам поехать.

— Можно было бы поехать в Славянку, — предложил Лаврик.

— Ну, конечно, в Славянку! — обрадовалась Лелечка. Это совсем у воды и немцы будут пить пиво. Отчего вы, Лаврик, такой умный? Я думала, вы — совсем маленький. Вы мне должны рассказать, кто в вас влюблен. Ведь вы мне расскажете, правда? что же меня стесняться? Мне сегодня так весело, что я готова

расплакаться. Видите, я надела зеленую вуаль. И была уверена, что мы поедем в автомобиле.

Елена Александровна не переставала болтать всю дорогу, так, что было впечатление, что общество очень веселится, хотя спутники были задумчивы и рассеяны. Они приехали рано, так-что даже немцев с пивом не было еще. По реке уже катались какие-то молодые люди в гоночных фуфайках. Как только подали обед, Лелечка сразу прекратила свой веселый монолог, будто устала и облачко прошло по ее обыкновенному лицу блондинки.

— Мне представилось, что все продолжается «Сова», а между-тем я поступаю совсем нехорошо. Зачем я здесь, с вами? Я замужем и дружна с мужем, а вы, признайтесь, слегка за мной ухаживаете и вот я назначаю вам свидание, обедаю с вами тайком. Но это ничего не значит, я вам никаких ни надежд, ни прав не даю.

— Я был далек от мысли иметь какие-либо права или надежды. Я просто вам бесконечно благодарен за то, что вы дали мне возможность быть так счастливым какне-нибудь три часа. Вам незачем упрекать себя, тем более, что мы не вдвоем.

— Как не вдвоем? Ах да, вы про Лаврика! Но разве он может идти в счет?

— Отчего же ему и не идти в счет? Он совершенно взрослый молодой человек.

Тут вступился Лаврик:

— Елена Александровна хотела сказать, что я совершенно безопасен. Я недостаточно безумен, чтоб ухаживать за нею и вообще она слишком хорошо знает образ моих мыслей и обстоятельства моей жизни, чтобы считать меня за молодого человека, с которым считаются с известной точки зрения.

Лелечка искоса посмотрела на говорившего и, усмехнувшись, молвила:

— Вот и отлично. Видите, как сам Лаврик благо-разумно рассуждает. Но, хотя он и кажется самым умным из нас троиц, я не очень то верю в его рассудительность. Все это до поры до времени. Я говорю не о данном случае, конечно. А теперь давайте есть. Я что-то проголодалась.

Но и во время обеда предполагавшейся веселости и легкости не было. Дмитрий Алексеевич влюбленно краснел. Лаврик просто ел молча, а Елена Александровна смотрела на воду, Богъ вестъ, о чем думая.

— Боже мой, как я люблю вас! И не знаю, к чему все это приведет. Я не хочу этого знать, — прошептал Лаврентьев, когда Лаврик вышел куда-то.

Елена Александровна, не отрывая глаз от реки, ответила неторопливо:

— Зачем об этом думать? Теперь так хорошо! Вы не смотрите, что я стала молчалива, мне очень хорошо, уверяю вас. — Затем, помолчав, снова начала: — «Дмитрий»... и остановилась.

— Алексеевич, — подсказал офицер и поспешно прибавил: — а лучше сделайте мне такое удовольствие, зовите меня Дима.

— Дима, — повторила равнодушно Елена Александровна, забыв, как радостно она собиралась называть его Митенькой. — У меня есть к вам просьба.

— Какая! Я готов исполнить, что угодно.

— Постойте. Я вспомню... Да, что бы ни случилось, не будемте никогда говорить друг другу «ты».

— Хорошо, — ответил Лаврентьев, ожидая продолжение. Но Лелечка ничего не прибавила и так они про-

молчали, пока не возвратился Лаврик. Лелечка снова начала:

— Смотрите, как хорошо, как ясно! на той стороне сады, мимо плавают лодки, они плывут ко взморью, можно так доехать до Стокгольма. Там мне всегда представляется светло и холодно. Всегда утренне... Люди там белокурые и хорошо вымытые. Они гребут, или ходят на лыжах. В комнатах топятся печи и стоит светлая мебель.

Но как Елена Александровна ни старалась вернуть себе восторженные глаза, ее настроение заметно угасало, может быть, не встречая сочувствия в собеседниках. Лаврентьев незаметно пожал ей руку, прошептал:—«Милая!»—А Лаврик, вертя в руках перочницу и просыпая перец на скатерть, заметил серьезно:

— Нужно попросить у Раева паровой катер, тогда можно и в Стокгольм съездить.

Елена Александровна тоскливо смотрела на обоих и перестала утруждаться, выдумывать какие-нибудь поэтические разговоры.

Слегка зевнув, она заметила:

— После завтра увидимся в «Сове»?

— Непременно, непременно, — страстно прошептал Лаврентьев: — я не знаю, как доживу до послезавтра.

А Лелечка печально думала: Вот я так рассчитывала на этот обед, а разве не то же самое, что дома с мужем? Может быть, это оттого, что здесь Лаврик? Нет, без него было бы еще хуже; Лаврентьев стал бы чего-нибудь добиваться. Вся разница только в том, что у него другие глаза, другое лицо.

И она внимательно посмотрела на его розовое лицо и карие глаза, как-будто смотрела не на человека, а на предмет.

— А занятно, как бы это лицо изменилось, если-бы Лелечка согласилась, захотела бы? Больше всего он похож на щенка лягавого.

— Что вы на меня так смотрите? — спросил Лаврик, не прожевав пирожного.

— Отчего же мне на вас не смотреть? Ведь уж установлено, что вы в счет не идете. Вот и смотрю на вас просто потому, что нужно куда-нибудь смотреть.

Елена Александровна уже застегивала перчатки, когда Лаврентьев снова зашептал ей:

— Неужели мы до послезавтра не увидимся! Дома вы сказали, что до вечера вы пробудете за городом. Теперь еще только семь часов. Может быть, мы покатаемся или поедем куда-либо, в Павловск, например. Я не могу с вами расстаться. Мне кажется, я вас сегодня не видел, так как мы втроем.

Елена Александровна ответила сухо, почти сердито:

— Нет, у меня заболела голова. Мы увидимся в пятницу и не провожайте меня. Вас могут увидеть. Меня проводит Лаврик, ведь он в счет неидет.

ГЛАВА 9.

В этот вечер в «Сове» было многолюднее, чем обыкновенно. На эстраде почти голый изображал приемы ритмической гимнастики несколько широкоплечий, с длинными руками и обыкновенным французским лицом молодой человек, в то время, как высокий господин с черной бородой незатейливо играл музыкальные отрывки в две четверти, три четверти и шесть восьмых. Иногда эти куски соединялись в нечто целое и мальчик изображал то возвращение воина с битвы, то смерть Нар-

циса. При высоких прыжках он, взмахивая руками, почти касался ими низкого потолка здания и было видно, как капли пота покрывали его смуглую, несколько круглую спину. Было странно смотреть, как это простое лицо обыкновенного француза с милой и лукавой улыбкой вдруг трагически морщилось, или застывало в выражении любовного экстаза сообразно тому, играл ли пианист отрывок в две четверти или в шесть восьмых. Молодые люди завистливо критиковали, уверяя, что это вовсе не балет, дамы искали познакомиться с привозным артистом, а балетчики сейчас же начали какой-то бойкий матлот или фрикассе, с уверенной грацией доказывая прелесть традиционного искусства. Жан Жубер, одетый уже в синий пиджачек без разреза, стоял смущенно у столика, где сидел его аккомпаниатор и несколько господ в пластронах, когда Полина, кусая угол некрашеного стола, провздыхала: — я хочу с вами познакомиться, я вас хочу.

Молодой человек ничего не понял, не зная русского языка, но увидел очевидное волнение соседки.

— Что-нибудь угодно сударыне? — спросил он, улыбаясь и кланяясь. Переведя разговор на французский диалект, Полина ответила: — я вам аплодирую. Дайте мне вашу руку. Вы дали лучезарные минуты. Меня зовут Полина. Как глупо, что мы носим эти тряпки!

— Сударыня — поклонница ритмической гимнастики?

— Я не знаю. Я видела только вас.

— Все-таки у него слишком развитые икры и круглая спина, — говорил блондин со слезящимися глазами в сиреновом жилете, обращаясь к известному имитатору, который стоял с палкой в руках, уже в жи-

лете из белого глазета, застегнутом на одну непристойную камею. Им, кажется, не мешали тряпки, как Полине Аркадьевне и раздеваться, по крайней мере здесь, они не имели склонности. Столики были сдвинуты, так что образовалось достаточно места, чтобы поместиться и французскому гостю со своей компанией и обществу Полины. Последнее состояло из Лелечки, Лаврентьева, Инея, Лаврика и какой-то стриженной девицы с роскошным бюстом, которая официально звалась Софья Георгиевна Поликарпова, но больше была известна под названием «Сонька Пистолет». Чернобородый господин вяло и скучно вел беседу об искусстве, французский танцор простовато молчал, слегка улыбаясь Полине, которая шептала ему с другой стороны:

— Вы здесь долго пробудете? Вы должны обещать прийти ко мне. Я живу на Подъяческой. У меня есть красивые материи. Я буду декламировать «Александрийские песни» Кузмина, а вы будете танцевать, или просто лежать в позе. Будет много, много цветов. Мы будем задыхаться от них. И наши друзья, только самые близкие друзья, поймут, как это прекрасно. У моих знакомых есть коврик из леопардовых шкур, я его достану и он будет служить мне костюмом. Представьте, — только леопардова шкура и больше ничего. Она будет держаться на гирлянде из роз.

Она говорила вполголоса, с ошибками, и француз, слегка улыбаясь, тоскливо думал, почему его спутник не повез его ужинать в ресторан. Он был голоден и Свинные котлеты из беглых кошек его не очень прельщали.

Притом ему были скучны восторги Полины, которых он не совсем понимал и не находил достаточно целесообразными, будучи человеком веселым, простым

и очень практичным. Лелечка сидела то краснея, то бледнея, поглядывая время от времени на маленькую сумочку, где у нее лежало письмо к Лаврентьеву. Она его еще не передала, хотя сделать это было весьма трудно, так как стрелок сидел все время рядом с ней, а окружающие, казалось, не обращали на них особенного внимания. Лаврентьев будто ничего не видел; от времени до времени он пожимал руку Лелечки и шептал влюбленные слова, меж тем как та имела вид рассеянный и задумчивый.

— Страшная духота! И притом я здесь ничего не могу есть. Было бы гораздо лучше отправиться в ресторан. Не правда ли? — сказала громко Лелечка, будто читая мысли, сидевшего напротив Жубера.

Тот радостно закивал головой и чокнулся с Еленой Александровной. Остальная компания запротестовала, говоря, что в «Сове» гораздо свободнее и поэтичнее, что можно перейти в другую комнату, или убавить освещение, а за едой можно съездить в ближайший ресторан.

Сделать это вызвались Иней и Лаврентьев. Француз со спутником тоже скоро удалились, а остальное общество перешло в другую комнату, не особенно интересуясь кинематографом в лицах, который шумно и суетливо стали изображать на эстраде.

— Отчего вы, Лаврик, такой скучный? Не надо грустить, — сказала Лелечка, проходя под руку с Лавриком.

— Я не грущу. Но отчего же мне веселиться? Что я значу? Если ко мне и относятся хорошо, обращают на меня какое-либо внимание, то только из-за Ореста Германовича, а сам по себе что я?

— Сами по себе вы — очаровательное существо. Вы

можете быть талантливым, у вас все впереди; и чем же вы хотели бы быть в 18 лет?

— А вот этот француз, он же не старше меня, а между тем он вот танцует, и не плохо... Он сам по себе имеет значение, все на него смотрят.

— Это потому, что все слепы. Если бы они понимали что-либо, все бы смотрели на вас, повернувшись спиной к сцене.

— Вы это говорите только для того, чтобы меня утешить. Я знаю, что я вовсе не красивый; да притом даже если бы я был красив, как вы говорите, что проку в этом, раз я в счет нейдю?

— У вас хорошая память... вы помните мои слова, сказанные в «Славянке». Вы сами себя так поставили, что в счет нейдете.

— Так что вы думаете, что это дело поправимое?

— Нет ничего непоправимого на свете.

Лаврик нагнулся, целуя Лелечкину руку, а сама Лелечка, не отнимая руки, другою тихонько вынула из сумки письмо, написанное Лаврентьеву и, передавая его Лаврику, сказала: — вот прочтите это дома.

— Что это? Письмо? Ко мне?

— Как видите.

— И писали его вы?

— И писала его я. Что же в этом странного.

— Елена Александровна! — воскликнул было Лаврик, но тут, смеясь и грохоча, вернулись Иней и Лаврентьев, неся свертки с сэндвичами и другими съестными припасами.

Хотя неясный, голубоватый свет фонарей не располагал, казалось бы, к шумному веселью, однако, громкие голоса, смех и легкие крики доносились со всех сторон.

Не слышно было только голоса Полины Аркадьевны, которая давно уже забралась за ширмы и вела интимную беседу, полулежа на коленях Инея.

Лаврентьев, сидя рядом с Лелечкой, продолжал влюбленно шептать:

— Вы не можете себе представить, как ужасно провел я вчерашний день. Я положительно не мог найти себе места, не видя вас, и между тем, когда я думал, что сегодня вас увижу, меня снова охватывало беспокойство. Я никогда не чувствовал ничего подобного.

— Вы говорите, Дмитрий Алексеевич, что меня любите; неужели же вы никогда не любили до сей поры?

— Нет, — ответил простодушно офицер. Лелечка тихонько рассмеялась и положив руку на его рукав, тихо сказала: — какой вы милый!

— Отчего же вы смеетесь?

— Вы не обижайтесь, но всегда немного смешно, когда взрослый человек, к тому же военный, признается в том, что он никогда не любил. Мне очень нравится ваша непосредственность.

— Я говорю правду.

— Я вам верю и очень благодарна за это.

И у Елены Александровны явилось быстрое и непреодолимое желание утешить, наградить, сделать что-нибудь приятное этому милому мальчику, который так откровенно и наивно признался ей в любви.

— Дмитрий Алексеевич, — сказала она, — теперь еще нет двух часов, исчезните незаметно и поедете кататься!

Лаврентьев, ничего не отвечая, успел только пожать Лелечкину руку, потому что к ним подошел Лаврик и попросил Елену Александровну на два слова.

— Ну, что это, Лаврик! еще вы будете заниматься аудиенциями! Ведь установлено же, что вы в счет нейдете. Какие же вам еще два слова?

— Елена Александровна, я очень прошу вас, — продолжал настаивать Лаврик. — Вы мне позволите сделать сейчас то, что я должен сделать дома?

— Я что-то не понимаю, о чем вы говорите.

— Ну, прочитайте письмо.

— Какое?

— Ах вы уже позабыли! Ну, то, которое вы мне дали, которое я должен прочитать дома. Разве оно не имеет никакого значения? Я думал... для меня оно стоит целой жизни.

— Вы не ошиблись, оно имеет, конечно, большое значение, — ответила Лелечка рассеянно и вдруг, взглянув на часы, лукаво окончила: — вы можете его прочесть в половине третьего. А теперь не следите за мной и ничему не удивляйтесь.

Выждав минуту, когда все особенно интенсивно заняты были своими делами, Лелечка и Лаврентьев незаметно вышли. Они одевались за вешалкой, весело топясь и смеясь, будто собирались красть яблоки. Они быстро взбежали по лестнице, также быстро вышли на улицу и только дойдя до первого угла, Лелечка остановилась, будто от радости не могла дальше идти.

— Боже мой! — прошептала она, — как хорошо. Вот они, восторженные глаза!

И Лаврентьев понял по лицу своей дамы, что ее можно и даже должно поцеловать.

Когда пробило половина третьего, Лаврик, поспешно выйдя за ту же вешалку, где только-что одевалась Лелечка с Лаврентьевым, вынул скомканную бумажку, шуршавшую все время у него в кармане и прочитал:

— «Милый, милый! Я много думала, и должна сказать вам, что я вас люблю. Завтра в четыре часа встретимся в Гостином дворе. Я все, все скажу вам. Целую вас крепко, а письмо разорвите».

Но Лаврик письмо не разорвал, а опускаясь на низкую табуретку, стал покрывать поцелуями клочек бумаги, будто он целовал нежные щеки самой Лелечки.

ГЛАВА 10.

Все эти дни Лаврик был сам не свой от счастья: еще бы — это был его первый роман! Не какая-нибудь любовная история, которой чем больше придавать значение, тем хуже, а настоящий роман! и притом с кем? С очаровательной, настоящей дамой, у которой есть почтенный муж и внимания которой добиваются многие, хотя бы тот же Лаврентьев. Конечно, откуда этот роман носил характер несколько детский, но чего же вы хотите? Ведь Лелечка Царевская — не Сопька Пистолет, которую после двух слов можно пригласить «на антресоли». Но она его любит, назначает ему свидание, позволяет ему себя целовать! И Лаврику уже казалось, что окончательное достижение зависит только от него. Конечно, это будет подарок со стороны Лелечки, большой королевский подарок, но который можно получить в любую минуту, когда только попросишь. И Лаврик нарочно медлил, чтобы продлить сладкие минуты, как ждут дети, запертые в детской накануне Рождества в то время, когда взрослые убирают в гостиной елку и свет сквозь дверную щель говорит о том, какой блеск, ликование и радость через минуту настанет. А откуда он ходил, как по облакам или по

пуховым перинам, и не слушал, что твердил ему педший рядом Лелечкин брат, Коля Зуев.

Он, действительно, был братом Елены Александровны, хотя никогда у них не бывал, неизвестно, где, как и чем жил и вообще, в семействе считался крестом, о котором предпочитали не говорить.

Положение семейного креста не отнимало у этого молодого человека беззаботности и хорошего расположения духа, а наоборот, придавало только большую остроту его сарказмам, направленным против семейных и всяческих основ, а в частности почему-то против женского сословия, которое он считал главным носителем всяких лицемерных и стеснительных традиций. Может быть, в нем погибал Свифт или Щедрин, но пока что, он больше напоминал неглупого хулигана.

Его общества Лаврик искал обыкновенно или после нотации со стороны Ореста Германовича, или, наоборот, замышляя какую-либо эскападу, за которою неминуемо должен был последовать выговор, и был с ним откровенен в вещах наиболее предосудительных, которые самому ему казались грязноватыми.

Так что Коля Зуев для Лаврика был чем-то вроде помойной ямы или корзины для ненужных бумаг. Он выбрасывал в него все худшее, освобождаясь, и, конечно, ему бы не пришло в голову допустить Колю до своих возвышенных или поэтических мечтаний. Теперь он встретился с ним случайно и, конечно, ничего не говорил ему о своем романе, о своей влюбленности, так что несколько удивился когда, будто по какому-то вдохновению, его спутник сказал:

— Ты не скрывайся, я отлично знаю, что ты с Лелькой завел какие-то фигли-мигли. Удивляюсь, зачем тебе эта кислятина понадобилась. Я ведь тебя знаю, —

одну канитель разводишь... Э, да что на нее смотреть.. дрянь, как и все... Так и паровит, чтобы с кем снюхать-сл... Может, она мужу и не изменяет, только потому что скандала боится, а то ты думаешь, она на него бы посмотрела? И ты думаешь, она в тебя влюблена? ей все равно, что тот офицер, что ты, что старший дворник, — кто под боком найдется...

Он, может быть, продолжал бы и дольше свою речь, если бы его фуражка, сделанная наподобие студенческой, не слетела на середину улицы, сшибленная кулаком Лаврика.

— Это что ж такое?

Лаврик еще раз ударил его по затылку без фуражки и потом уже ответил:

— Убирайся ты к чорту! и если встретишь меня — переходи на другую сторону. Всякий раз буду бить тебя нещадно... Так и помни!

Колька подобрал свою фуражку и хотел было палкой сбить Лавриково канотье, но увидя, что тот ловко парирует его удары своей тросточкой, а кроме того, что к ним медленно подвигается городской, свернул в переулок, проворчав на прощанье: — посмотрим, что ты через неделю запоешь, сопляк несчастный!

Лаврику захотелось сейчас же, сию же минуту увидеть Елену Александровну, упасть к ее коленям, целовать ее подол, как-то плакать над ней, очистить ее от тех слов, которыми будто грязью покрыл ее, ее же брат! Он почти бегом бежал на Екатерининский канал, чтобы поскорей, сейчас же исполнить свое желание, взлетел стрелой по лестнице, как ураган в переднюю, и остановился, увидя на вешалке форменное пальто с малиновыми кантами. У Елены Александровны в гостях был не один Лаврентьев, что несколько смягчило ревность

Лаврика. Тут же находился Орест Германович и Ираида Львовна; Леонид Львович также был дома. Все они сидели полукругом за столом с чайным прибором и имели вид ареонага.

Когда Лаврик остановился на пороге, Лелечка воскликнула неестественно громко: — только Лаврика и не хватало для семейного совета!

— Почему семейный совет? — недовольно спросил муж.

— Да как же, тут все родня. Сидим кружком, будто собираемся судить какую-то преступную жену. Один Дмитрий Алексеевич посторонний...

— Орест Германович, хотя нам и близкий человек, но он нам не родня.

— Орест Германович, нам родня по Лаврику.

Незаметив неловкости Лелечкиного ответа или наоборот, подчеркивая ее, Ираида Львовна медленно, но внятно спросила:

— А Лаврик вам по кому же родня?

— Лаврик? Лаврик это просто так... Мы все так передружились, что не разберешь, кто родня, кто не родня... Давайте лучше чай пить.

Тогда уже Лаврик заметил:

— В таком случае вам уж лучше Дмитрия Алексеевича за родню счесть!

— Я был бы счастлив! — ответил стрелок, но все потупились и стали болтать ложками в чашках.

Возобновил разговор опять таки Лаврик. Он возобновил его не особенно оригинально, повторив ту же самую фразу:

— Да, по-моему, если из присутствующих здесь посторонних людей Елена Александровна кого и может счесть за родню, то скорее всего Дмитрия Алексеевича.

— Почему? — спросила Лелечка, глядя прямо в глаза говорившему. — Я и вас и Ореста Германовича гораздо лучше знаю.

— А между тем вы гораздо родственнее относитесь к Дмитрию Алексеевичу, чем к нам.

— Если б это было и так, что в этом предосудительного?

— Я ничего и не говорю.

— Можно подумать, Лаврик, что вы влюблены в мою жену и говорите это из ревности.

— Влюблен ли я в Елену Александровну, или нет, это имеет мало значенья, а вот то, что ваша жена слишком любезна с г. Лаврентьевым, это не лишено интереса.

— Да что вы про меня говорите, будто я неживая или меня здесь нет. Согласитесь, что это, по меньшей мере, неудобно, — так обсуждать дела человека в его присутствии.

— Я вообще просил бы не упоминать моего имени рядом с именем Елены Александровны. Запомните это, молодой человек, а то вам же хуже будет.

— Интересно, что за Елену Александровну вступается не Леонид Львович, как ее супруг, а совершенно постороннее лицо, даже не друг.

— Лаврик, Лаврик, что с вами? — сказал Орест Германович, подходя к красному, как рак, мальчику.

— Мне это надоело... такое лицемерие, эта двойная игра! Оставьте меня в покое!

— Ах, вам это надоело? — воскликнула Лелечка, — а вы думаете, вы мне не надоели? Вы — дерзкий, наглый мальчишка! Что вы о себе воображаете? Вам это надоело? ну так вот вам! да, я люблю Дмитрия Алексеевича, если хотите, я его любовница! если б вы знали, как все вы мне надоели!.. что вам нужно от меня?

— Лелечка! Лелечка! Елена Александровна! — раздалось восклицанья, а Лаврик, закрыв одной рукой лицо, а другой отмахиваясь, будто его преследовали осы, бросился в переднюю.

Лелечка догнала его уж на лестнице, с которой он спускался, надев пальто в один рукав.

— Лаврик, милый! не верьте! Это все неправда... Я люблю только вас, но зачем ко мне так пристают?

Но Лаврик, не останавливаясь, продолжал спускаться и, казалось, плакал.

Когда Елена Александровна воротилась в комнату, все оставалось на прежних местах и смущенно молчали. Наконец, Леонид Львович хриплым голосом произнес:

— Что это значит? Объясни мне, Лелечка, если можешь. Неужели все это правда?

— Ах, я не знаю... Оставьте меня в покое.

— Да как же ты не знаешь? Кто же это знает?

— Я вас уверяю, — вступился Лаврентьев, — даю честное слово офицера, что Елена Александровна была раздражена и произнесла слова, не только необдуманные, но и несоответствующие действительности. Вы можете мне поверить, что на самом деле ничего подобного нет. Кроме того, я клянусь, я вам ручаюсь, что такие дикие сцены не повторятся.

— Я уверен, что совместными свидетелями подобных сцен мы с вами не будем, потому что, надеюсь, вы понимаете, что дальнейшие посещения вами нашего дома мне были бы весьма нежелательны.

— Как это глупо! — прошептала Лелечка, а Лаврентьев, молча простившись, вышел из комнаты.

Тогда Леонид Львович, не взирая на присутствие сестры и Ореста Германовича, опустился на колени перед женой и, целуя ее руки, повторял:

— Ну, скажи мне, скажи мне, что все это значит?

— Ах, почему я знаю? Оставь меня в покое!.. Как вы мне все надоели!.. — отвечала та, не поворачивая головы.

ГЛАВА 11.

Против обыкновения Лаврик целые дни проводил дома, что нимало удивляло его дядюшку, Ореста Германовича. Он не был меланхоличен, или мрачен, наоборот, как-будто больше занимался, чем обыкновенно, и на вопросы, почему он все сидит? отвечал весело и беспечно:

— Так надоело, так надоело шляться! неужели ты думал, что я и посидеть дома не могу?

Сделался аккуратнее, даже как-будто стал интересоваться их несложным хозяйством, и все торопил Ореста Германовича скорее ехать в деревню. Он совсем не был похож на раскаявшегося грешника, так был весел, прост, деятелен, — так-что Ореста Германовича несколько удивило, когда однажды, вернувшись домой, он застал Лаврика, стоявшим у окна, откуда была видна нестройная куча судов и пароходов, теснившихся вокруг высокой лебедки. Положив руку на плечо племянника, Пекарский молчал, думая, что тот мечтает о скорейшем их путешествии. Лаврик сжал другую руку Пекарского и продолжал стоять молча, наконец, воскликнул:

— Неужели все так лживы и подлы?

Не зная, к чему относится это восклицание, дядя промолчал.

Тогда младший, прижавшись щекой к плечу другого, продолжал:

— Но поверь, это кончилось совсем, раз навсегда! Отчасти хорошо, что так случилось! Я исцелился разом, понимаешь: разом и навсегда. И как хорошо, что ты ничего не знал, что все это прошло мимо тебя. Мне кажется, что если бы было возможно быть ближе, теснее к тебе, то именно теперь это время настало.

— Я ничего не знал и ничего не думал. Ты сам говоришь, что это хорошо, что я ничего не знаю. А я знаю, вижу только то, что ты стал другим и гораздо лучшим, гораздо более дорогим и милым, чем прежде. Раз это прошло, тем лучше. Пускай то, что прошло, пройдет в молчании. Когда-нибудь ты расскажешь.

— Да, да, пускай то, что прошло, пройдет в молчании! Оно прошло, окончательно прошло... ты не понимаешь, какое это освобождение.

Слуга подал письмо Лаврику. Мельком взглянув на адрес и не распечатывая конверта, он разорвал его в мелкие куски, весело взглянул на Ореста Германовича и, поцеловав его, сказал:

— Пусть будет так.

С этого дня Лаврик стал выходить, но всегда с Орестом Германовичем; казалось, никогда эта дружба ни была такой светлой и радостной. А между тем разговоры окружавших были все те же; так же хлопотала, безумствовала и разводила всяческую тесноту Полина Аркадьевна. Ираида Львовна скорбела душой в позе Брюлловского портрета; так же влюбленно краснел молодой стрелок и сама не знала, чего хотела, его дама; та же однообразная и неустроенная свобода царила в «Сове», которую попрежнему все посещали и так же, попрежнему неопределенная тяжесть лежала на Лелечкином муже, Леониде Львовиче. Он не мог себе объяснить

этого изменой своей жены или ее поведением, потому что в первую он не верил, а поведения у Елены Александровны никакого не было; она каждый день была другою и вела себя по другому. И это не было для него новостью, потому что Лелечка Царевская всегда были такою с самого первого дня их знакомства; может быть, именно эта-то изменчивость и разнообразие и привлекло его к девушке, которую хотелось понять и разгадать. Леонид Львович ничего не понял и не разгадал, может быть, потому что был слишком недогадлив, а, может быть, потому что и разгадывать-то было нечего. Он просто тихо и затаенно жил, знал, что никогда нельзя предсказать, в каком духе встанет его жена. Это разнообразие утратило для него уже прелесть новизны, но по особенно беспокоило, так-что никак нельзя было именно в нем искать причины, его, Леонида Львовича, расстройств. Он часто об этом думал, и теперь, когда он шел по набережной, эта же, неопределенная тоска не позволяла ему как следует смотреть на проходивших и проезжавших, вышедших на весеннее солнце, которое более бодрило, нежели грело. Меньше всего он думал о Лаврентьеве, или о каком-либо другом знакомом своей жены, с которым она могла бы иметь роман. Романы, вообще, Леониду Львовичу не представлялись необходимостью и он, любя Елену Александровну тихо и несколько скучно, даже напрягая все воображение, не мог себе представить, как можно даже подумать о романе с другою женщиной.

Маленькая, совсем голая собачка в жалкой пононе и с длинным шнурком у ошейника, очевидно, вырвавшаяся из хозяйских рук, бросилась под ноги Царевскому, обиженно и зло тявкнула и быстро побежала по ступенькам к Неве.

Леонид Львович поспел уже наступить ногой на волочившийся шнурок, а потом схватить собаку, которая визжала и старалась его укусить, вырываясь своими голыми, маленькими ногами и животом, похожая на злую крысу, когда он услышал над собою повышенный женский голос: — Туту! как тебе не стыдно? Ты заставляешь меня беспокоиться и кричать, как салопница... Мне очень стыдно, что я доставила вам беспокойство; она вовсе не хотела топиться, но она очень зла и от злости может убежать совсем... Неправда-ли, это ужасно иметь дело с такими капризными и упрямыми существами? Она вас не укусила? Будьте благодарны и за это. Да, я совсем и позабыла поблагодарить вас, вы избавили меня от многих хлопот... Благодарю вас... Боже мой! по где же я вас видела?»

Перед Царевским стояла высокая, очень худая женщина, с узкими, длинными глазами, одетая модно, но вычурно.

— Вы, может быть, имеете хорошую память на лица?

— Да, я хорошо запоминаю лица, но с вами я почти говорила.

— Да, вы со мной почти говорили. Это было в «Сове».

— Вот!.. Вы совершенно правы... Это было в «Сове», но все-таки я вас не знаю. Там очень вульгарно, но занято.

— Вы, сами того не зная, оказали мне большую услугу. Моя фамилия Царевский.

— Я очень рада, что могла вам оказать услугу. Так что мы с вами квиты? Вы мне вернули это злое существо, которое хотело от меня сбежать... а моя услуга была в таком же роде?

— Не совсем.

— Не думайте, что я навязываюсь на откровенность. Мне достаточно того, что я кому то помогла, сама этого не зная. Моя фамилия — Лилленфельд.

— Кто же этого не знает!

— Вот видите, что значит слава. Можно обходиться без визитных карточек. Я не знаю, про кого из певцов или певиц не рассказывали анекдотов, что они вместо паспортов пели какие-нибудь арии. Еще недавно Шаляпин возобновил этого милого, архизвестного старичка... Что же делать мне? Прочитать тут, перед годовым, монолог Феды?

— Вам не нужно говорить никаких монологов. Достаточно ваших глаз, улыбки и фигуры, чтобы узнать вас где угодно, среди тысячи людей.

— Вы мне говорите комплимент. Ведь это самая большая лесть для женщины, а, может быть, для всех то, что вы сказали. От времени до времени так нужно это слышать. Потому мне не хочется вам говорить: — прощайте. Я вам скажу: «до свидания».

— До свидания!

Она уже отошла шага на три, держа собачку под мышкой и мелькая белыми гетрами по направлению к маленькой коляске с грумом, как вдруг, обернувшись, подождала Царевского и сказала почти весело:

— Теперь я все отлично помню... Вы были в «Сове» с высоким, белокурым мальчиком, его чем-то обидели, поднялся страшный крик, и я его увела к нашему столу. Вы к нам подходили два. Еще с вами была какая-то странная дама и сестра того мальчика, беленькая.

— Она ему вовсе не сестра, это — моя жена.

— Ах, так вы и женаты к тому-же? Видите, как все хорошо. Ну, я бегу. Учитель фехтования меня заждался... он очень забавный итальянец.

ГЛАВА 12.

Елена Александровна сказала правду, когда говорила, что все ей надоело до смерти. Она сказала правду и тогда, когда объявила Лаврентьева своим любовником; она не лгала и Лаврику, уверяя, что только его любит; и что больше всего ее мучило, так это невозможность соединить все эти несоединимые вещи. Она ни на минуту не переставала любить мужа, ей несколько не был дорог Лаврентьев и она была бы неприятно удивлена, если бы Лаврик потребовал от нее более осязательных доказательств любви. Кроме того, она редко говорила все эти три правды зараз и никогда не ошибалась адресом, так что все трое влюбленных в нее, если и могли иметь какие-нибудь подозрения, никогда не слышали подтверждения им из уст самой Лелечки. Менее всего подозрений имел стрелок; конечно, эта уверенность происходила от пассивной и несколько примитивной логики. В душевной невинности он полагал, что раз женщина принадлежит ему и ведет себя, как пламенная, хотя и капризная любовница, значит — она его любит. В таком смысле он и думал делать свой доклад о происшедших событиях, идя на далекую окраину к Смольному Собору. Мистер Сток, конечно, занимался, обложенный ботаническими книгами, когда к нему позвонился его редкий посетитель.

— Ну, что же вы скажете теперь, друг мой?

— Теперь я счастлив, насколько может быть счастлив человек.

— Ваша матушка об этом знает?

— Покуда нет; еще не было настойчивой необходимости.

— Что же эта дама покинет своего мужа? ведь очень трудно, я думаю, для вас самих такое неопределенное положение.

— Да, конечно, это неудобно; но я думаю, что это дело двух-трех дней, самое большее недели.

Мистер Сток почесал разрезательным ножом за ухом и, помолчав, спросил:

— Так что, это серьезное дело на всю жизнь? Иначе такой шаг был бы непростительным легкомыслием.

— Да, я люблю Елену Александровну на всю жизнь.

— И она вас, конечно?

— Я думаю. Я могу ручаться за нее почти, как за самого себя.

— На всю жизнь! Сколько раз мы говорим самим себе и другим эту фразу, и мы не лжем, хотя знаем, что десять раз говорили тоже самое совсем по другим поводам. Вы конечно, еще слишком молоды, вы, может быть, еще в первый раз говорите: «навсегда». Я несколько не хочу вас разочаровывать, но потом вы увидите, что я был прав. И удивительнее всего, что повторность этого сознания несколько не мешает его свежести, а даже как будто наоборот, прибавляет ее. В этом залог нашей живучести, нашей способности к жизни; и говоря в двадцатый раз: «навсегда», вы верите сильнее и острее в свою искренность, чем когда вы это сказали в первый раз. Без этого немислимо жить... И это относится не только к любви... Всякий раз после пожара мы строим новый дом и думаем: он простоят до нашей смерти, определенно зная, что он погибнет от первого нового пожара. Мы вечные плотники и постоянные путешественники... Кто бы мог сказать неделю тому назад, что я буду заниматься ботаникой и заниматься так, как-будто я буду увлечен этим всю жизнь? Хотя я отлично

знаю, что эти занятия продолжатся не более года. Без этого сознания «навсегда» ничему нельзя отдавать свою душу, потому что получится одно легкомысленное равнодушие и разочарованность.

Когда мистер Сток умолк, Лаврентьев сказал, будто вся эта речь была сказана не для него, его не касалась:

— Мистер Сток! мне хочется сделать не совсем хороший поступок. Вы как-то говорили, что хотели бы видеть Елену Александровну. Это можно сделать сегодня, если вы не слишком заняты.

— Я могу отложить свои занятия, но почему вы считаете это поступком нехорошим?

— Я вам сейчас объясню. Елена Александровна поедет сегодня кататься на острова и просила меня не сопровождать ее. Тут нет ничего, чтобы можно было возбуждать подозрения, это просто каприз, но я его должен был бы исполнить.

— Да, конечно. Даже если бы что-нибудь скрывали от вас, то вы не должны были бы узнавать этого.

Лаврентьев забеспокоился.

— Что же она может от меня скрывать? Ничего важного. А у нее бывают причуды. Конечно, это плохо, я сам знаю, — но именно сегодня, мне бы хотелось, чтобы вы ее видели. Это будет очень полезно для меня, для нас. Вы бы увидели, что с этой женщиной нельзя поступать иначе, как «навсегда».

— Я не знаю, как вам посоветовать. Конечно, если это так важно, чтобы я видел ее именно сегодня...

— Да, это очень важно. И сегодня очень удобный случай...

— Тогда мы можем отправиться. Она, я думаю простит вам это маленькое непослушание.

Мистер Сток смотрел направо, а Лаврентьев налево,

чтобы не пропустить Лелечки. Хотя англичанин не знал Елены Александровны в лицо, но Лаврентьев так подробно описал ему костюм, в котором обыкновенно выезжала на прогулку Елена Александровна, что тот едва ли мог ошибиться. До Стрелки они ее не встретили. Один раз стрелок закричал: «вот она!», но проехала какая-то незнакомая дама со старухой, удивленно посмотрев на волнение офицера. На Стрелке среди катающихся и между пешеходов тоже не было Царевской.

— Ни в одной столице нет таких окрестностей, которые находились бы почти в городе, как в Петербурге, — заметил мистер Сток, указывая на широкую просеку, в конце которой виднелся белый дворец, но Лаврентьев все подгонял кучера, дав городской адрес Царевских. Елены Александровны не было дома и швейцар сообщил им, что она наняла мотор в «Буфф». Поехала одна.

— Это же неприлично! разве можно ехать в «Буфф» одной?

— Может быть в артистическом мире и можно, при том, как вы сами говорили, у вашей дамы бывают капризы. Я уверен, что тут не только предосудительного, но никакой тайны нет. Это просто кокетство, маленький секрет, который всегда украшает любовные истории...

Услышав, что Лаврентьев велит ехать в «Буфф», мистер Сток, настойчиво, но мягко сказал ему:

— Я бы вам не советовал этого делать; отложите до другого раза.

— Нет. Теперь уже поздно. Я хочу знать, что все это значит,

— В таком случае поезжайте один.

— Милый мистер, не оставляйте меня. Это будет очень нехорошо, если вы меня бросите. Я хочу, чтобы вы видели или мою гордость, или мой позор.

— Зачем такие громкие слова? Ну, какой же позор в том, что Елена Александровна поехала с какой-либо знакомой, если даже знакомым в театр, не сказавшись вам? Это, вероятно, случилось экспромтом. Я даже уверен, что вам звонили по телефону, но ведь вас не было дома...

Хотя не был антракт, но по дорожке, освещенной разноцветными фонарями, прямо на них медленно двигалась Лелечка и Лаврик.

— Вы совершенно правы, я делаю глупость. Смешно отыскивать женщину, когда она вас просит оставить ей вечер свободным, — прошептал Лаврентьев, схватывая своего спутника за руку. Но было уже поздно. Лелечка сама их увидела и, подойдя близко к Лаврентьеву, весело сказала:

— Вот уж не ожидала вас здесь встретить! Лаврик случайно достал два места и потащил меня. Но такая скука, что я предпочла ходить здесь. У вас есть места?

Лаврентьев хрипло проговорил.

— Нет, у нас нет мест, мы на одну минуту, по делу, и сейчас уезжаем. Позвольте вам представить моего друга: мистер Сток, Андрей Иванович.

— Дмитрий Алексеевич очень много о вас рассказывал, — проговорила Лелечка, как ни в чем не бывало.

Почти сейчас же простились; у кассы они встретили Ореста Германовича. Лаврентьев, весь красный, все тем же хриплым голосом проговорил ему:

— Однако, вы опоздали! а ваш племянник вас давно уже ждет.

— А разве он здесь? — спокойно спросил Пекарский.

— Боже мой! — зачем все делают вид, будто ничего не случилось! Что это: бездушные, тупость, или лицемерие?

— Но, милый друг, может быть, и, действительно, ничего не случилось, а если и случилось что-нибудь, так это не стоит особенных волнений.

ГЛАВА 13.

Дмитрий Алексеевич Лаврентьев не посещал Лелечкиного дома по желанию ее мужа; они всегда виделись с Еленой Александровной где-нибудь на стороне. Если для Царевской это обстоятельство и придавало особенную прелесть их роману, то простодушному стрелку было несколько неловко и неуютно всегда встречаться урывками и на каком-то торчке. Конечно, если бы он посещал Царевских, то было бы тоже не всегда спокойно, потому что каждую минуту мог войти муж, или кто-нибудь из знакомых, а он бы, Дмитрий Алексеевич, хотел увести свое сокровище далеко, скрыть от других людей, чтобы можно было от утра до утра быть вместе, ходить вместе, есть тоже, рассказывать тихо и доверчиво о своем детстве: как он жил до встречи с нею, как ее полюбил и как теперь любит. Это было бы нежное, ветрополивое и прочное блаженство. И он, как нельзя лучше, понимал, что друг его мистер Сток — прав, что, конечно, Лелечке нужно бросить мужа и выйти за него, Лаврентьева, замуж. А матушка согласится: она добрая и так его любит. И как это ни странно, это решение с особенною настойчивою ясностью ему показалось необходимым после последней его встречи в «Буффё». Конечно, это должна быть последняя встреча. Он поговорит с матерью, поговорит с Еленой Александровной и тогда сейчас же, завтра, сегодня вечером, они уже ни на секунду не будут расставаться, никаких мужей, никаких Лавриков,

никого... Боже мой, как это будет хорошо! И вот сейчас же он пойдет в комнату матери... Он позвонил и вместо с его звонком слился, где-то вдали, другой, тонкий звон.

— Барыня дома? — спросил он у вышедшего денщика.

— Никак нет, — и понизив голос, солдат добавил, — так что к вашему высокоблагородию пришла барышня. Кто такая, не сказывается.

— Ко мне? Кто бы это мог быть?

Но кто же, действительно, мог придти к нему, как не та, о которой он думал, мечтал? Он едва не вскрикнул от радости, увидев ее милую, знакомую шляпу у себя в передней. Перед денщиком он сдержался, щелкнул каблуками и даже сказал: — Чем могу служить? — Пожалуйте! — Но едва только закрылись за ними двери его комнаты, как Лаврентьев, не предложив даже ей раздеться, опустился на колени и стал целовать ее перчатки, кофточку, зонтик, повторяя только: «Лелечка, Лелечка, Лелечка.»

Она ласково, несколько печально, провела рукой в перчатке по его голове и сказала:

— Какой вы смешной: дайте мне хоть снять перчатки! Вы, наверно, не ожидали, что это я? У вас здесь хорошо! Вы здесь давно живете? Наверно, эта же комната была вашей, когда вы были юнкером, а может быть даже и кадетом?

Она медленно ходила по комнате, осматривая обыкновенную обстановку, бедные товарищеские карточки, немудреные книги, а он так же тихо ходил за нею по пятам, целуя то в плечо, то в шею и шепча только: — Боже мой! Боже мой! — Наконец, Елена Александровна села в кресло, спиной к окну и начала:

— Конечно, как мне ни приятно быть у вас, но я пришла к вам по делу, если только разговор может считаться делом. Я пришла даже не столько разговаривать, сколько объяснить вам то, что могло показаться странным в моих поступках, или даже, если хотите, не совсем красивым.

— Не надо никаких объяснений. Я все понимаю и потому так хорошо, т. е. так славно, понимаю.

Елена Александровна мельком на него взглянула, будто недовольная и заметила:

— Как же вы можете понимать, коли я сама еле соображаю, что делаю, что чувствую? Знаете, тогда в «Буффе» я не хотела подавать виду при вашем друге, но я была вами недовольна. Зачем это шпионство? Неужели вы думаете, что меня сколько-нибудь интересует этот мальчик?

— Ничего я не думаю и ничего этого не будет, потому что завтра же вы поговорите с вашим мужем и оставите его.

— То-есть, как оставлю мужа?

— Очень просто!

— Зачем же я буду это делать?

— Вот именно затем, чтобы не было надобности объясняться обо всяких пустяках, чтобы не было ничего скрытого, чтобы мы никогда с вами не расставались, ни на секунду.

Еле заметная усмешка прошла по лицу Елены Александровны, когда она спросила:

— Вы кажется хотите, чтобы я стала официально вашей любовницей?

— Как вы это могли подумать? Покуда вы не разведетесь и не выйдете за меня, мы можем даже нигде не показываться вместе.

Елена Александровна, казалось, не верила своим ушам, потому что она переспросила:

— Покуда я не выйду за вас?

— Ну, да, конечно, как же может быть иначе?

— Но послушайте: какая же, какая же будет разница в моем положении с тем, что я имею теперь?

— Я не совсем понимаю, что вы говорите! Про какую разницу?

— Ведь я же и теперь замужем... зачем же я буду заводить такую историю, разводиться с мужем? Только для того, чтобы приобрести себе нового?

— Для того, чтобы никогда не расставаться с тем, кого вы любите и для кого вы составляете единственное счастье.

— Но, милый Дима! это же говорится во всех романах... это избито, как старый пятнальный. Зачем же мы будем это проделывать?

— Мне все равно: избито это, или не избито, банально, пошло, у меня чувства совсем обыкновенные, потому они и выражаются обыкновенно. Это единственный, радостный, достойный выход.

— Как это скучно!

— Ах, вам скучно? Неужели вам нужен я был только, чтобы шекотать нервы и создавать необыкновенное положение?

Лелечка стала вдруг ласковой.

— Совсем нет! Но вы слишком упрощаете и клеветаете на себя. Это совсем не так просто, как вам кажется, и поверьте, если б я не была замужем, если бы мой муж был не такой прекрасный и любящий меня человек, которого я уважаю и бросить совсем не хочу, если б тут не была замешана настоящая и первая любовь этого мальчика, вы бы на меня не обратили вни-

манья, наши отношения вам показались бы пресными, как и мне. Ну, признайтесь сами, разве вы меня полюбили бы так вот, как теперь, если бы мы с вами встретились не в «Сове», а просто я была бы барышней из общества, которую ваша матушка приготовила бы вам в невесты?

— Я любил бы вас одинаково, при каких угодно обстоятельствах. Вы можете судить об этом по тому, что я люблю вас даже при тех обстоятельствах, которые существуют.

— Опять-таки вы наговариваете на себя. Вся прелесть, весь смысл нашей любви именно в этих обстоятельствах. Если б не было этого мальчика...

— Я был бы только благодарен судьбе... я даже удивляюсь вашей нечуткости, Елона Александровна. Я не хочу, чтобы вы все время тыкали мне в нос вашего молодого человека.

— А я хотела, именно, о нем с вами сегодня говорить.

— Я бы вас просил избавить меня от подобных разговоров.

Лелечка казалась искренне удивленной.

— Вы кажется, ревнуете, милый друг? Так-таки просто ревнуете, как любой человек, как Иван Иванович, как старший дворник?

— Да, если угодно, как старший дворник, потому что, повторяю вам, чувства у меня самые обыкновенные и все эти любовные сложности мне непонятны и противны... Я вас люблю, вы меня любите, чего же больше? Зачем нам еще целая куча посредствующих людей? Что же мы разыгрываем фарс «Под звуки Шопена»? И без присутствия вашего мужа, этого молодого человека, вы меня не можете любить? Какая гадость!

— Дмитрий Алексеевич, вы, кажется, забываете, что я женщина и что я у вас в доме? Чем я заслужила ваши оскорбления?

Лаврентьев перестал бегать по комнате и снова, опустясь на колени перед креслом, где сидела Елена Александровна, крепко стиснул ее и начал говорить раздельно, близко поднеся свое лицо к лицу Лелечки, глаза в глаза:

— Да поймите же, что я вас люблю безумно! Что я хочу быть для вас одним, как вы для меня одна. Я не хочу никаких сложностей расстроенного воображения... Я никого не любил, и я вас люблю чисто и грубо... Да, как старший дворник, именно. Никаких оттенков и зрелищ я не хочу, и я запрещаю вам о них говорить! Я хочу, чтоб вы сделались моей женой: потому что всегда нужно, чтоб человек говорил «да», или «нет», а не вилял... Что вы мне скажете?

Лелечка злая и бледная проговорила:

— Прежде всего я прошу вас отпустить мои руки...

— Я вас не отпущу, покуда вы мне не ответите.

— А я вам не отвечу, покуда вы меня не отпустите...

Ну, что же, будем ждать, кто кого переждет?

Лаврентьев сразу отпустил Елену Александровну и поднялся красный, тяжело дыша. Елена Александровна, поправив платье, молчала и, наконец, начала отчетливо и резко:

— Выбросьте из головы мысль, что я выйду за вас замуж. С меня совершенно достаточно того мужа, который у меня есть. Вы — грубый и невоспитанный человек. Я вас ненавижу!.. Вы сломали, растоптали все то нежное здание, которое я строила, и вы меня не любите нисколько, потому что старший дворник любить не может. Вот все, что я могу вам сказать. Дайте

мне кофточку, я ухожу... Вы меня больше никогда не увидите!

Лаврентьев молча, не глядя на Елену Александровну, подал ей кофточку; молчала и гостья, не поднимая глаз. Но, когда она стала застегивать перчатки, офицер, все не глядя на нее, хрипло прошептал:

— Елена Александровна, простите меня, не уходите... Я сам себя не помню, пусть будет так, как вы хотите...

Лелечка подняла на него свои глаза, светло-серые, и просто сказала:

— Прощайте.

— Елена Александровна, я умолию вас не уходить. Забудьте то, что я говорил. Я слишком вас люблю и, может быть, наговорил вздора. Может быть, я научусь понимать вас, как вы понимаете.

Лелечка уже застегнула перчатки и молча шла к двери. Тогда Лаврентьев, быстро пробежав, встал спиной к двери и залер ее на ключ.

— Очень мило, — сказала чуть слышно Лелечка.

— Да, очень мило... Вы думали, что вы так спокойно и уйдете целоваться с вашим мальчишкой, или с вашим супругом, измучив меня до конца. Нет, вы отсюда не уйдете, покуда не согласитесь выйти за меня замуж.

— Да вы, кажется, с ума сошли! Я знакома с вами не буду, не только что выходить за вас.

Лелечка еще довольно храбро говорила последние слова, как вдруг Лаврентьев, отленившись от двери, сделал три шага, и не успела Лелечка сообразить в чем дело, как она почувствовала себя брошенной на то же кресло, где только что сидела, а на своей спине сильные удары кулака.

Лаврентьев стоял беспомощно среди комнаты, как будто не соображая, что он наделал. Лелечка лежала ничком, не двигаясь. Лаврентьев с своего места прошептал.

— Елена Александровна, а Елена Александровна.

Лелечка подняла свое испуганное и красное, но не заплаканное лицо и тихо сказала:

— Дима, я вас не знала до сих пор, я себя не знала до сих пор, это уже не фантазия, и вы, действительно, любите меня и не как старший дворник, а как настоящий мужчина жопчину. Теперь я поняла, что люблю только вас. Если хотите, я буду вашей женой.

ГЛАВА 14.

Большая поляна со свежей, зеленой травой, покрытая группами сидящих и гуляющих людей, беззаботное, но не успокоенное еще по летнему небу, долосившался издали военная музыка, мохнатая, белая собаченка, описывавшая круги в непонятном восторге, разноцветные дамские платья и шляпы, блоск велосипедных спиц, голубой ящик мороженщика, белый дым паровоза, подымавшийся из за деревьев и летевший по небу, как единственное белое, нежное облако, — все имело вид беспечного сельского гулянья, какие мы видим на старинных гравюрах, сделанных горожанами, когда казалось, что, наконец, люди нашли свое призвание и свое назначение — быть беспечными, веселыми, праздными и влюбленными.

Даже компания наших знакомцев, которая отнюдь не походила на общество 18-го века, приняла на себя

отблеск этого непосредственно-природного и литературно-поэтического ликования.

Первая зелень деревьев заставляет поневоле быть тактичными, так что даже Полина Аркадьевна не распространялась о роковых страстях и красоте безумия, а легко шла, как молоденькая девушка, в розовом платье, и только фантастический и смешной грим жалко не соответствовал веселому, привольному солнцу. Студенты в свежее-вымытых кителях, казалось, сами удивлялись, что они не сидят в «Заре», не на скачках, не на просиженном диване Полины Аркадьевны, а идут по твердой и не совсем оттаявшей земле. Но их лицам без грима, было видно, что эта полдневная прогулка происходит не от раннего вставания, а от каприза их дамы, пожелавшей после пьяной и бессонной ночи, яичницы где-то на вокзале в семь часов утра, отправиться в Павловск на лоно природы с тем, чтобы вечером там же не пропустить открытия музыки. Они шли быстро к ферме, чтобы там позавтракать, так как им казалось, что они хотят есть. Не находя настоящих простых слов, они были догадливы молчать; наконец Полина придумала:

— Но что вы такие кислые? неужели так важно не поспать ночь? у меня, наоборот, будто прибавилось бодрости... Ах, жизнь, жизнь! пролетит и не увидишь! Ну, Иней, догоняйте меня... я бегу!

И она пеловко зигзагами побежала на высоких, золоченых каблуках. Иней и Шпингалет, не расставившийся со шнагю, бросились за ней, как два медодеяла, чуть не спшибив гимназиста на волосинке. Чирик степенно следовал сзади, насвистывая «Марш теней». Но и это развлечение было исчерпано; стали велух мечтать о молоке, о ферме и о фантастических малоросеняшках, которые там прислуживают. Полина Ар-

кадьевна чувствовала, что еще минута, — и она начнет томиться. Тоскливо посмотрев по сторонам, нет-ли кого интересного, чтобы занять остаток дороги, она стала перебирать в уме всех своих знакомых и соображать, что они делают, что они могли бы делать и как они должны были-бы поступать. Последнее оказывалось всегда наиболее неожиданным и диким для непредубежденного взгляда. Иногда своими выводами она делилась с спутниками, не ожидая ответа и сочувствия, а просто так, сотрясая воздух.

— По-моему, Ираиде Львовне нужно было-бы заняться ритмической гимнастикой и потом показывать группы, я не знаю, где... в «Акварнуме» что-ли...

— Но, как же она одна будет показывать группы?

— Ты придираешься. Всегда можно найти партнера. А то она прямо закиснет. Еще я тоже не понимаю — чего Пекарские сидят в Петербурге? денег у них довольно, оба мужчины молодые... я-б давно на их месте стала открывать неизвестные страны. Ах, я бы хотела быть миссионером! Знаешь? по моему, анчоусы вчера были не свежие... Это, по моему, возмутительно! отличный ресторан, так дорого берут... А гусар-то какой был? просто душечка! Тоже меня возмущает Лелечка... сидит со своим мужем! кому это нужно? Если-бы у меня была паружность Кавальери, ее голос — я бы весь мир повернула... она, просто, глупа».

— Но, ты и так, хоть не весь мир, а очень многое перевертываешь вверх ногами, — и прежде всего свои мозги и воображение...

— Ах, Шпингалет, ты думаешь, это очень умно говорить дерзости? вы все — неблагодарны и мне надоели... Вот я вас прогоню и вы пожалесте, потому что другой такой компаньонки вам не найти.

— А мы чем же плохи?

— Да не ссорьтесь, господа! — пробасил Чижик. — Мы уж пришли на ферму.

Их зачихали в дощатую беседку за большой стол, где уж сидели две пожилые дамы, девочка и мальчик. Полина стала жаловаться, что ей ничего не видно, душно — и отослала Шпингалета покупать себе розы, но потом занялась соседними детьми, играя с ними в прятки и говоря таким же тоном, как со своими кавалерами.

Испуганные дамы поспешно удалились, и Полина стала ко всем приставать: где «Шпингалет?»

— Фу, Полина, да ты же сама послала его за розами.

— Да, да! Я и забыла. Я не думала, что он будет так глуп и пойдет их отыскивать.

— Так ведь, если-бы он не пошел, ты бы стала его прижигать папиросами?

— Конечно, — кротко согласилась Полина. На всех нападала сонная одурь. Было еще только два часа. Через четыре пужно было начинать беспокоиться о столыке для обеда. Наконец, явился Шпингалет с тремя розами.

Полина на него набросилась, розы сейчас же обрвала, пробовала было кормить их лепестками голубей, но так как голуби цветов не клевали, то Полина весь остаток лепестков высыпала себе в кружку с молоком, стала приставать к спутникам, чтобы они все посмотрели, какое красивое сочетание и наконец неожиданно заявила, что никогда так не веселилась.

Стали ходить по храмам «дружбы», мавзолеям и могилам. Полина Аркадьевна завздыхала о Греции и сказала, указывая на фигуру, приближавшуюся к ним:

— Вот идет человек, который понимает больше, чем

кто-бы то ни было, всю прелесть утренней юношеской Греции... Это — граф Печаткин...

Навстречу шел полный, бритый розовый человек, лет двадцати пяти, а может быть и тридцати, в клетчатом шотландском костюмчике, в маленькой шапочке с ленточками, голыми руками и коленками.

— Он — сумасшедший? — спросил Иней.

— Нет... отчего?

— Зачем же он оделся такой чучелой.

— Потому что ты — дурак и ничего не понимаешь: он человек свободный и носит то, что ему кажется красивым. А что коленки и руки, так что-же? у него тело хорошее. Говорят, что утром он после купанья ложится в траву совсем, совсем не одетый, а голые мальчишки обсыпают его цветами; ему это нравится, он это и делает.

— Да ведь не в том дело, что он это делает, а в том, что это фальшиво и безвкусно.

— А по моему нет. Я очень жалею, что сама этого не делаю...

— Отчего же ты этого не делаешь? вот придем на музыку, разденся и ляг на стол, а мы купим цветов, откомандируем Шпингалета, разденем его, только шпагу оставим; — и действуйте с Богом! Красота получится еще более потрясающая.

— Вы просто тупые буржуи... и я с вами не хочу разговаривать. Вы не понимаете никакого тонкого движения души.

Так как сонная одурь одолевала все сильнее и сильнее, то, действительно, наша публика и молчала до тех пор, покуда не наступило время хлопотать об обеде. Тут Полину Аркадьевну запыла компания гусар, которых она уже не хотела раздевать, а наоборот, казалось, за-

ставила бы сохранять полную аммуницию даже в самые критические моменты любви. Но и это развлечение прошло как-то в полусне, и глаза Полины загорелись настоящей жизнью только, когда она увидела недалеко от себя Иранду Львовну с братом.

— А где же Лелечка? — подумала вслух Полина, — наверное, осталось в городе и видится с Лаврентьевым.

Как это ни странно, ни о намерении Лаврентьева жениться на Елене Александровне, ни о причастности Лаврика к этой истории Полина Аркадьевна ничего не знала и как-то случайно не вообразила. Женитьба казалась ей слишком обыкновенной, а об Лаврике она фантазировала в несколько другом направлении. Иранда Львовна и Леонид Львович были вдвоем, имели вид сосредоточенный и, казалось, мало обращали внимания на то, что делалось вокруг них. Это не ускользнуло от взоров Полины Аркадьевны и она, отодвинув сладкое, сказала:

— Вы куда закажите кофе, а я пойду поговорю. Я тотчас вернусь, так что вы за мной не ходите.

Соседи не очень удивились, что к ним подошла Полина, и будто даже очень мало интересовались, что с нею было, хотя они ее и не видели уже недели две, так что расспросами занялась Полина, а те двое давали ей неопределенные ответы или говорили о вещах безразличных. «У Лелечки мигрень, она осталась в городе, Лаврентьев куда-то пропал, Иранда через три дня уезжает в Смоленск, Пекарский ничего; кажется много пишет; все по старому, как-будто никаких катастроф не предвидится».

Полина Аркадьевна смотрела разочарованно и тоскливо. Как скучен мир, как скучны люди! поневоле пожалеешь, что закрылась «Сова». Там, по крайней мере, всегда была атмосфера, если не катастроф и сильных

страстей, то всяких интриг и сложностей. Чтобы не окончательно разочароваться в жизни, Полина Аркадьевна на всякий случай сказала Ираиде:

— Мне бы нужно было еще поговорить с вами, дорогая, — определенно не зная, что она будет говорить.

Ничего! с Ираидой могут и старые «охи» и «ахи» сойти, а то ведь это же немыслимо так жить: служат, пишут, едут в деревню, никакой полировки крови! хоть бы квартиру кто переменял! Ираида слегка наклонив голову, спросила равнодушно:

— Есть какие-нибудь новые обстоятельства?

Полина Аркадьевна, положив свою маленькую ручку на белую руку Ираиды, медленно протянула: — «Да», — как вдруг она заметила, что Леонид Львович, вспыхнув, стал улыбаться и приветливо кивать головой куда-то вдаль.

— Да, — повторила еще раз Полина Аркадьевна более уверенно: — конечно, это вам самим должно быть известно... — она не закончила фразы, потому что не отыскала глазами, кому кланялся Царевский.

Ираида Львовна, выведенная немного из равнодушия непривычной медленностью Полинной речи и обратив наконец внимание на мимику брата, направила свой взгляд туда же вдаль, где одиноко стояли, среди сидевшей толпы, две высокие фигуры, в которых без труда можно было узнать Зою Лилиенфельд и мистера Стока. Глаза Полны загорелись торжеством, а маленькая рука уже уверенно схватила руку Ираиды и она зашептала уже как всегда быстро, взволнованно и бестолково:

— Не подавайте виду... не подавайте виду... я вам потом все объясню. Прежде всего нужно узнать, кто этот господин.

Но этого никто не знал, так что оставалось только говорить снова о погоде, музыке и предстоящих поездках, но теперь уже эти разговоры были интересны, и, казалось, имели значение, так как Полина видела волнение брата, расстройство сестры, могла наблюдать Зою и терзалась любопытством насчет ее спутника. Нет, жить еще можно.

— Мы ждем сюда еще Пекарских, но Орест Германович предупредил, что они несколько опоздают.

Будто в подтверждение слов Ираиды, вдали показался Лаврик.

Было видно, как проходя мимо Зои, Лаврик остановился, поцеловал ей руку и что-то стал говорить. Восхищенное удивление Полины все усиливалось, она стала давать сигналы Лаврику розовым зонтиком, чтобы он шел скорее, как-будто он нес какие-то новости, а она, Полина, не могла их дожидаться.

— Но где же Орест Германович и как вы знакомы с Лилиенфельд?

— Орест Германович приедет часа через полтора, он меня послал нарочно раньше, чтоб не беспокоились, а с Зоей Михайловной я познакомился еще в «Сове». Вы уже поели? Я голоден, как не знаю кто.

Меж тем Лилиенфельд и ее спутник куда-то исчезли. Оркестр уже играл итальянское каприччио, когда Леонид Львович, поднявшись сказал:

— Теперь у вас есть кавалер, а я пойду поздороваюсь с Зоей Михайловной.

— Идите, идите! — восторженно сказала ему вслед Полина.

— О чем вы хотели со мной говорить? — спросила Ираида Львовна, как только брат ее ушел и Лаврик занялся обедом.

— Я вам скажу потом, — тихо ответила Полина. — У меня есть еще новые соображения.

И они занялись критикой проходивших дам. Лаврик казался тоже невеселым и беспокойным и как только приехал старший Пекарский, вышел на площадку, где, несмотря на свет белой ночи, гуляли редкие пары. Он сам не знал, почему он думал, что сюда же войдет и муж Елены Александровны.

Он не ошибся, потому что вскоре в дверях зала, откуда вдруг яснее донеслись звуки оркестра, показалась фигура Царевского, которая направилась как раз к той скамейке, где сидел Лаврик.

— Я вас ждал, Леонид Львович.

— Ах, это вы, Лаврик? Я не знаю, почему вы меня ждали.

— Орест Германович приехал и наше присутствие там не так необходимо. Уделите мне минутку, мне нужно сказать что-то.

Леонид Львович казался блѣдным и все проводил рукою по лбу, будто стараясь отогнать мысли или воспоминания.

Лаврик, запинаясь, жалобно говорил:

— Леонид Львович! вы можете считать меня за подлеца... может быть я, действительно, такой и есть... я сам не знаю, зачем я это делаю, но я должен, должен вам сказать...

— Отойдемте: здесь нас могут слышать.

Они повернули налево в более темный угол, где никого не было у площадки лаун-тенниса.

— Вы хотите что-нибудь мне сказать о моей жене?

— спросил Леонид Львович прямо.

— Да. Может быть, я не должен этого говорить.

— Может быть, и не должны были начинать, но раз

это сделали, я не только прошу, я требую, чтобы вы мне сказали все.

— Елена Александровна очень любит этого офицера... Лаврентьева: вы ему запретили бывать у себя, но они видятся... видятся... Скажу больше: Елена Александровна хочет оставить вас...

— Откуда вы это знаете?

— Елена Александровна сама мне это сказала.

Лица Леонида Львовича почти не было видно в полумраке, а голос его звучал как-то странно, ласково и угрожающе.

— Ведь вы сами, Лаврик, любите мою жену?

— Да, — ответил Лаврик просто из темноты.

— Вам, может быть, покажется странным то, что я вам скажу, вы можете даже обидеться, но ваша любовь к Елене Александровне скоро пройдет... это не то, что там... смешно, неправда-ли? обманутый муж, который так мирно беседует с молодым человеком, влюбленным в его жену, но это так нужно... И вот что, Лаврик, я вам скажу, о чем попрошу вас: помогите мне сделать так, чтобы все было хорошо, потому что мне одному очень трудно и потом...

Лаврик вдруг обнял своего собеседника и тихо переспросил:

— П потом?

— И потом... я не имею права судить Елену Александровну.

ГЛАВА 15.

С той минуты, как Елена Александровна дала свое согласие выйти за Лаврентьева, разговор об этом браке больше не поднимался, потому что офицер считал не-

деликатным наставлять, а Елена Александровна была рада, что этот вопрос складывался на неопределенное время. С мужем она еще не говорила, равно как и Лаврентьев еще не признавался своей матери. Когда дня через четыре Лаврентьев снова заговорил об этом, Елена Александровна сказала, что она должна съездить на неделю в Ригу, что тотчас по возвращении она переговорит с мужем и официально всем объявит, что выходит за Дмитрия Алексеевича замуж.

— Зачем же вам ехать в Ригу?

— Я так устала за это время, хочу отдохнуть, у меня там замужняя сестра. Покуда, без меня вы можете переговорить с вашей матушкой. Я вам обещаю, что в тот же день, когда я вернусь, я все открою мужу.

Когда Елена Александровна объявила о своем отъезде дома, Леонид Львович заметил только: «Ты, кажется, не думала этого делать раньше?»

Елена Александровна и ему объяснила, что она очень устала, хочет отдохнуть и навестить сестру Тату.

— Ведь это не такой большой срок—неделя,—мы и не заметим, как пройдет время, тем более, что теперь, когда ты почти совсем не бываешь дома...

Леонид Львович несколько смутился и ушел из дому, ничего не говоря, так как он знал, что сейчас придет Лаврик.

Лаврик не особенно охотно шел к Царевским, во-первых, потому, что откровенность Леонида Львовича делала его как бы сообщником какого-то заговора против той, которую он не переставал любить, во-вторых — откровенность самой Лелечки, действительно, неизвестно почему сообщившей ему о настойчивости Лаврентьева и своих планах, уколов его жестоко, несколько не уменьшила его чувства. Да, он, действительно, открыл

все мужу; если хотите, предал Лелечку, но он ожидал совсем не таких последствий, какие произошли. Он думал, что Леонид Львович обрушится на него, Лаврика, так что ему придется пострадать от своего чувства, быть оскорбленным героем и вместе с тем он надеялся, что обиженный муж найдет средство прекратить, столь ненавистный для Лаврика, Лелечкин роман. Так что, все неприятное произошло бы помимо Лаврика, а он сам остался бы невинным, но любящим страдальцем. Разумеется — он не так точно соображал все эти перспективы, а действовал, так сказать, по вдохновению, как Бог на душу положит, но все его бессознательные поступки и слова имели такую связь, или отсутствие связи, что объяснения им никак нельзя было найти другого, как именно вышеуказанный план, который смутно все-таки у него был. И что же? вышло совсем не то. Леонид Львович дружески предложил ему быть союзником для уничтожения того романа, который Лаврику был столь тягостен. Но как же Лаврику вести себя с Еленой Александровной? и кем он перед ней оказался? Влюбленным мальчишкой, который из ревности и досады выдал ее мужу. Было очень трудно найти какую-либо благородную видимость для этого поступка. Вместе с тем, та невинность отношений, которая, делая их роман безопасным, позволяла ему расцветать, теперь показалась ему обидной и оскорбительной. Опять его считают ни за что, даже этот колпак муж, который для того, чтобы прекратить роман с Лаврентьевым, обращается к нему, Лаврику, его-то самого считает совершенно безвредным для своей чести. Лелечка же просто водит его за нос, разыгрывая с ним идеальную любовь и живя со стрелком. Разве так разговаривают обманутые мужья с людьми, с которыми они считаются? Как

бы поступил сам Лаврик? ах, жена моя изменяет с другим, и по дружбе рассказала вам это? то, что вы мне сказали об этом, — подло, но благодарю вас. По у вас, кажется, у самих какой-то роман с женой? да? «Да». — Вы очень откровенны! — Бац в ухо.

Это бы Лаврик понял. По вести, как теперь, какую-то скучную канитель, было ему непонятно и тягостно. Кроме того, он не переставал любить Елену Александровну или, по крайней мере, быть в нее влюбленным. И вот в таком-то расстройстве души и сердца он должен был объясниться с Еленой Александровной накануне ее репительного отъезда, при чем это объяснение считалось почему-то Леонидом Львовичем очень важным. Он сам себе казался запутанным до противности. Вдруг ему явилась мысль, которая будто устраивала весь этот нестроенный сумбур. «Я скажу все откровенно Елене Александровне, а потом уеду, пускай разбираются, как сами знают».

Елена Александровна лежала на кушетке, что вовсе не было в ее обыкновении, когда пришел к ней Лаврик. Она совсем не была похожа на человека, которому предстоит большое решение. Казалось, ей просто было скучно, как бывает со всеми. Та же обыкновенная скука была слышна в ее словах, которые она, не вставая с места, обратила к Лаврику.

— Вот завтра я и еду...

— Какой-то вы вернетесь к нам? и вернетесь ли вообще?

— Как же иначе? Что вы думаете, Лаврик?

— Вы отлично знаете, что я думаю. Так же как и я знаю, что значит ваш отъезд.

— Откуда вы знаете это, Лаврик? Может быть, вы — пророк, или ясновидящий?

— Вы сами мне все сказали. Елена Александровна; где мне быть пророком?

— Да, конечно... я и забыла.

Помолчав, Елена Александровна начала:

— Сегодня такое солнце, что мне хотелось-бы поехать куда-нибудь дальше, чем в Ригу... по морю.

И она мечтательно умолкла. Тогда Лаврик откашлялся и сказал:

— Елена Александровна!

— Что, мой милый?

— Я должен вам сказать...

— Сегодня не нужно говорить... Сегодня так хорошо и спокойно... Может быть оттого, что я устала... мне бы не хотелось сегодня ничего слушать.

— Елена Александровна! — еще раз повторил Лаврик. И вдруг, быстро подойдя к кушетке, встал на колени и заплакал.

Лелечка несколько взволновалась, хотя какал-то лень еще оставалась в ней.

— Но что с вами, друг мой? Что с вами! вам жалко, что я уезжаю, и вы хотите просить, чтоб я осталась? вы сами знаете, что это невозможно...

— Нет, я совсем не о том.

— О чем же? Ну вот, я вас слушаю. Зачем же так расстраиваться? Стоит ли?

— Елена Александровна...

— Ну, в чем дело?

— Елена Александровна... я — невероятный пегорд... Я все рассказал вашему мужу...

Елена Александровна несколько раскрыла глаза, будто не понимая, о чем он говорит.

— О чем рассказали мужу?

— Ну, о вас... все, все, что я знал. Я выдал, я предал вас!

Елена Александровна, повидимому, не рассердилась, не растрожилась, не упала в обморок, а наоборот — глаза ее загорелись каким-то интересом.

Спустив ноги с кушетки, она быстро и суховато проговорила:

— Как же можно было быть таким неосторожным? Ну, скажите подробно, — что вы сказали, и что сказал муж?

Лаврик сбивчиво и спутанно рассказал ей все. Когда он кончил, Елена Александровна стала быстро ходить по комнате, ничего не говоря. Лаврик у кушетки ждал, ни жив, ни мертв.

— Где у меня были глаза? Где у меня было сердце, где у меня был вкус, воображение, как я могла быть такой примитивной? ведь это встречается раз в жизни — и эта влюбленность, это предательство, эта преданность и слабость, эта жестокость, эта невинность и развращенность и наконец, ах! эта красота! Я вела себя, как последняя прачка. Я только сейчас себя узнала... Лаврик, не вините меня за это!

Она села на пол рядом с Лавриком стоявшим на коленях, и обняла его за шею. Лаврик будто не соображал, где он и что с ним делают, а Лелечка, не останавливаясь, говорила ему:

— Ведь вы не можете себе представить, Лаврик, какая это прелесть, какая это сложность и тонкость. Ведь это только в Италии в 16-ом веке бывали такие отравители, как вы. Это решено — вы потихоньку едете завтра со мной в Ригу. Какой это будет праздник! И вы мне там все, все расскажете об Оресте Германовиче.

Лаврик сказал чуть слышно, но довольно твердо:

— Да, и в Риге вы сделаетесь моею совсем.

— Вот, Лаврик, наконец вы сделались мужчиной! Через любовь, через предательство — вы закалились. Да, да! там я буду совсем вашей... Мы поселимся в старой гостиннице. Я буду вас целовать, целовать, как теперь.

Лаврик, несколько отстраняясь от поцелуев, спросил деловито:

— А что будет через неделю, когда мы вернемся?

— Через неделю? Чему же быть? Что и теперь, только мы будем счастливы.

— Нет, насчет вашего развода и г. Лаврентьева.

— Какой вы глупый! Не все-ли вам равно, за кем я замужем, раз я ваша совсем. Ну, не будьте букой! Смотрите — какое солнце. Дайте — я вас поцелую в последний раз, и идите собираться. Смотрите, чтоб не заметил Орест Германович.

Лелечка опустила глаза, задумавшись.

— Он — прекрасный и большой человек! Может быть, мы плохо поступаем? Я не знаю. Когда я вижу вас, я ничего не знаю, кроме ваших губ, ваших глаз, вашей тончайшей сложной души и вашей любви, небывалой, как солнце! Постельного белья, — ну, там, полотенца, — можете не брать, беру с собой достаточно.

ГЛАВА 16.

Поездка в Ригу вышла далеко не такой, как предполагали ее наши путешественники. Ехали они не вместе, так как Лаврик поехал только на следующий день, чтобы не возбуждать лишних разговоров и подозрений. Он выдумал какой-то неудачный предлог, вздорность

которого при желании всегда можно было обнаружить, и поехал ночью, всю ночь не смыкая глаз и думал не столько с радостною тревогою, сколько с беспокойным удивлением о предстоящем свидании.

Поминутно начинался дождь, чередуясь с ветренными, ясными минутами, мостовые и зонтики блестели черной мокротой, и Лаврик подумал, глядя на один из дамских зонтиков, поднятый выше других: «Это наверно, Лелечка! Она встала на цыпочки, чтобы лучше видеть, а потому подняла зонтик».

Но это была не Елена Александровна, а высокая, белокурая немка; она встретила старого, хромого господина и поехала с ним, оживленно, но как-то не радостно говоря по немецки.

Гостинницу Лаврик нашел скоро. Елена Александровна, несмотря на ранний час, уже встала, но кофе еще не пила, очевидно, поджидая Лаврика. Стояло две чашки и двойное количество булок и ветчинных ломтей. Из открытого окна, около которого было сделано возвышение вроде амвона, доносились голоса, какой-то мокрый стук экипажей и теплый запах листьев бульвара. Елена Александровна смотрела из окна, когда подъезжал Лаврик с своей маленькой сумочкой, без постельного белья и полотенец, но Лаврик этого не заметил, слишком занятый тем, чтобы правильнее объясняться по немецки с швейцаром.

— Рядом номера не нашлось, обещали перевести к вечеру.

— Досадно, что идет дождь... Я так рассчитывала на эту неделю... Вы теперь отдохните, вы наверное, не спали? К завтраку встанете... Я тоже прилягу.

— Я почему-то думал, что вы будете меня встречать... Так, конечно, гораздо лучше.

— Кушайте, кушайте, не стесняйтесь! После завтрака пойдем в старый город... Рядом стояло какое-то семейство с маленьким, а теперь будете жить вы: тоже вроде маленького.

Как ни странно, по Лаврик чувствовал себя гораздо стесненнее и более робко, нежели в Петербурге. Они даже, кажется, не поцеловались при встрече. Елена Александровна была тоже не то усталая, не то расслапная. Очевидно, она сама сознавала это и старалась быть нежной какою-то извиняющейся нежностью.

— Ну, полно болтать! Возьмите ванну и сосните часа три. Я и сама лягу... Как хорошо, милый, что вы приехали!

Она говорила так, будто уж они все переговорили, а между-тем они почти ничего не сказали друг другу о том, что их должно было интересовать. И Елена Александровна словно сознавала это и именно потому-то и улыбалась так ласково и жалко.

Узкие улицы, даже середины которых были полны пешеходов, длинные палки вывесок, выступавшие почти на середину проезда, обилие старых домов, пивных подвалов и открытых кофеен — придавало несколько нерусский характер городу; но несмотря на оживление, впечатление было не веселое.

А может быть, это происходило и оттого, что дождь не переставал лить, и лишь минутами мокрые камни блестели от неожиданного солнца. Вернулись наши путники домой уже вечером, после обеда, но им казалось, что они так ходят и вместе живут уже недели три и что им больше решительно нечего делать. Елена Александровна сняла шляпу и молча села к столу, молчал и Лаврик у дверей; наконец Лелечка зажгла свет и звонила.

— Этот противный дождь нагоняет скуку; при свете все-таки веселее. Давайте хоть чай пить.

Когда лакей ушел, подав никелированный прибор, Лаврик пересел на диван рядом с Еленой Александровной и молча обнял ее.

— Милый, милый Лаврик! — проговорила Елена Александровна не двигаясь. — Плохие мы с вами путешественники! Я уверена, что вы теперь думаете: что-то делает Орест Германович?

— Нет, я думаю совсем о другом; я думаю о вашем обещании.

— О каком?

— Когда мы... когда вы... решили, чтоб я ехал с вами, вы мне сказали, что здесь будет совсем иначе.

Елена Александровна покраснела и быстро заговорила:

— Да, да... конечно... Я помню и не отказываюсь от своих слов. Только, милый мой, не сегодня... Хорошо?

— Отчего не сегодня?

— Ну, так... я вас прошу? Не нужно быть грубым, Лаврик... Ведь вы знаете, что я вас люблю.

— Я не знаю, знаю-ли я что-нибудь... Вы говорите, что вы меня любите, я конечно, вам верю... Но как я могу быть уверен в этом?

— Не будьте, Лаврик, как все мужчины... Это так скучно.

— Я такой, как есть. Может быть, я — как все. Вы меня видели, я ни за что себя не выдавал.

— Да, я вас видела и знаю, что вы тонкий, нежный и прелестный мальчик, что у вас сложная душа... А теперь вы сами на себя выдумываете. Вы, просто в дурном расположении духа, сознайтесь? Это от дождя, а завтра все пройдет.

— Нет, простите, Елена Александровна, моя любовь, мое желание вовсе не от дождя и вряд-ли завтра пройдет... Я думаю, вам самим было-бы это не очень желательно. Вот, может быть, ваш каприз завтра пройдет... Это другое дело.

— Каприз! Это может быть легче, очаровательнее и прекраснее каприза?

— Я не люблю, когда капризничают.

— Послушайте Лаврик, кто вас научил так разговаривать? Вы будто уж тридцать лет как мой муж. Неужели люди хороши, покуда они влюблены, ухаживают, и как только получают то, чего хотели, так делаются все похожи друг на друга—скучными, ординарными брюзгами?

— Вы не можете судить, какой я сделаюсь, потому что, по правде сказать, я ничего от вас не получил.

Елена Александровна даже вскочила с дивана и невольно возвысила голос.

— Как? Ничего от меня не получили? А то, что я отдала вам свое сердце, свою честь, что я для вас бросила своего мужа, это ничего, по вашему? А ваше собственное чувство, которым вы, все-таки, обязаны мне? Это ничего? А все часы, минуты, которые мы проводили вместе, это тоже не считается?

Лаврик остановил ходившую Елену Александровну и начал спокойно, как старший.

— Успокойтесь, Елена Александровна! ничего подобного я не говорил и не думал... Хотя вы мужа покинули и не для меня, но тем не менее я вам очень признателен... Но вы говорили, что люди меняются, когда получают то, чего они искали... Причем вы имели очень определенную и достаточно простую мысль, что обладание действует на людей губительно. Так вот я и хотел

сказать, что мне-то меняться не от чего, потому что вы мне совсем не принадлежите, больше ничего!

— Нет, вы сказали, что я вам ничего не даю, и кроме того, вы говорите, что я вам не принадлежу... нельзя так грубо рассуждать! Как-будто принадлежать значит именно то, что вы думаете... А душой и сердцем я принадлежу только вам, вы страшно неблагодарный... Я бросила мужа, поехала в Ригу нарочно для вас...

— Вы же в Ригу поехали, чтобы повидать вашу сестру.

— Ну, да... все равно, я поехала для вас.

— А с мужем вы хотели расстаться, чтобы выйти замуж за Лаврентьева.

— Это очень бестактно с вашей стороны напоминать мне о Лаврентьеве, и потом, не все-ли вам равно, кто мой муж; Лаврентьев, или Леонид Львович? Я себя компрометирую для вас, а вы еще ворчите... Что же, вы думаете, это очень прилично — уезжать с посторонним молодым человеком на целую неделю и жить с ним в одной гостиннице вдвоем.

— Но ведь этого никто не знает, что мы здесь с вами вместе... Никто не думает, что я в Риге, а вы поехали к сестре... Чем же вы себя компрометируете?

— Да, конечно, вам бы хотелось, чтобы все это знали... Вам бы хотелось кричать о своей победе, о моем козоре! Ну, что же, напишите письмо Оресту Германовичу, моему мужу, — ведь вы теперь с ним такой друг! Но только я вас предупреждаю, что, если вы будете это делать, то я всем, всем, даже при вас, вам в глаза, буду говорить, что вы нагло лжете... Как все мужчины похожи один на другого!

— Я не знаю каковы все мужчины... я в этом не знаток...

— Вы мне говорите дерзости... Вы меня оскорбляете и все, все сами на себя выдумываете. Уйдите! Я не хочу вас видеть!

И Лелечка громко заплакала. Лаврик пробовал было ее утешить, взял за руку, но Елена Александровна, вырвав руку, не унималась и плакала все громче и громче.

— Елена Александровна! перестаньте! Ну, я уйду, если вы не хотите меня видеть. Если вы подумаете хорошенько, то увидите, что вовсе не я на себя выдумываю, а вы сами мне приписываете Бог знает что. Я уверен, что потом, завтра, вы спокойно увидите, какой я есть на самом деле и как я вас люблю. А теперь успокойтесь... выпейте воды... в соседних номерах все слышно.

Лелечка выпила воды, стуча зубами по краю стакана, и проговорила сквозь слезы:

— Справа ваш номер, а слева никто не стоит... Кто меня услышит? А теперь, действительно, уходите... Я, наверно растрепалась, как чучело... У меня покраснели глаза и подпух нос... Я не хочу, чтоб мой мальчик видел меня такою. — И она улыбнулась.

Лаврик хотел было сказать: «все-таки, какая вы настойчивая, поставили на своем... выставили таки меня на сегодня отсюда», но потом раздумал, сообразив, что завтра действительно, может быть, Лелечкины капризы пройдут и все будет иначе. Лелечка, очевидно, тоже предполагала, что Лаврик мог-бы это сказать, потому что она взглянула с каким-то благодарным удивлением, когда Лаврик просто поцеловал ей руку проговорив:

— Ну, спокойной ночи! Спице спокойно... утро вечера мудренее, как говорят няньки. А я вовсе не так плох, как вы обо мне полагаете.

— Вы, Лаврик, моя прелесть!

— Прелесть-ли я, я не знаю, а что я — ваш, так это правда!

На следующее утро, действительно, дождь прекратился и вместе с ним, казалось, исчезли и Лелечкины капризы. Но это мало поправило дело, потому что нашим влюбленным явилась совершенно неожиданная пометка. Елена Александровна была уже в шляпе и весело смотрела из окна на изменившуюся от солнца улицу, как вдруг она увидела подъезжавшего к подъезду их гостиницы офицера в стрелковой форме. Он так быстро прошел в подъезд, что Елена Александровна не успела разглядеть его лица, но смутно затревожилась, подумав: «как неудобно. Какой-нибудь товарищ Дмитрия Алексеевича еще увидит, что я здесь с Лавриком, расскажет ему». Так она тревожилась, не зная сама хорошенько, зачем ей Лаврентьев, когда в дверь тихонько постучали. Так как Лаврик переодевался у себя, чтобы опять идти бродить по городу, то Елена Александровна не очень удивилась его стуку. Она спокойно сказала: «войдите!», рассудительно думая, что вот они уйдут на целый день, приезжий офицер их не заметит и, может случиться, что сегодня вечером, или завтра утром уедет куда-нибудь. И в самом деле: зачем ему сидеть в Риге? Но совершенно не голос Лаврика окликнул ее:

«Здравствуйте, Елена Александровна! вы не сердитесь на мой приезд? — Обернувшись, она увидела стрелка, который не был товарищем Дмитрия Алексеевича, а самим Лаврентьевым.

Елена Александровна совершенно не соображала, что может выйти из всего этого стечения обстоятельств, но ясно чувствовала, что в настоящую минуту все дело в спокойствии, что прежде всего нужно, как говорится, не

подавать виду. Все эти соображения промелькнули в ее голове очень быстро, так что без всякой задержки она отвечала на слова Лаврентьева быстро и радостно, будто ей нечего было от него скрывать:

— Дмитрий Алексеевич, как вы очутились здесь? Вот уже никак этого не ожидала! Надеюсь, что не случилось ничего опасного, или неприятного?

— Нет, ничего не случилось. Я просто соскучился, мне захотелось вас повидать... ведь вы не сердитесь, что я вас не предупредил?

— Нет, нет... и прекрасно сделали. Я по правде сказать, думала, что вы приедете. Тут все шел дождь, вы с собой привезли солнце... Ну, что же в Петербурге? что вапа матушка? что мистер Сток? вы, конечно, хотите кофею? Я совсем не помню, что говорю... от этой неожиданности, не обращайтесь внимания.

И, действительно, Елена Александровна едва-ли понимала, что говорила. У нее в голове вертелась одна мысль: сейчас постучится Лаврик. Что они будут делать? Послать записку с человеком, чтобы Лаврик не выходил, а ждал ее где-нибудь в городе? там она ему все объяснит... Что-нибудь придумает... Да, да, конечно, другого никакого способа нет... Но нужно делать скорей, скорей.

— Вы меня простите, я должна написать записку сестре, чтоб меня не ждали к завтраку... Ведь мы завтракаем вместе, не правда-ли!

— Я, конечно, очень рад. Но вы из-за меня не ломайте своего дня.

— Нет, нет! — ответила Лелечка из-за маленького письменного стола.

В дверь слегка постучали. Лелечка покраснела, но

продолжала писать молча. Постучали еще раз. Лаврентьев, ходивший по комнате, остановился.

— Кто-то стучит!

— Я не слышала... вам показалось. Кто же может стучать?

— Девушка или лакей... Может быть, мальчик принес письма.

— Я не звонила... здесь без звонка не приходят. Вам показалось.

Постучали еще раз.

— Войдите! — сказал Лаврентьев.

— Не надо, Дима. Я еще не окончила письма.

— Я пойду посмотрю, кто беспокоит.

— Нет, не уходите... Оставайтесь.

Но стучавший, очевидно, слышал ответ Лаврентьева, потому что дверь тихо открылась и вошел Лаврик.

Елена Александровна заговорила очень громко:

— Лаврик! как вы сюда попали? Сегодня положительно какой-то съезд! только что приехал Дмитрий Алексеевич... как вы не встретились в поезде? Я только того и жду, что сейчас явится мой муж, Ираида Львовна, или еще лучше, милая Полина... тогда бы было совсем похоже на водевиль!».

— Да и без нее это похоже на водевиль и, притом, довольно скверный, — заметил офицер.

Елена Александровна пропустила мимо ушей замечание Лаврентьева и обращаясь к вошедшему лакею, сказала только: «Дайте еще чашку».

— Вы хотели послать письмо вашей сестрице, — напомнил ей Лаврентьев.

— Да, да! — сказала Лелечка и разорвала записку на мелкие куски. — Я совсем и забыла что сестра с семейством уезжает сегодня на два дня к шtrandу, так

что я — совершенно свободна! — и, написав на маленьком клочке: «Оставьте нас вдвоем, я вам все объясню» передала это Лаврику. Оба кавалера молча пили кофе, одна только Лелечка пробовала время от времени что-то беззаботно щебетать, как-будто эти двое были случайно встретившимися у нее в гостиной господами. Наконец Лаврик произнес: «Я пойду к себе покуда... Если я буду нужен, мой № 71-й.»

Елена Александровна благодарно закивала ему головой, между тем, как офицер продолжал молча сидеть над чашкой. Помолчала и Лелечка. Наконец Дмитрий Алексеевич произнес: «что это значит?»

— Что, что значит?

— Зачем этот молодой человек здесь?

— Почему я знаю? вздумал приехать — и приехал, вы же вот приехали?

— Вы думаете, что у него были такие же основания приехать, как и у меня?

— Я ничего не думаю... какие были у него основания... меня это, по правде сказать, мало интересует. Это, конечно, практически не очень удобно... Он может начать болтать... но от него всегда легко избавиться — самым простым способом, хотя переехавши в другую гостиницу, или другой город.

Лаврентьев вдруг быстро встал, с шумом отодвинув стул.

— Зачем эти прятки, Елена Александровна? что мы с вами, маленькие что-ли? Ведь я же отлично понимаю, что молодой человек был вызван вами сюда, если только вы не приехали вместе. Он сам бы никогда на это не решился.

— Да, конечно, я вызвала его. Я его умоляла, в ногах валялась, чтобы он приехал, я без него не могу

жить! он мой любовник... вот уже десять лет... с семилетнего возраста... еще что?

— Почему, Елена Александровна, вы разговариваете и ведете себе, как дрянь?

— Да потому, что я, по вашему, дрянь и есть...

— Нет, по-моему, вы женщина, которую я собираюсь сделать своей женой.

— Это, конечно, большая честь.

— Я не знаю, честь-ли это, но во всяком случае, я это считаю доказательством моего уважения и любви к вам.

— Знаете что, Дмитрий Алексеевич, в конце концов мне надоели эти истории.

— А мне еще того больше.

Лаврентьев походил некоторое время молча, потом, вдруг остановившись перед Лелечкой, закричал во весь голос:

— Да поймите же, что все эти сложности, тонкости, ерунду нужно послать к черту. Мне хочется биться головой об стену, когда я вас вижу... Или так вас встряхнуть, чтобы весь вздор из вас вылетел и вы бы крепко встали на обе ноги с прямым и твердым сердцем и ясной, нежной душой... Ведь это же в вас есть и должно быть! Ведь все, что вы считаете тонким, это не более как Полинины тряпки, купленные в гостинином дворе.

Лелечка ответила тихо и просто: «вам нужна простая, непосредственная женщина... почти баба... Я такую быть не могу... и скажу больше: если б я была такую, вы бы меня не любили!».

— Я всегда думал, что я отлично знаю, чего я хочу... Теперь же как-то теряю даже это сознание.

Лелечка нежно взяла руку Лаврентьева и проговорила как старшая сестра: «это потому, что вы любите...

это всегда так бывает... разлюбить меня вы не в силах, что бы я ни делала».

— Да? вы так думаете? боюсь, что вы ошиблись. Хотя бы мне это стоило жизни, я вырву из себя это чувство, которое делает меня самому себе смешным и противным. Я вас люблю, но вы мне противны, понимаете? Я готов вас три дня не переставая бить, вы это понимаете?

— Действительно, если у вас такая домостроевская любовь, так уж лучше от нее избавиться, если вы только в силах это сделать, конечно... А я сильно сомневаюсь в этом.

— Это уж вас совершенно не будет касаться, что будет со мною.

— Конечно, конечно.

Лаврентьев еще походил, наконец, спросил совсем неожиданно: — «Неужели, Елена Александровна, вы этого избалованного мальчишку любите больше, чем меня?»

Лелечка не отвечала, смотря в сторону.

— Неужели, счастье целой жизни, моей и вашей, вы приносите в жертву минутному и странному капризу? ведь это каприз, не правда-ли, сознайтесь? может быть, я сумею это понять, ждате что-ли! — и он поцеловал ей руку.

Лелечка, не отнимая рук, сказала со скорбной насмешкой: не все-ли равно, что предпочитает, какие имеет капризы такая противная дрянь, как я?

Лаврентьев долго смотрел в ее светлые, не посиневшие от волнения глаза, вздохнул, и произнес без гнева: — «В вас совсем нет сердца... как вы можете говорить о любви?... прощайте!»

Так как Лелечка ничего не отвечала, то он еще раз

сказал: — не думайте, что когда я говорю: прощайте! так это на две минуты, как у вас и у ваших друзей. Я говорю просто и навсегда...

— Дмитрий Алексеевич, если-б меня и моих друзей люди простые и любящие не заставляли побоями отказываться от своих слов, так мои решения были бы такими же крепкими, как и ваши.

— Тогда я поступил глупо.

— Боюсь, что вы не только тогда поступили глупо.

Лаврентьев помялся немного, взял свою фуражку и сказал неуверенно:

— Ну что-ж, прощайте, Елена Александровна.

— Прощайте, Дмитрий Алексеевич, не поминайте лихом! — ответила Лелечка, даже не вставая с места. Но едва закрылась дверь за Лаврентьевым, как Лелечка, быстро вскочив, подбежала к окну, откуда был виден подъезд гостиницы: может быть, она хотела окликнуть уезжающего, пайти настоящие и искренние слова, как вдруг она почувствовала, что ее талию охватывают чьи-то дрожащие руки.

— Вернулся! — воскликнула она, оборачиваясь к красному Лаврику, по лицу которого были размазаны слезы.

— Зачем вы это делаете? зачем вам я, ну, скажите, скажите, когда вы любите совсем другого? Зачем вы играете мною? вы сами ломаете то, что так бережно строили.

Лелечка вдруг закричала так-же точно, как только что кричал Лаврентьев:

— Ну, да, да! я — противная дрянь! я вами играла, вас завлекала! Что вы хотите? Как у вас, Лаврик, не хватает деликатности, чтобы не приставать ко мне с разным вздором? зачем вы сюда приехали, кто вас звал?

вы все какие-то полоумные!.. еще два таких дня, и я с ума сойду с вами!

— Почему вы сердитесь Елена Александровна? я же сказал правду.

— Ах, Боже мой! Нашел чем хвастаться: сказал правду! Кому она нужна? вы понимаете, что я устала! я хочу простой, тихой, спокойной любви! я думала, что в вашем невинном сердце, в вас, тонком, чутком, я сумею взрастить то, чего я так ждала, а вы как все — и она заплакала. Лаврик растерянно повторял: — «я очень люблю вас, Елена Александровна, но люблю, как умею».

— Нет, Лаврик! я старше вас и должна вам сказать тоже правду: я не буду вас мучить и делать несчастным... я вас не могу любить так, как нужно было бы. Это правда. Для вас, конечно, это очень горько, но вы так молоды, что это скоро забудется... Я хотела устроить прекрасную жизнь, но, видите-ли, в чем дело: нужно, чтобы один из двоих был сильным, а мы оба так слабы, так слабы!»

— Нужно, чтобы другой был, как тот, как Лаврентьев.

Елена Александровна, будто не замечая Лаврика, произнесла мечтательно:

— Да, Лаврентьев — сильный и определенный... а вы нежный цветок. За вами нужно ходить не с таким сердцем, не с такою душою, как у меня. Я слишком запыленная, изломанная, для вас.

Елена Александровна мельком взглянула в зеркало, где отражалась склоненная фигура Лаврика, и она сама, заплаканная, с кружовным платочком в руках, будто какое-нибудь «последнее свидание». Тогда она наклонилась еще красивее и прошептала, разглаживая Лавриковы волосы.

— Теперь, милый друг, уезжайте! Мне так тяжело, будто я хороню лучшую свою мечту... Но нужно сделать это теперь, пока не поздно. Я делаю это не только для вас, но и для себя. Какие мы несчастные с вами, Лаврик! Ну вот, я целую вас в последний раз... уезжайте сегодня же!

Лаврик долго смотрел в светлые глаза, даже не покрасневшие от волнения и, наконец сказал:—вы плачете, Елена Александровна, но у вас совсем нет сердца!

— Может быть, милый друг, может быть, я ничего не знаю... Потом, и скоро, вероятно, вы поймете все. Я делаю это не только для себя и вас, но и еще для одного человека, который одинаково дорог и мне и вам... Я делаю это для Ореста Германовича.

Когда заплаканный Лаврик вышел, спотыкаясь, Елена Александровна не бросилась к окну, а велела подать себе счет, сказав, что завтра рано утром уезжает, а сама села за письменный столик и написала на голубом листке телеграмму: «Петербург, Екатерининский канал. Царевскому. Соскучилась. Благополучно. Завтра буду. Целую. Люблю», и давно так крепко не спалось Елене Александровне, как в эту ночь. Она спала, как маленькие дети, набегавшиеся за долгий день.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА 1.

Нужно было проехать двадцать верст, то открытыми лугами, то не слишком густым лѣсом, то подымаясь в гору, то снова спускаясь, чтобы добраться от Смоленска до имения Иранды Львовны, называемого «Затоны». Экипаж по деревенски был очень покойный, так что славились даже между соседями, дорога была укатанная и не пыльная после вчерашнего дождя, но Полине Аркадьевне путешествие казалось очень рискованным и опасным, так что в ее воображении мало чем отличалось от открытия неизвестных стран, где она мечтала быть миссионером, тогда, в Павловске. Первые верст пять, она даже не говорила и только со страхом смотрела на спину Даши, помещавшейся рядом с кучером на козлах, как-будто она боялась морской болезни, или каталась на карусели. Затем, видя, что дорога мало видоизменяется и никаких приключений не предвидится, она стала спрашивать Иранду Львовну, кому принадлежит та и та белевшая вдали усадьба, как называются разные полевые цветы и встречные ручьи и речки. Овода наводили на нее панический ужас. Она так серьезно собирала все эти сведения, будто готовилась сохранить их на всю жизнь или писать исследование о Смоленской губернии. Бабы в синих мужских поддевках

изредка кланявшиеся проезжавшим господам, нимало ее не интересовали. Так прошло еще версты три, наконец, и любознательность иссякла и Полина Аркадьевна пыталась задремать. Но так как она все-таки боялась не то пропустить что-нибудь интересное, не то дорожных опасностей, не то просто на просто мух и оводов, — то ее попытка уснуть оказалась тщетной. Деревня ее разочаровывала. Она думала, что по рощам бродят барышни в белых платьях, с книжкой в руках, вроде оперных Татьян, из-за куста выскакивает рыжая собака, делая стойку, барышня вскрикивает; тогда выходит в охотничьей куртке плечистый молодой сосед, или сын управляющего с ружьем за плечами и переносит Татьяну на руках через болото, или рвет для нее незабудки; что мамыши в чепцах повсеместно на глазах у прохожих варят варенье и поют квартет Чайковского «Пряничка свыше нам дана», а девушки возвращаются с граблями на плечах. Или же наоборот ей казалось, что все усадьбы горят, а толпа крестьянских парней ждет за каждым углом, чтобы ее, Полину, насиловать. Вообще она вспоминала, то оперу «Евгений Онегин», то рассказы некоторых беллетристов. Но, кроме редких крестьян, они почти никого не встречали; только около одной из усадеб, дом которой находился почти на самом большаке, они заметили толстого оставного полковника, который без куртки на солнышке подвязывал штормозы. Отчаявшись найти что-нибудь интересное, Полина Аркадьевна обратилась мыслями к покинутому Петербургу и несколько воспряла духом.

— Вот вы говорите, милая Иранда Львовна, что я всегда бываю неразумна и слишком любопытна, а между тем посмотрите: я уехала из города, как раз когда там начинается что-то интересное...

— Что ж там начинается интересного? Конечно, человеческая жизнь всегда достойна интереса, но ведь теперь все из города станут разъезжаться, и даже скажу больше: почти все наши друзья приедут сюда... что же вы пропустили?

— Меня, по правде сказать, больше всего интересует, как Елена Александровна ездила в Ригу?

— Да что же? кажется, она съездила очень благополучно. Вернулась несколько раньше, соскучившись, вот и все. Через три дня она, вероятно, приедет ко мне.

— Пекарские тоже будут у вас летом?

— Вероятно; я их звала, но крайней мере, и Орест Германович так отвечал, что, мол, он приедет.

— И Лаврик тоже?

— Да, вероятно. Они же всегда вместе.

— Ведь Лаврентьев сосед, кажется, ваш?

— Не очень близкий, верст за пятнадцать. Притом, он редко бывает в наших краях, но если хотите, сосед.

— Как это все может быть интересно! — молвила Полина мечтательно улынувшись.

— Может быть, но только знаете что: если вы желаете отдохнуть, поправиться, то вы все-таки не слишком интересуйтесь чужими историями, а то не получится никакой разницы между «Затопами» и «Совой».

— Ведь вы говорите, Лелечка скоро приедет?

— Для через три, если ее ничто не задержит. Нам всем нужен на некоторое время покой, а по моему стоит только выйти в луга, где пахнет медом и мятой, да посмотреть на ленивые облака, — как все городское покажется таким нестоящим вниманья, что поволе успокоиться.

— Вы очень счастливы, Ираида Львовна, вы спокойны и определены.

— Да по моему, Полина, и ваше несчастье не в том, что вы беспокоитесь и ищете чего-то, а в том, что вы сами не знаете, чего хотите, и все это сидит у вас очень не глубоко, и вообще это все не жоланья, и не искания, а просто мурашки, которые бегают по коже. И повторю: вот поживете здесь, сами увидите, как измощитесь.

— Очень-то успокаиваться и меняться я не хочу, Иранда Львовна, как бы мне не потерять самое себя.

— Какие глупости! Ну, как возможно потерять самое себя? вы только посмотрите, какой у нас красивый дом!

Дом стоял на пригорке, был белый, с колоннами и заканчивался низким куполом. Посреди лужайки спускалась прямая дорожка к невидному пруду, а над самым домом недвижно стояло одинокое белое облако, будто оно тоже служило архитектурным дополнением. Комнаты не были оклеены обоями и на оштукатуренных белых стенах резко чернели портреты, писанные доморощенными художниками. Подойдя к одному из них, где была изображена дама, очень похожая на Иранду Львовну, в павловском костюме, которая наивно и неумело держала двумя пальчиками розу, хозяйка сказала:

— История вот этой женщины, вероятно, вам понравится. Она была жена моего двоюродного деда, румынка. Он ее убил из ревности, и как еще: зарубил топором! Я когда-нибудь вам расскажу эту историю.

— Душечка! как она похожа на вас!

— Говорят.

— Смотрите, как бы вас не постигла та же участь.

— Ну, кто же меня будет рубить топором, да еще из ревности? Кому это нужно?

Расположившись в своей комнате, Полина Аркадьевна первым делом раснаковала туалетные принадлежности и села писать письмо, очевидно, не на шутку боясь, как бы не слишком успокоиться и не потерять самое себя.

ГЛАВА 2.

Первые три дня Полина Аркадьевна провела, ожидая все Лелечку, от которой надеялась услышать захватывающие новости. Но когда вместо Елены Александровны пришло краткое письмо с извещением, что она не совсем здорова и неизвестно, когда покинет Петербург, — тогда Полина спокойно предалась течению деревенской жизни, если, конечно, не считать ее бесчисленных и бесконечных писем, которые она рассылала во все концы, беспокойство и волнение, страстно побуждая своих знакомых и приятелей к отваге, экзальтации, красоте переживаний и катастрофам. Еще одно обстоятельство не вполне соответствовало понятиям о деревенском житье, это то, что Полина Аркадьевна вставала относительно поздно. Впрочем, и сама хозяйка дома, не будучи достаточно компетентной в сельских работах, любила понежиться. Иногда под их неопытными пальцами оживал старый фортепиано, когда Полина наигрывала на память модные танцы, или Ираида Львовна медленно, но уверенно разбирала Шуберта, Мендельсона, или, наконец, обе вместе останавливаясь и считая вслух, играли в четыре руки допотопные увертюры. Полина Аркадьевна, очевидно, начинала скучать, потому что даже худенькое личико ее пожелтело, а глаза потеряли беспокойный блеск. По городской привычке она много времени проводила перед зеркалом и

костюмы ее походили то на узенькие ночные рубашки, плотно перетянутые по животу цветными платками, то на кисейных разноцветных бабочек с легко опаленными крыльями, то на татарские халатики. Ходила она почти всегда босою, что производило неотразимое впечатление на местных крестьян. Когда же она однажды при девушках, которые пришли продавать землянику, стала декламировать Бальмонга и танцевать под Дупкан на лужайке, то репутация ее не то блаженной, не то шутихи, установилась прочно. И то, что не сейчас же к ним понаехали соседи со всех сторон, объяснялось только тем, что часть их еще не съехалась и что Ираида Львовна была очень мало с кем знакома. В лес Полина Аркадьевна не ходила, а сидела целый день или на ступеньках террасы, видной с большой, проезжей дороги, или в березовой беседке, выходявшей на ту же дорогу, будто кого поджидая. Покуда ожидать можно было только писем, на которые Полина и набрасывалась, как голодный волк, потому что дорога была так же мало оживлена, как и в тот день, когда они с Ираидой приехали из города. Перочитавши три книги стихов, взятых с собой, и выуча почти наизусть все письма знаменитых людей, хранившиеся у нее в сумке, рассказав Ираиде Львовне подробно биографии и характеристики психологические и анатомические своих пятидесяти любовников, — Полина Аркадьевна принялась за местную библиотеку, но так как тут были книги все старые, не дававшие особенной пищи любовной приподнятости, при том книги такие, читать которые надо было внимательно и, если пропускать по несколько глав, то ничего не поймешь, то Полина Аркадьевна и таскала все время с собой 1-й том Жиль-Блаза, удивляясь, как примитивны в своих требованиях были наши предки и историки

литературы. Одно ее утешало в деревенском уединении: — это — действительная доброкачественность ее таинственных румян; и правда, несмотря ни на жару, ни на купанье, при чем Полина рисковала даже нырять, щеки Полины все цвели, как маков цвет, возбуждая зависть деревенских девок, а иногда восторженную ругань мужиков, возивших бревна. Так-то вот, цветы своими немного пополневшими щеками, имея в руках все тот же первый том Жиль-Блаза, одетая в ночную рубашку, подхваченную плотно голубым платком на том месте, где сидят, Полина Аркадьевна спокойно направлялась от беседки к террасе, не особенно романтично думая, что скоро будет завтрак, как вдруг она увидела у сложенных бревен человека, вовсе не похожего на всегдашних возчиков. Это был довольно высокий молодой человек с длинными волосами и прямым носом, в широкополой шляпе, черной рубашке и высоких сапогах. Подойдя близко, Полина Аркадьевна молча стала слушать, что говорят мужчины. Но они говорили про какие-то вершки, сучки, так что она ничего не поняла.

— Неужели вы понимаете то, что говорите?

— То-есть, как это?

— Я хочу сказать, неужели вы — знаток?

— Я просто нанимаю подводы. Я не знаю, какой я знаток?

— Вы — управляющий?

— Нет. У нас именье здесь. Меня зовут Панкратий Полаузов.

— Вот! у меня еще никогда не было Панкратия.

— Да, это очень редкое имя, — согласился собеседник.

— И к вам будут возить тоже такие же бревна?

— Да, у нас ставят новую баню.

— Какой ужас!

— Почему ужас?

— Если в городе вдруг сказать: баня — всегда что-то неприличное.

— Я не знаю, я в Петербурге сколько раз ходил в баню, — ничего неприличного нет. У вас испорченное воображение.

— Развѣ вы из Петербурга?

— Да, я учусь в университете.

— Вот странно! А я вас никогда не видала.

— Весьма возможно! в Петербурге народу много.

— И вас зовут Панкратий?

— Да. Это тоже, по-вашему, ужас?

— Нет. Это просто смешно! Ну, как же зовут вас ваши возлюбленные? Панкраса? Я, знаете, буду вас звать: Кратик.

— Это как вам угодно.

Молодой человек замолчал, продолжая осматривать бровна. Затем, будто спохватившись, спросил вежливо:

— Вы здесь гостите у Ираиды Львовны?

— Какое гощу! не гощу, а просто со скуки умираю!

— Да, если чем-нибудь не заниматься, в деревне скучно.

— Ну, если б я любила кого-нибудь, тогда я понимаю...

— Да, конечно, если человек увлечен чувством, ему независимо от обстановки жизнь кажется полной... но это по заказу не делается.

— Да выходит, что не делается, — ответила Полина просто, затем добавила: — знает, по-моему, вам нужно бы завести краги вместо сапогов и войлочную куртку... вы были бы похожи на ковбоя...

— По нашим местам это неудобно... у нас не Америка, и я был бы похож не на ковбоя, а на дурака, или на чучелу.

— Ваше семейство во вражде с Царевскими, не правда ли?

— Как это во вражде?

— Ну, знаете, как это бывало в старину: друг у друга угоняли скот, жгли овины... нападения даже бывали..

— Нет, помилуйте, зачем же... мы в очень дружеских отношениях.

— Отчего же вы не бываєте?

— Да еще не собралась... мы только неделя как приехали, и мать с сестрой немного устали.

— Ах! у вас есть и сестра! какая прелесть! как же ее зовут?

— Софья Семеновна.

— Вот смешно-то! Вас зовут Панкратий, а ее просто — Соня. Ее бы уж тогда назвать Перенегуя, Маланья..

— Ну, а вот ее просто зовут Соня... что же мне долать?

— Однако, вы, наверное, заняты, а я с вами болтаю... скажите вашей сестрице, что ей кланяется Полина Аркадьевна Добролюбова-Черникова.

— Вы актриса?

— Нет, я просто так... Полина... а актеры! может быть, мы все актеры...

— Да это конечно, как посмотреть.

Полина Аркадьевна, конечно, не преминула в тот же день расспросить у Ираиды относительно Полаузовых. От нее она узнала, что это семейство, состоявшее из вдовы и двух детей, действительно, одно из самых близких к ним соседей, при чем находится с Царевскими в самых дружественных отношениях.

— Я совсем не знаю, почему я об них как-то позабыла... Они ко мне и в Петербурге иногда заходят, и теперь, конечно, раз они приехали, на-днях посетят нас. Вот вам будет маленькое развлечение. К сожалению только люди то они для вас не совсем подходящие, ну, да ведь в деревне, таких безумцев, с какими вы привыкли обращаться в Петербурге, не скоро найдешь.

— Что вы, милая Иранда Львовна! будто я уж и не умею обращаться с простыми людьми? притом часто бывает, что в людях есть известные задатки, но они не имели случая выказаться.

— Ну, в Полаузовых, пожалуй, таких задатков, какие вы имеете в виду, не найдется, и притом вы не думайте, что это какие-нибудь медведи... Это люди не столько простые, сколько очень установившиеся, добросовестные и строгие... Хотя, пожалуй, в Сонечке и есть некоторые уязвимые черты...

— Какие же черты?

— Что же я вам буду все рассказывать? вот познакомитесь, сами и рассмотрите, вам будет занятие. Я ведь все-таки хозяйка и должна заботиться о ваших развлечениях, потому ничего и не скажу. Да и потом, может быть, это мне так кажется... никакой достоверности я не имею.

— Она молодая, эта Сонечка?

— Да. Т.-е. так, ей лет двадцать, Панкратий моложе.

— И хорошенькая?

— Это зависит от минуты... Иногда почти красавица, иногда совсем дурнушка... Если б не эти черты, о которых я вам сейчас не скажу — была бы барышня как барышня.

ГЛАВА 3.

На балконе стояла маленькая, веселая старушка. Она смотрела из-под руки на дорогу, по которой в облаке пыли приближался экипаж с бубенчиками. Около нее стояла как раз та Сопя Полаузова, которая, по словам Праиды Львовны, имела какие-то черты. Но эти черты и действительно не бросались с первого взгляда и даже, утвердившись, что она бывает то красавицей, то дурнушкой, показалось бы всякому преувеличенным, потому что она производила впечатление ни красивой, ни не красивой, ни низенькой, ни слишком высокой, ни худой, ни толстой, ни румяной, ни бледной. Она казалась до досады обыкновенной. Скорее всего курсистка, а может быть, и телефонная барышня. Она впрочем, уже пятый год была слушательницей на каких-то курсах. Панкратий Семенович, оставаясь при сапогах, был одет в белый китель, и имел форменную фуражку, так что, очевидно, о прибытии гостей были предупреждены. И Полина Аркадьевна была облачена в платье, более похожее на то, что называется платьем, чем на костюм лесной сказки и притом обута. Это, как-будто, ее стесняло и даже уменьшало живость ее речи. За эти две недели она совершенно привыкла ходить распустешкой, или, как она выражалась, «затонной феей». Но Полаузовым, которые не знали обычной ее словоохотливости, она и в таком сокращенном виде, казалась очень разговорчивой. У хозяев, очевидно, было уже раньше распределено, кто кого будет занимать, при чем Ираиде Львовне, как женщине, с которой можно поговорить и о хозяйстве, был назначен Панкратий Семенович, Полине же была предоставлена Сонечка. Мамаша присоединялась то к тем, то к другим в те минуты, когда не была на

кухне. Но сами гости часто меняли это распределение, так как Полине Аркадьевне, несмотря на заманчивость узнать загадочные черты Сонечки Полаузовой, был, конечно, все-таки интереснее, какой ни на есть, кавалер. Панкратий Семенович привлекал ее еще тем, что был не слишком похож на тех молодых людей, которыми обычно была окружена Полина. Его простота и какая-то добросовестность иногда забавляли, иногда же злили собеседницу. Но, конечно, и Сонечку, после рекомендации Ираиды, Полина не оставила без внимания, но тут ее наблюдательность была несколько парализована, так как знаменитые черты барышни Полаузовой были отнюдь не эротического характера. А между тем даже в самом убранстве девичьей горницы можно было бы заметить нечто не совсем обычное: обилие мягкой мебели, обитой светлым кретоном, отсутствие безделушек и карточек, кроме двух портретов какой-то английской дамы с опухшим лицом и экзотического мужчины с длинной черной бородой, русские и английские книги философско-нравственного содержания, перламутровое распытие, перед которым в длинном стакане стоял пучок садовых цветов, запах не то полыни, не то свежее-выглаженного белья и голубые шторы, спущенные на закрытые, несмотря на лето, окна,—все придавало этой комнате вид комфортабельного богомыслия и веры в уголке дивана. Полина Аркадьевна, конечно, все это просмотрела, нашла комнату похожей на деревенский будуарчик и удивилась, что у Сонечки нет губной помады. Покончив с этим, она всецело занялась Панкратьем в высоких сапогах, который повел осматривать скотный двор. Было жарко, Полине Аркадьевне с непривычки было скучно быть обутой: мычали коровы и пахло телятами, и она все придумывала, как бы скорей вернуться в Сонечкин

будуарчик, захватив туда с собой и хозяина. Старушка, наклонясь к Ираиде Львовне, сокрушенно прошептала, указывая на Полину Аркадьевну: «Бедная! Чего ж она так покрасилась-то!»

— У всякого есть свои слабости... Она очень хороший человек.

— Да я ничего не говорю и вполне вам верю... так на все нужно знать маперу... кого она этим у нас удивит?

— Она, вероятно, и не думает никого удивлять, ей просто самой доставляет это удовольствие.

Полина, узнав, что нет гигантских шагов, села за старый рояль и стала играть те два-три танца, которые она знала наизусть.

— А вы не играете? — обратилась она к Сонечке.

— Нет, у нас никто не играет... так, инструмент остался после бабушки, не хочется с ним расставаться.

— Как же это можно жить без музыки?

— Ну, что же делать? если бы я себя считала несчастной, что живу без музыки, это бы делу не помогло.

— Вы бы могли научиться.

— Для этого нужно слишком много времени.

— А вы очень заняты?

— Очень.

— Но чем же вы живете?

Сонечка улыбнулась и ответила: «Я не совсем понимаю, что вы хотите, чтобы я сказала, чем я живу? я думаю тем же, чем и все люди живут, или должны жить: я занимаюсь, читаю, стараюсь быть лучше, — я думаю, что этого вполне достаточно.

— Это все слишком благоразумно, в жизни должно быть какое либо безумие. Неужели вы не любите искусства и не влюблены в кого-нибудь?

— Искусство я люблю, конечно, как же его можно не любить? Но и здесь в своих вкусах я показала бы вам слишком благообразной. Что же касается того, влюблена ли я в кого-нибудь, как вы говорите, вы, надеюсь, позволите мне куда не отвечать на этот вопрос.

Молодые люди пошли немного проводить гостей, так как начало дороги шло широкой, ровной березовой аллеей, по которой было бы грешно не прогуляться. Экипаж тихо ехал сзади и месяц справа то показывался, то пропадал между прозрачно-зеленых веток. Поздний вечер не располагал к разговорам, но Полина Аркадьевна не удержалась и как только осталась в бричке вдвоем с Вербиной, принялась делиться впечатлениями и высказывать свою критику на соседей. Они ей не особенно поправились, нашла их вялыми, скучными и неинтересными.

— Старуха то еще ничего, а уж дети какие-то квакеры ископаемые... даже нельзя себе представить, что они живут в Петербурге... будто они все время сидят в деревне или приехали из Швейцарии...

— Почему из Швейцарии?

— А мне так представляется, что в Швейцарии живут только шоколадники, да гувернантки... одни все время варят свой шоколад, а другие учат русских детей плохому французскому языку. Скучно, милочка... так жить нельзя... Хоть бы Лелечка скорей приехала.

— Ну, а что же, за Сонечкой Полаузовой вы ничего не заметили?

— Да, кстати, я вам сама хотела сказать, вы по моему, ошиблись... Ну какие могут быть черты у такой кислятины!

— Вы к ней несправедливы... Соня совсем не такое апатичное существо, как вам представилось. Она де-

вуха с большой волей... с большой. Может быть, ее особенности направлены не в ту сторону, которая вас интересует, но это еще не значит, что их нет.

— Не знаю, я ничего не заметила.

— Да я ничего не утверждаю... сегодня мне самой показалось, что я ошибаюсь.

— Нет, лучше всего, если бы скорей приехали все наши... особенно Лелечка. Я даже сама удивляюсь, как о ней соскучилась. Вы не обижайтесь, Ираида Львовна, но знаете... все это: тишина, природа, простые люди, это все прекрасно, но все мертво, и ах, как не интересно!

«А он мятежный ищет бури,
Как-будто в буре есть покой».

Шутливо продекларировала Ираида Львовна.

— Совершенно неверно. Я не потому ищу бури, что там есть какой-то покой, а именно потому, что там никакого покоя не может быть. Я люблю бурю за то, что она буря.

— Полно, Полина, какие у вас бури? вы сами их создаете... дуете на блюдечко с водой и думаете, что вот полный шторм... В сущности, конечно, это не важно, раз вам так нравится; чем бы, говорится, дитя ни тешилось... Только не нужно обманывать себя.

— Ах, милая, да чем же жить как не обманом, что бы без него была наша жизнь? и любовь, и искусство, разве это не обман?

— Нет, это — не обман... Обманывать потому невыгодно, что очень легко принести другим вред, а самой остаться в дураках.

— Не все ли равно, хоть день, хоть час прожить, полно, интересно, красиво! вот в чем главное... красиво и трепетно.

— Так все это делается гораздо проще и без всякого обмана, Полина, а то ведь человек легко может стать смешным, а уж тогда какая красота!

— Сколько вам лет, Ираида Львовна? — совершенно неожиданно спросила Полина.

— Тридцать, а что?

— Откуда у вас это спокойствие, эта рассудительность? Елена Александровна меня гораздо лучше понимает.

— Я думаю, что тут дело не в годах, а просто Лелечка, в сущности, такая же беспризорная, как и вы, а что касается спокойствия моего, так это вы мне льстите... какая же я спокойная? Вот Полаузовы те, действительно, спокойные люди и то еще не совсем. Если бы они были совершенно спокойными, они были бы гораздо веселей и радостней, а у них, вы правы, покуда еще лики постные, а если у спокойного, или святого человека лик постный — это значит — и в спокойствии, и в святости его есть какой-то изъян. Святой человек должен каждую минуту радоваться и веселиться, смотреть на все радостными и спокойными глазами.

— Знаете что, Ираида Львовна? мне кажется, что вы под старость пойдете в монастырь.

— Это оттого, что я про святость то заговорила? Нет, милая моя, я не такой человек.

— Ах, вы не говорите, это со всяким может случиться... Я ведь тоже очень религиозна. Если бы у меня в жизни случилось какое-нибудь крушение, ничего бы, ничего не оставалось — я бы тоже пошла в монастырь, это так красиво! свечи, черное покрывало... экстазы.

— Красиво-то это красиво, да монахиня-то из вас вышла б преплохая... в монастырь нужно идти в пол-

ной силе, а не тащить туда какие-то обломки, которым больше ничего делать не осталось.

— Нет, нет! вы мне дали идею. Осенью непременно поеду в Новодевичий.

Дома их ждало письмо от Леонида Львовича, где он писал, что Елона Александровна все еще прихварывает, и неизвестно, когда выедет, что сам он все не может получить отпуска и не особенно торопится с этим, поджидая, когда совсем поправится его жена, что все благополучно и в конце-концов они обязательно приедут в «Затоны».

Письмо это чем-то не понравилось Иранде Львовно.

— Бог знает, что брат нишет! размазывает что-то, что Лелечка нездорова... ведь не настолько же она нездорова, чтоб не могла ехать, а если несколько недомогает, так это лишняя причина, чтобы скорей отпраивляться в деревню. Про себя плетет тоже какую-то неопределенность. Поневоле вспомнишь Полаузовых.

Полина Аркадьевна таинственно заметила:

— По-моему, Иранда Львовна, там — большая драма.

— Ну, какая там может быть драма?

— Пет, уж вы мне поверьте! еще когда мы уезжали, там все были так перепутаны, что я очень, очень боюсь какого-то несчастья.

— Знаете что, Полнна, вы так не говорите. Кто знает? может быть, у вас — дурной язык... вы тут что-нибудь будете болтать про несчастья, а несчастье случится.

— Разве это возможно? — вдруг необыкновенно заинтересовавшись, спросила Полина.

— Ну, конечно! не падо никогда пакликать беды.

ГЛАВА 4.

На самом деле ошибались в своих предположениях и Полина Аркадьевна и Ираида Львовна. Конечно, и Леонид Львович давал сведения неверные: Елена Александровна не была нисколько больна, вместе с тем драмы никакой не было, но — нельзя было бы сказать, что все обстояло благополучно.

Вернувшись из Риги, Елена Александровна увидела, что муж ей во всем поверил, или сделал вид, что верит, отнесся ко всему доверчиво и просто. Да, Лелечка ездила в Ригу к сестре Тане, соскучилась по дому и вернулась раньше срока. Так считалось и считал сам Леонид Львович, а может быть, только подчинился тому, что считалось, но делал это добровольно и свободно, почти весело и потому никак нельзя было приписать Лелечкиному путешествию или ее неожиданному возвращению ту перемену, которая наблюдалась в ее муже. А перемена была столь заметная, что бросилась в глаза сразу. Как только Елена Александровна приехала, она спросила: — «что с тобой, Леонид! что-нибудь случилось?»

— Нет, ничего.

— Ну, как ничего... разве я не вижу, что ты сам не свой! ты не влюбился ли тут без меня?

— Какие глупости! Зачем же я буду влюбляться?

— Ну, знаешь, почти всегда бывает трудно ответить, зачем это делают.

Леонид Львович промолчал и продолжал быть очень неразговорчивым до конца завтрака, когда Лелечка заявила: — а нет, знаешь, Леонид, можно подумать, что ты не рад, что я приехала, в таком ты сегодня странном расположении: ничего не спросишь, не расскажешь.

Если бы я была ревнивой, действительно, могла бы подумать, Бог знает что. Но, пожалуй, это было бы и лучше. Тогда была бы определенная неприятность, а теперь я не знаю, о чем беспокоиться. Может быть, ты нездоров?

— Нет... я здоров. По-моему никаких перемен во мне нет. А что же бы ты подумала, если бы была ревнива?

— Что ты влюбился в Зою Лилиенфельд.

— Почему именно в нее?

— Потому что я бы тогда говорила не соображая, действуя по чутью.

— Оно нас часто сбманивает.

— Да, но часто оно же открывает глаза даже тому, про которого говорят. Но это ведь все только предполагаемый разговор... так как я не ревнива, то ничего подобного не думаю и уверена в твоей верности, как и ты, думаю, в моей.

Лелечка была права, говоря, что часто вдохновенные догадки открывают глаза, объясняют многое именно тем, относительно которых они делаются.

Никогда Леониду Львовичу не было очевидно с такою ясностью, что он влюблен, именно влюблен в Зою Михайловну. Как этого не приходило ему раньше в голову? Он думал, что это простой интерес, эстетический и наблюдательный, художественная дружба, приятное знакомство. Но при таком объяснении многие его психологические повороты и движения были непонятны. Теперь же, когда прибавилось это новое объяснение, то все стало до того ясным и простым, неизменяемым, что Леонид Львович сам удивлялся, как это не бросалось ему в глаза.

Да, да! влюблен... И эти нетерпеливые ожидания, и

это волнение при свидании, какая-то внезапная, изнемогающая томность при одном взгляде, — все, все говорило, что сомнений быть не может. Прежде он полагал, что эта высокая, тонкая фигура, длинные египетские глаза ему нравятся, что его привлекает безукоризненный вкус, начитанность и свободный, свой взгляд на вещи, что неотразимо влечет его четкая определенность мнений, чувств и поступков этой женщины, так непохожей на других. Теперь же он понял, что он просто на просто влюбился в Зою и только от этого все в ней ему так нравится. Ему сразу стало просто и радостно; может быть, ему было жалко несколько тех тревожных полу-чувств, которыми он объяснял еще накануне свои отношения к Лилленфельд. Теперь он знал определенно, что в нее влюблен и все стало грубо, радостно и просто. Просто, несмотря на существование Лелечки и неминуемые осложнения. Совсем с новым чувством проходил он ковры гостиной, чтоб достигнуть небольшой комнаты, где у светлого пианино хозяйка разбирала какую-то новую, трудную пьесу. Она кивнула ему, не желая прерывать занятия, а он, поцеловав ее останавливающуюся руку, сказал тихо, но уверенно:

— Я люблю вас, Зоя Михайловна!

— Вы мне признаетесь в любви?

— Да.

— Но ведь, кажется, вчера вы этого еще не думали?

— Вчера это я не так ясно сознавал.

— А сегодня вам вдруг стало ясно, что вы меня любите?

— Да.

— Что же, или кто вам дал эту ясность!

— Моя жена.

Зоя ничего не ответила и только, доиграв пьесу до

конца и взяв последний произительный аккорд, обратилась к Леониду Львовичу:

— Мне никто не говорил, а я сама давно уже знала, что вы меня любите... скажу больше, что я сама люблю вас... было бы смешно, если бы мы стали заниматься флиртом... Я думаю, вы сами не думали этого, делая ваше признание. Так вот знайте, что я тоже люблю вас, а теперь уходите... я вас жду завтра.

Леонид Львович едва помнил, как шел домой; то, что он признался, придало как бы еще больше определенности его чувству. Теперь уже не было не только сомнения, но, казалось, были невозможны никакие отступления. Притом, не сказала ли Зоя Михайловна сама, что и она его любит? Почему же тогда так странно она его отослала домой? Или, может быть, это происходило именно от слишком большой ее определенности. Очевидно, она хотела, чтобы и у нее, и у него чувства и волнения улеглись, так, чтобы при последующих свиданиях иметь дело с тем, что неизменно, устойчиво и ясно. А может быть, она хотела дать ему время поговорить с женой. Леонид Львович не принадлежал к тем людям, которые под видом откровенности и жажды исповеди тотчас бегут докладывать про малейшее неприязненное чувство или плохой поступок именно тем, против которых они провинились, вместо того, чтобы в тайне исправить и поступок, и отношения, — в то же время он не был скрытником и таить от жены, особенно, такую вещь ему было тяжело. Лелечка ходила по комнате в выходящем платье.

— Ты куда-нибудь собираешься, или выходишь?

— Нет... Особенно куда не собираюсь, а что?

— Нет, я к тому, что ты одета так, как для выхода.

— Да, я думала было пойти, а потом не захотелось.

Зная Лелечку переменчивой и фантастической, Леонид Львович не считал это доказательством особенной ее нервной системы.

А между тем Елена Александровна, видимо, волновалась. Она все быстрее ходила по гостиной, то смотря в окно на пустую набережную канала, то перелистывая альбомы у стола, ничего, казалось, не видя.

У Леонида Львовича была одна только мысль, как бы подготовить Лелечку к предстоящему разговору. Не зная, с чего начать, — он молчал; молчала и жена, хотя все быстрее. Наконец, будто устав, она опустилась в кресло, но разговора не начинала. Наконец, будто про себя, она произнесла: — «Фу! как это глупо!».

— «Что именно?» — отозвался муж. Так как Елена Александровна не отвечала, то он еще раз повторил: — «ты сказала — глупо... что ты имела в виду?».

— Так... я сказала на свои собственные мысли. Я не могу, Леонид... понимаешь, не могу...

— Чего же ты не можешь?

— Ничего! Ни жить так... ни чувствовать, ни думать так я не хочу!..

— Что-же я могу сделать? как ты живешь — еще немного я знаю, но что ты думаешь и чувствуешь — я не знаю нисколько.

— В том то и беда, что ты ничего не знаешь... Отчего же ты не знаешь? Кому же знать, как не тебе?

— Оттого, что ты мне ничего не говорила, как же называться...

— Зачем же ты не спросишь? не узнаешь, не посоветуешь, не поבריшишь? я совсем растерялась, а тебе как-будто все равно.

— Милая Лелечка! зачем же я буду тебя бранить! за что? Разве что-нибудь случилось?

— В том-то и дело, что покуда ничего не случилось... а между тем, я дрожу как перед бедой...

— Через неделю, я думаю, можно поехать в деревню... — произнес Леонид Львович успокоительно.

— Ты думаешь от этого что-нибудь пройдет? я там с ума сойду в этой деревне!

— Тебе же так хотелось туда ехать... там будут Пекарские, Лаврептьев, Полина уже там...

Елена Александровна снова вскочила и сказала повышая голос: — «ни за что! Они мне надоели уже зимой».

— Просто ты сегодня в дурном расположении духа; я уверен, что через минуту ты пожалеешь, о чем говоришь... я говорю не о том, что друзья могут надоест, но откуда такая озлобленность?

— Мне никого не надо! никого не надо! и не говорите мне про знакомых... при том один вид твоей сестры мне действует на нервы.

— Конечно, раз мы поедem к Иранде в гости, будет трудно ее не видеть. Ну, если хочешь, поедem куда-нибудь на дачу, где никого нет... в Финляндию, что ли...

— Стоит-ли об этом говорить! не все-ли равно, где жить?

— Конечно, все равно! — ответил Леонид Львович, думая о Лилиенфельд.

Он ответил так просто и серьезно, что это, казалось, удивило его жену. Она вдруг прекратила свою ходьбу и ласково подсела к мужу на диван.

— Отчего ты у меня ничего не спросишь? Может, я виновата перед тобой, ты бы меня попраил, и мне было бы легче.

— Ну, что-ж разбирать вины друг друга. Может быть, ты и виновата, может быть, и я виноват...

— Нет, я одна виновата! и одна! в чем же ты виноват? что был слишком добр и верил мне?

— Я виноват в том, что полюбил другую...

Лелечка будто не поняла и повторила слова мужа:

— Ты полюбил другую?

— Да, — еле слышно ответил Леонид Львович, — Зою Михайловну.

— Я так и думала! Я так и думала! Я с первого взгляда поняла, что это за мерзавка! И что в ней находят хорошего? сушеная вобла! Одевается, конечно, ничего, но безвкусно; с ее деньгами всякая могла бы быть одета.

Помолчав, она спросила почти спокойно: — и что-же, давно у тебя роман с этой? Какие вы все тряпки! Представляю себе, как она косила своими глазами, когда объяснялась с тобой!.. подумаешь, царица Клеопатра! недаром она в «Сову» делала такое декольте! только ты ей по дружбе посоветуй вперед не делать... Это совсем не по ее фигуре...

— Лелечка, я люблю эту женщину, и мне неприятно, что ты так об ней говоришь.

Елена Александровна громко расхохоталась.

— Да ты, кажется, с ума сошел? Ты хочешь чтобы я, твоя жена, говорила с почтением о твоей любовнице? пожалуй, требуешь слишком многого... не прикажешь-ли сделать визита?

— Я ничего ни приказывать, ни просить не буду. Я сумею сделать, чтобы все вышло так, как мне нравится.

— Я тоже сумею сделать так, как мне нравится... и прежде всего мне не нравится твой тон со мной.

— Ведь если-б я хотел, я б тебе мог поставить в вину кое-что: во первых, ты сама намекала, а во вторых, история с Лаврентьевым достаточно известна в городе.

— У меня никакой истории с Лаврентьевым нет. Да, если хочешь, — он ухаживал за мной... даже был в Риге, можешь справиться, но я ему отказала наотрез во всех его исканиях. А потом, если-б и была у меня какая история, так это совсем другое дело, потому что я женщина... Да, возьми солнце, оно светит многим, всем, а само одно. Так и в настоящей любви! Я для тебя должна быть так же единственна, несмотря на то, что меня бы любили другие... Я не умею объяснить... мы для вас должны быть свет и красота, и никакой другой красоты и света ты не должен видеть. А ты...

— А я?

— Ну, а ты просто меня любишь!

— Так что это взаимно никогда не может быть?

— Ну, послушай! какая смешная претензия! неужели ты тоже хочешь быть красотой? ведь это глупо. Может быть, твоя Зойка тебе поет, что ты для нее свет? так ты ей не верь, потому что какая бы ни была, все-таки она женщина!

— Грустно!

— По крайней мере откровенно.

Помолчав — и будто успокоившись, Елена Александровна сказала:

— Я никаких мер принимать не буду, ты сам образумишься, надеюсь, а действительно — я и ты устали, и нам скорей надо ехать в Смоленск. Я сегодня же напишу письмо Иранде Львовне.

— Это называется — не принимать никаких мер?

— Это было твое желание, и я ему подчиняюсь, как верная жена. И потом знаешь, что я тебе скажу, Леонид? ты слеплен из слишком добродетельного и кислого теста, чтоб твои авантюры были для меня опасны.

ГЛАВА 5.

С этого дня у Царевских началась новая жизнь. Обыкновенно с этим словом соединяют понятие о чем-то добром, радостном и возвышенном, но в данном случае было далеко не так.

Просто было нарушено, может быть, и не отличающееся искренней дружбой, но сносное и спокойное житье, и начался какой-то вооруженный мир, поминутно прерываемый стычками. Совершенно неожиданно для Леонида Львовича оказалось, что Лелечка умеет, если захочет, отравлять существование. Казалось бы, они были на равных правах и должны были иметь снисхождение один к другому, но или по свойству своего характера, или в качестве солнца, которое должно светить всем, а само должно быть единственным, но Елена Александровна оказалась неистощимой в изобретении намеков, иронии, издевательств и, просто, придирок, иногда достаточно грубых, но всегда оказывавших должествующее действие на более непосредственного, а может быть, более ленивого и влюбленного по уши Леонида Львовича; а влюблен он был, как казалось ему, действительно по настоящему. Теперь, когда Лелечка стала так неприятно непохожей на самое себя, еще разительнее выступала разница между той, в которую он был влюблен, и его женой, потому неудивительно, что он старался как можно меньше времени проводить дома и ежеминутно стремился к Зое Михайловне. Там он находил ласку, покой и какое-то, если не возвышенное, то весьма одухотворенное чувство. Сознание, что дома сидит неприятная, враждебная, но когда-то любимая им женщина, которая теперь по его вине испытывает, если не горе, то большую досаду и обиду, — придавало его новым

отношениям известную торжественную печальность и большую сдержанность; а может быть, эту торжественность и некоторую скорбность внушал сам облик г-жи Лилиенфельд.

Не только скромному и влюбленному Леониду Львовичу, но самому ярому дон-жуану и сан-фасонщику не пришло бы в голову обращаться съ этой женщиной легко и привольно.

Может быть, это был оптический обман, но во всяком случае он был и действовал. Казалось немислимым начать тискать эту египетскую царицу, как какую-нибудь веселую толстуху, или заговорив о красоте греха, залезть рукой куда не полагается, как это практиковалось с Полиной и вообще предложить ей удалиться под сень струй казалось неудобно.

Повторяю — может быть, это был только оптический обман, а на самом деле Зоя Михайловна ничего бы не имела против того, чтобы ее слегка помяли в темном углу, но зная производимое ею впечатление, она фасон держала и вела себя высокомерно ласково и слегка насмешливо, имея вид женщины умной, возвышенного образа мыслей, слегка сухой и очень определенной. Тем радостней было Леониду Львовичу замечать, что при ближайшем знакомстве и при любви она казалась совсем не сухой и не надменной, нисколько не теряя в своей определенности благородства и некоторой печальной *grandezza*, так что Лелечка со свонми ежедневными переменами настроений, капризами, придирками, маленьким, белокурым личиком вдруг показалась ему неспособным, вульгарным зверьком и не добрым, и не забавным. Он, пожалуй, сам себя не узнал бы и не поверил бы месяц тому назад, что это он, Леонид Львович Царевский, читает часами вслух старых французов, слу-

пает, как Зоя четко, сухо, холодно и блестяще с каким-то холодным жаром и головным темпераментом разыгрывает Листа, репетирует танцы, или учит роли, лишь изредка целуя его, как королева, при чем ее зеленые глаза узкие и длинные горели странным и темным вдохновением. Он совсем не казался сам себе завоевателем, а жил как бы в плену у новой, властной Армиды. Так как Лсонид Львович вовсе не был дон-жуаном, то его мужская гордость нисколько не страдала от того, что как-то не он брал эту женщину, и что плен его не был плуточной и добровольной хитростью, о которой говорят все ухаживатели, а был подлинным и полным колдовством.

Да, Зоя представлялась ему и ворожеей и сивиллой, и царицей и руководительницей, вообще существом сильнейшим, в руки которого надёжно и сладостно отдать себя. Когда онъ не видел Елены Александровны, ему было бесконечно жалко этого существа, которое где-то там внизу плачет и радуется, не знает того, что он теперь знает, — и часто, торопясь домой, он думал с великодушным и горделивым состраданием, как он ее утешит, простит, приласкает. Но жена его в его отсутствие тоже, вероятно, не дремала, и встречала его таким зарядом заранее приготовленных придинок, что у него отнимался язык, и он попросту начинал браниться зуб-за-зуб и переставал быть похожим на возвышенного рыцаря, а делался обыкновенным петербургским чиновником, или поверным мужем неверной жены. Он выходил, вульгарно хлопнув дверью, злясь на себя и на нес, и спешил опять туда, где, как ему казалось, он забывается и возвышается, и очищается от мелкой жизни. Он сознательно старался не думать о поездке в «Затоны», не имея сил определенно ее отменить. Увлеченная еже-

дневной войной с мужем, Елена Александровна тоже, казалось, забыла о деревне. Она жила, как во сне, удивленно-злая и скучающая.

Временами она с трудом удерживалась, чтоб не пойти и не устроить самого простого и вульгарного скандала. Пойти к Зое Михайловне, и высказать все, что у нее, Лелечки, накипело. А накипели у нее не очень приятные, справедливые и изящные вещи. Или пойти и побить ее зонтиком; или как она мысленно говорила, с уношением повторяя циничское выражение, «поправить ей пиньоп».

— Подрасться! как девки дерутся из за кота, вывести ее на чистую воду... увидим, что тогда останется от его египетской царицы! Увидит тогда, что его кривляка такая же, как все!

Так думала Лелечка, не замечая, что подобными рассуждениями она не столько унижает ненавистную соперницу, сколько все дамское сословие и себя самое. Конечно, Елена Александровна не привела ничего в исполнение и вместе с тем подобные планы и сцены с мужем не могли всецело занимать ее жизнь, мысли и сердце.

На ее горе в Петербурге не находилось почти никого из знакомых, так что ее переживания были лишены даже свидетелей. Иранде Львовне и Полине она почему-то не открылась в письмах, будто у нее созрел другой плач, для исполнения которого не следовало делать Иранду Львовну осведомленной. Вражда и злоба не могут составлять исключительной и единственной цели жизни, и человек неизбежно затоскует. Затосковала и Елена Александровна, тем более, что и вражда ее и злоба были не очень действительны и едва ли даже чувства, которыми она была обуреваема, могли назвать-

ся такими громкими именами. Уколотое самолюбие, маленькая ревность, досада, — вот и все. С таким багажом далеко не уедешь, как их не раздувай. Притом Леонид Львович очень мало выставлял на вид свою новую связь и если бы сам не сознался и отношения к жене не изменились из за нее же самой, то, пожалуй, Лелечка ни о чем бы не догадывалась. Он даже избегал показываться на улице вместе с Зоей Михайловной. Впрочем, это было желание последней. Лелечка так давно никого не видала, что когда раз встретила на улице распорядителя «Совы», обрадовалась ему, как отцу родному. Он был все такой же, озабоченный и восторженный, так что Лелечка, слушая его, думала с завистливым удивлением:

— И как это люди могут еще чем-то восторгаться, о чем-то заботиться, когда, казалось, все кончилось?

Он сообщил между прочим, что как раз сегодня последнее собрание в «Сове» перед летом, и что она, Лелечка, непременно должна на нем присутствовать. Он гсворил это с механической восторженностью всякому, кого встречал, но Елене Александровне было приятно поддаться на эту удочку и думать, что вот она где-то нужна, хотя бы в «Сове», и что есть место, где без нее не будет ни веселья, ни радости. Конечно, распорядитель говорил на ветер и тотчас же позабыл свои слова, так что, когда вечером Лелечка спустилась в расписной подвал, он же ее встретил приветствиями: — «кого я вижу? Елена Александровна! вот уж никак не ожидал!» — и тотчас отошел, предоставив Лелечку собственной участи. Лелечка отвыкла от «Совы», все посетители ей казались незнакомыми и мало интересными, так что ей осталось только одно—пить чай и слушать, как музыканты без всякой видимой причины играли квартет Бетхо-

вена, что было и не особенно ново и недостаточно весело. Она уже собиралась уходить, думая, что она и здесь никому не нужна, всех как-то растеряла, и нужно как можно скорее ехать в Смоленск, как вдруг услышала очень знакомый голос в передней. Вошел Лаврик с двумя студентами и статским мальчиком. «Вот и Лаврик куда-то ушел от меня!» подумала Лелечка и тотчас на себя рассердилась.

— Ну этот-то не ушел! Этого когда угодно можно пальцем поманить... я сама виновата, как-то раскисла, ослабела... что за гадость!

И подумав, что муж теперь сидит у Лиlienфельд, она быстро подошла к Лаврику и поздоровалась с ним.

— Давно вас не видела, Лаврик! здравствуйте, а я собиралась уже уходить.

— Зачем же вам уходить, Елена Александровна? Я только что пришел, а вы уходите... неужели вы в одной комнате со мной не можете находиться?

— Какой вы самоуверенный, Лаврик!.. мне было просто скучно, а теперь я, пожалуй, останусь и посижу с вами, если хотите.

Лаврик молча поклонился; он казался растерянным, смущенным и слегка пьяным. Народу все прибавлялось, музыканты перестали играть Бетховена, а на эстраде танцевали и пели более обыкновенное, то, что всем было известно еще с зимы. Лаврик наливал себе стакан за стаканом и Елена Александровна с удивлением заметила:

— Вы стали пить, Лаврик, это новость... вы, вообще, как-то изменились.

— Да, я изменился, но еще не вполне так, как следует.

— А почему вам следует меняться и каким образом?

- Очень следует, — повторил Лаврик и умолк.
Помолчав, Елена Александровна снова начала:
— Ну, как же вы живете, Лаврик?
— Покуда я никак не живу, а буду жить хорошо, очень хорошо... Я так надеюсь.
— Вы еще молоды очень, оттого и надеетесь...
— Я не столько молод, сколько глуп... а теперь буду умнее.
— А покуда вы не поумнели, что же вы делаете?
— Лучше не спрашивайте... Я так плох, так плох... но мне кажется, что чем хуже я буду, тем скорей поправлюсь.
— Вы очень страдаете... очень горюете, бедный Лаврик?
— Очень, — ответил тот совсем просто.
— Бедный мой, бедный... Я так виновата... Я тоже была глупа, и я умнею... если б можно было вернуть старое, оно бы повторилось уж совсем не так... совсем не так... Оно бы повторилось так, что всем было бы хорошо. Я очень виновата, можете ли вы меня простить, не ненавидеть?..
— Мне вас прощать не в чем, Елена Александровна; наоборот, я вам очень благодарен..
— Да... — подхватила живо Лелечка, — те минуты, что мы провели, все-таки никогда не забудутся! Эти минуты настоящей любви... они — как маяки в жизни... и что бы была наша жизнь без них?
— Вы меня не поняли... я вас благодарю не за те минуты, которые вы называете минутами любви, а за то, что вы мне так ясно, так отчетливо показали всю ничтожность, ложность и напрасность этих минут. Теперь, чем хуже, тем лучше, и начало этого «хуже» положили вы и блистательно положили; теперь я все больше

и больше стараюсь отвязаться сердцем от эфемерных чувств... Я их не унижаю эти чувства, не отворачиваюсь от них, но придавать им большее значение, чем пролетевшей бабочке — польза... покуда еще мне очень тяжело.

Лелечка вдруг схватила Лаврика за руку и воскликнула взволнованно:

— Лаврик! вы клевете на себя... неужели вы хотите стать бессердечным жуиром? И как же мне не винить себя, которая вложила в вас это отчаяние, эту разочарованность?!

— У меня скоро не будет ни отчаяния, ни разочарованности... но я увидел, что нельзя душу и сердце отдавать туда, куда я их отдавал.

— Куда ж отдавать сердце и душу, как не любви и искусству?

— Да, конечно... любви. Но я ее еще не имею и не имел... даже еще хуже... сколько я ее имел, я ее вкладывал совсем не туда... Я святой водой полы мою.

Лелечка оставила Лаврикову руку и, прищуривая глаза, спросила:

— И вы думаете, то, куда вы хотите вложить вашу душу, это и есть настоящее и возвышенное, и что вы не будете мыть пол святой водой?

— Да, я так думаю. Но дело в том, что я говорю совсем не о том, о чем вы предполагаете... да если бы разговор шел и о том, что вы думаете, то и это может быть было бы лучше.

Елена Александровна совершенно неожиданно спросила:

— Вы не знакомы, Лаврик, с мистером Стоком?

— Нет. А вы разве знакомы?

— Мельком видела... да ведь и вы же тогда были со мной... помните в «Буффе?»

— Я не помню... я вообще того вечера не помню.

— У вас печальное вино... вы всегда, когда напьетесь, разочарованно философствуете?

— Я философствую одинаково, когда пью и когда не пью. А теперь я пью нарочно.

— А потом совсем не будете пить, когда исправитесь? сделаетесь вегетарианцем, может быть?

— Зачем же? Не считаю этого необходимым, буду пить и есть, как все.

— Как все! это ужасно, Лаврик — в том-то и заключается наша прелесть, что мы — не как все... Мы все стремимся выйти из этого, а вы говорите как все!

— Я не знаю... я стремлюсь только выбраться из той ямы, куда залез... это моя задача.

— И вы стремитесь к этому, залезая как можно глубже в ту же яму?

— Да... я хочу, как Дант... пролезть через шар и выйти по ту сторону.

— А вы не находите, Лаврик, что это претенциозно? можно подумать, что вы прошли и ад, и чистилище.

— У всякого поступка есть свой ад и свое чистилище... Но, может быть, я действительно слишком хватил. Ну, скажу так — я похож на мальчика из кондитерской, которому на первых порах позволяют есть сладкого, сколько угодно, для того, чтобы, объевшись, он потом не воровал, и не придавал пирожным значения высшего человеческого счастья.

— Ну, и что же? вы еще не объелись?

— Нет еще... но почти что... Я яснее вижу значение подобных вещей.

— С кем вы теперь водитесь, Лаврик?

— Я же вам представил моих товарищей... и другие в таком же роде...

— Но по-моему они довольно тупые... почему же вы поумнели?

— Не знаю... может, оттого и поумнел, что они глупые... по моему, самого распутного человека можно сделать добродетельным, поселив его на неделю в публичном доме.

Елена Александровна вспыхнула и сказала запальчиво.

— Знаете что, Лаврик, вы невообразимо погрубели — и еще вот что я вам скажу: помимо того, что наши рассуждения очень скучны, они крайне ординарны.

— Может быть... Я думаю, что они справедливы, а ординарны ли они — не все ли равно?

— Вы будто совсем не наш, ну, вы понимаете, что я хочу сказать? У вас исчез всякий полет, вся поэзия... вы потеряли всякую идеальность, вы стали циником каким-то!

— Я еще ничем не стал, а становлюсь, или лучше сказать — стараюсь стать тем, чем быть считаю нужным.

— Как это скучно! — заключила Лелечка, но в голосе ее слышалась не скука, а раздражение и обида.

ГЛАВА 6.

Зоя Михайловна, остановив ручкой читавшего вслух Царевского, произнесла:

— Я сегодня невнимательна... довольно, милый!

— У вас мысли заняты чем-нибудь другим. Вы думаете, что вот вам скоро нужно будет ехать.

— Что же об этом думать? Это так обыкновенно... такая моя судьба... сегодня — здесь, завтра — там... то Париж, то Америка, то Италия... но все-таки я считаю, что живу в Петербурге.

— А я так не могу, не хочу думать о вашем отъезде... я себе не представляю, как я буду тут жить без вас!

— Зачем же вам жить без меня... мы будем жить всегда вместе.

— Но ведь вы знаете, что я уехать не могу... т. е. мог бы!.. но это бы повлекло за собой слишком большие перевороты.

— Этого совсем и не нужно делать... вы меня не поняли... Я хотела сказать, что как бы далеко мы друг от друга ни находились, мы будем всегда неразрывно вместе... потому что мы любим.

— Конечно, конечно... но мне просто будет не хватать ваших глаз, ваших рук... мне кажется, когда я к вам прикасаюсь, в меня вливается какая-то уверенность, какая-то прекрасная гармоничность.

Зоя Михайловна обняла его и сказала, слегка улыбуясь:

— Дитя... Это потому, что вы — слишком ребенок. Раз вы уверены в моей любви (а ведь вы в ней уверены?) то не слаще ли, не сильнее ли вас будет утешать сознание, что, находясь во Флоренции, я буду любить вас, помнить о вас, помогать вам?

— Вы правы, как всегда, но вас самих не будет от меня отнимать ваше искусство и вообще искусство, которое вы так любите, так понимаете?

— Не больше, чем здесь.

— А теперь вы едете во Флоренцию прямо?

— Прямо.

— Ведь вы в сущности вольная птица, куда захотите, туда и едете!

— Положим, я уж не такая вольная птица... да и потом я всегда знаю, куда я хочу ехать, и мои желания всецело зависят от моей воли.

— Боже мой! Как вы хорошо это сказали! Если б и я умел поступать так же.

— Это так и будет... я уверена в этом.

— Обвините меня еще раз... поцелуйте меня, чтобы вернее, крепче передалась та ясность и уверенность, которой мне так недостает!

Зоя Михайловна нежно и серьезно прижала его к своей груди и потом поцеловала, долго не отнимая губ и не закрывая глаз, между тем как Леонид Львович, закрывши глаза, прильнул к ней ласково и беспомощно, как теленок.

Наконец она оторвалась и, слегка оттолкнув Царевского, произнесла, будто про себя:

— Я очень боюсь.

— Чего? — еле слышно спросил Леонид Львович.

— Чего? Что я передала вам совсем не то, что вам нужно... а того дать я вам не могу.

— Вы мне можете дать вашу уверенность, то что вы всегда знаете, что вам нужно делать.

Зоя Михайловна долго смотрела задумчиво и, наконец, тихо начала:

— Уверенность... да, я знаю, куда мне ехать: в Париж, или во Флоренцию... я могу распределить свой день, я умею дать должную интонацию и жест в роли без ошибки, я имею определенный вкус в искусстве, я люблю все достойное любви и в старом, и в новом, но разве этого достаточно?

— Чего же нужно еще? Поступки...

— В поступках я тоже, пожалуй, уверена, и шаг, который должно сделать, я сделаю, как бы тяжел он ни был. Но есть еще что-то, чего я не знаю и на что, может быть, не способна, без чего вся моя уверенность — мертвый призрак.

— Это—любовь, любовь!—подсказал Леонид Львович.

— Может быть, это можно назвать и любовью,—как-то странно произнесла Лилиенфельд, вставая, — и я говорю, что я здесь не знаю.

Леонид Львович заговорил быстро и обиженно:

— Но вот теперь вы же имеете самую настоящую, самую прекрасную любовь... Конечно, вам что же я? Но я бы должен днями стоять на коленях и благодарить вас за то, чем вы меня так незаслуженно отблагодарили... и разве вам самим не доставляет счастья, что вот, для другого человека, которого вы тоже любите, вы составляете весь разум, всю волю, всю жизнь?

— Конечно, вы правы... все прекрасно, я именно любовь имела в виду, не обращайтесь внимания на некоторые мои фразы, я их не должна была говорить. Я еду еще только через неделю и буду часто вам писать, а когда не буду писать, то знайте, что я всегда о вас думаю и никогда вас не оставляю.

Когда Леонид Львович, уже прощаясь, целовал Зонну руку, она спросила, прищуривая глаза:

— А скажите, вы не знаете мистера Стока?

— Очень мало, а что?

— Нет... ничего... может быть, это моя фантазия... может быть, вам он и не нужен.

Хотя Зоя Михайловна в этот день и была какою-то необыкновенною и слабою, насколько она могла быть слабою, но все-таки контраст между спокойным, слегка печальным величием и бессильными мечущимися пере-

живаниями Лелечки был так разителен, что Леонид Львович почти с тоскою шел домой, даже физически замедляя шаг, и неизбежная перспектива объясняться сейчас, может быть, с плачущей, может быть, с озлобленно нападающей женой так на него действовала, что и его спокойствие начало колебаться, готовое, того гляди, перейти в растрепанную бесформенность не хуже Лелечкиной. Уже потому, как он, входя, хлопнул дверью и повесил котелок мимо вешалки, было видно, что он готов вступить в бой оборонительный или наступательный. Лелечка стояла у окна в сумерках и ничего не говорила. Приняв это молчание за новую систему своего врага, Леонид Львович начал сам:

— Что ты так стоишь в темноте, хоть бы чем занялась! Целый день ничего не делаешь, поневоле всякие глупости в голову лезут. Ведь отчасти от тебя самой зависит, чтобы все стало, если и не благополучно, так терпимо, и поверь, тебе совсем не к лицу вид святой. забитой жены, потому — во-первых — что ты зла, и не считаешь даже нужным скрывать это.

Женщина, молча же, обернулась к нему, и когда он пустил свет, то увидел, что стоявшая была вовсе не Лелечкой, а его сестрой, Ираидой Львовной.

— Ираида! Как ты сюда попала?

Но та ответила вопросом же:

— Ты всегда так разговариваешь с женой? Тогда я не удивляюсь, что она меня выписала... Я подумала сначала, что это пустяки и бредни, но теперь вижу, что тут есть что-то похожее на правду.

— Этого еще не доставало! путать тебя, устраивать какое-то семейное судилище... Фу, и как ты могла повсрить! Если бы ты знала, как я теперь спокоен, как я возвышенно устроен!

— Что-то незаметно... но что об этом? мы поговорим после... ты не сердись на свою жену, я приехала не только для вас и притом всего на три дня. Лелечка уедет со мной, может быть, без нее ты настроишься еще возвышеннее и тогда уже приедешь к нам.

— Если б вы поехали через неделю, я бы поехал с вами.

— Значит, Зоя Михайловна уезжает через неделю? что ж, мы можем подождать... Я слышала куда только Лелечку, так что не могу куда судить, но ведь даже, если она более права, чем ты, то ведь люблю-то я все-таки больше тебя...

Помолчав, Леонид Львович спросил: — а по какому делу ты еще сюда приехала?

— Да по делу не менее неприятному, чем ваше... меня беспокоит Орест Германович... по там я репнительно ни знаю, насколько я могу быть полезна. Для вас, конечно, совершенно достаточны практически и психологически благоразумные выводы, а там, вероятно, требуется чего-нибудь побольше.

— А знаешь, ты тоже как-то изменилась... ты сама стала менее спокойной.

— Избави Боже! Спокойствие теперь пужнее всего. Хорошо еще, что Полины здесь нет.

ГЛАВА 7.

Если Ираида Львовна о затруднительном и печальном положении Елены Александровны могла знать из ее писем, то ее осведомленность насчет того, что и у Пекарских не все благополучно можно было приписать только некоторому вдохновению, а может быть, это была

простая сообразительность. Еще зимой ей казалось, что там, на Васильевском острове, все идет не совсем так, как, ей казалось, нужно, — потому что, не имея пристрастия Полины Аркадьевны фантазировать на свой фасон о судьбе своих ближних, Иранда Львовна не была тем не менее лишена воображения в этом направлении, она знала, что если с зимы что-нибудь случилось новое у Пекарских, то во всяком случае это могло бы быть такое новое, которое несколько ее не успокоило бы. В такой неопределенной тревоге она и ехала на Васильевский остров, где, несмотря на довольно уже жаркие дни, продолжали жить Пекарские. Орест Германович был дома один и даже сам открыл дверь. Он, казалось, не особенно удивился, увидя Иранду Львовну, хотя это было вовсе не в ее правилах, раз уехавши в деревню, посещать город. Сам он не казался ни расстроеным, ни огорченным, даже слегка пополнел. Только глаза, смотревшие с равнодушной усталостью, могли дать повод подозревать, что не все у него благополучно. Иранда Львовна начала бодро, чтоб не показать опасений, которые ею владели:

— Какой вы стали не любопытный, Орест Германович... даже не спросили, что меня привело в такие дни в Петербург?

— Я всегда рад вас видеть... и отчасти благодарен делам, которые дали мне возможность опять с вами поговорить; ведь, действительно, теперь такие дни, что без дела вы бы сюда не приехали.

— Да и без очень важного дела, прибавьте.

— Ну, что же, расскажите, в чем оно, если это не тайна... хотя, вы сказали правду, что я не любопытен.

— Прежде вы были не только не любопытны, а иногда просто на просто не видели того, что было всем

ясно... теперь, надеюсь, вы убедились, к каким печальным результатам это приводит.

Слегка нахмурившись, Пекарский заметил:

— Я не совсем знаю, на что вы намекаете.

— Будто бы? Ну, полно, полно, не сердитесь... не хотите, так я не буду говорить об этом, хотя, по правде сказать, и рассчитывала поговорить с вами именно о тех вопросах, которых вы так избегаете. Что вы теперь делаете? что пишете? куда едете?

— Представьте себе, что я решительно ничего не пишу.

— Что ж, хорошего в этом мало...

— Не только мало в этом хорошего, но это ужасно... тем более, что такое бездействие очень губительно действует и на душу, и на сознание... Вы меня зимой упрекали, что я мало, или как-то не так, как вы хотите, пишу, приписывали это рассеянному образу жизни и вредному влиянию Лаврика... теперь это влияние уничтожилось и вместе с ним, как это ни странно, всякая жизнь, и рассеянная и не рассеянная... едва ли вы этого хотели, поэтому что вас я знаю к себе доброй.

— Но ведь, это случилось само собой, вы не делали никаких усилий следовать моим советам.

— Внешне это делалось само собою, но когда слишком чего хочешь, то случается иногда, что повидимому самые беспричинные поступки имеют свои причины.

— Вы хотите сказать, Орест Германович, что я причем-то во всей этой истории, что я, может быть, как это говорится, подстроила некоторые факты? уверяю вас, что это не так.

— Я этого совсем не думал и не думаю, но ведь не будете же вы отрицать, что все случившееся вам приятно, вам на руку?

— Не отойдешь... я люблю, когда все определенно и делается на чистоту, но главным моим желанием было, чтобы вам было хорошо.

— И вот вы видите, к чему все это привело.

— Разве все так плохо?

— Хуже не может быть.

— Орест Германович! ведь это неприятность, горе, если хотите, очень временное!

— Я не хочу и временных страданий.

— Но иногда они необходимы, чтоб потом было лучше... вы, право, будто маленький... будьте же сильны и таким, каким вы должны быть!

Так как Орест Германович молчал, то Ираида Львовна сама продолжала:

— Конечно, я была не права, слишком близко принимая к сердцу чужие чувства, вмешиваясь в то, что меня не касалось, но я сама бы не стала делать, если б вокруг меня постоянно не говорили об этом.

— Ах Боже мой! да неужели мы будем еще обращать внимание на то, что говорят.

— Но ведь это невыносимо, когда про самого дорогого вам человека говорят всякую дрянь.

— Ираида Львовна! а разве вы сами так не поступали?.. теперь вы сознаете, что это невыносимо...

— Тогда я желала вам добра.

— Может быть, все эти сплетники, которых вы считали невыносимыми, тоже желали вам добра! притом, нет более ненавистного человека как тот, который открывает вам глаза на то, что вы видеть не хотите...

— Я не знала, что вы придаете этому такое значение...

— Мне кажется, наоборот, что вы этому придаете слишком большое значение... есть вещи средние, у ко-

торых опасно отнимать их значительность, но которым еще опаснее придавать большую, чем они имеют, и по моему как раз это — область чувств.

— Но ведь вы же сами сказали, что вы страдаете... разве это не имеет значения?

— Очень мало. Я именно потому и злюсь на эти неприятности, что как бы они ни были в сущности незначительны, они все-таки берут силы, необходимые для настоящих испытаний.

— Может быть, причина этой неожиданной философии заключается именно в том, что вы расстроены?

— Может быть, но не думаю. По моему, я говорю справедливо.

— Я не могу видеть, чтоб вы даже так страдали... теперь я понимаю, как я была не права... в сущности, все это такой вздор, или нет, не вздор, но так внешне. так мало имеет влияния на нашу настоящую жизнь. что нужно очень сидеть самой в этом вздоре, чтобы указывать какие-то выходы в этом отношении другим людям. Теперь единственное мое желание чтобы все стало прежнему, когда вы считали себя счастливым.

Помолчав, она спросила?

— Ваш племянник продолжает жить с вами?

— Считается, что он живет на этой же квартире, но его почти никогда нет, и последнюю неделю он даже не ночевал дома.

— Он придет... он придет... все будет даже лучше прежнего... он вернется, я так хочу.

Как-будто в подтверждение слов Ираиды Львовны в поредней раздался звонок. Оба разговаривавшие замолчали и остались на своих местах, покуда не раздался второй звонок, легкий стук отворяемой двери, и на поро-

ге гостинной показался Лаврик в шляпе и с пальто на руках. Осгатовившись на пороге, он тоже молчал. Наконец, видя, что к нему никто не обращается с речью, тихо произнес:

— Я очень виноват, Орест Германович...

Поспешно, будто желая не дать договорить, старший Целарский ответил: — да, Лаврик, я уже начинал беспокоиться... хотел подавать объявление в полицию. Нельзя же так пропадать, не предупредивши.

Но спокойный и веселый тон ему не удавался, и он тоже как-то пресекался.

-- Я очень виноват, Орест Германович... — настойчиво повторил Лаврик.

На этот раз дядя ничего не ответил, так что Лаврик, не двигаясь от двери, повторил еще третий раз:

— Я очень виноват, Орест Германович, но уверяю вас, я стал совсем другой...

— Я вам верю, но месяц тому назад, вы тоже делались совсем другой.

— Вы оба говорите совсем не то, что нужно... т. е. вы говорите то, что нужно, не так как следует... Раз вы сделались другим, не напоминайте о том, что вы были виноваты, Лаврик, а вы, Орест Германович, проще верьте... если ж вы ему по молодости лет не верите, то верьте мне... Я вам за него ручаюсь.

— Вы? — спросил удивленно Лаврик, все еще не двигаясь с места.

— Да, я, я! не смотрите на меня так, будто мы с дуны свалились... теперь что же скрывать? признаюсь— я вас не очень то долюбивала... я ошибалась. Теперь, может быть, вы изменились к лучшему, а если не изменились, то изменитесь, потому что об этом позабочусь я... не забудьте, что я за вас ручаюсь, а я на ветер го-

ворить не люблю... Раз я за что берусь, то и сделаю... и я вас сохраню.

— Вы сделаете это опять-таки из любви к Оресту Германовичу?

С совершенно неожиданным для себя самым жаром Ираида Львовна воскликнула:

— Искоренить, сейчас же искоренить всякий гонор и самолюбие! место ли им здесь? и вам ли об этом говорить? и потомъ, если хотите, я это делаю также и для вас. Не стойте, как пень, и раз вы изменились, то и поступайте как измененный человек: идите к Оресту Германовичу, поцелуйтесь с ним и скажите, как следует, то же самое, что вы бормотали со своего порога...

Она взяла Лаврика за руку и подвела к хозяину, остававшемуся на прежнем месте, и с видимым удовольствием наблюдала, как Лаврик, поцеловавшись, снова повторил:

— Я очень виноват, Орест Германович, но я стал совсем другой.

Но теперь он это говорил, уже почти счастливо улыбаясь, как выздоравливающий.

— Ну, и слава Богу! не будем больше говорить об этом, — ответил Орест Германович, тоже как-то по-светлев.

— Я теперь пойду... дел еще много, а мне в вашем Петербурге сидеть не очень хочется.

Когда Пекарский вышел провожать Ираиду Львовну, он тихо спросил:

— Вы ручались за Лаврика, Ираида Львовна, а кто же будет за меня порукой?

— За себя уж ручайтесь вы сами перед Господом Богом... я тут не при чем.

ГЛАВА 8.

Через неделю, повидимому, г-жа Лилиенфельд отбыла во Флоренцию, потому что Леонид Львович, предупредив накануне своих дам, что на следующий день будет к их услугам, действительно, вернувшись поздно вечером, объявил, что он готов ехать хоть сейчас. Обе женщины зорко на него взглянули, как бы желая знать состояние его духа после отъезда Зои Михайловны. Но лицо Царевского было спокойно и не выражало особой тревоги. Говорил он также не убито, не слишком развязно, что несомненно доказывало бы известное расстройство, а совсем просто, обыкновенным манером, так что Ираида Львовна даже подумала про себя, что, может быть, ее брат был не так далек от истины, когда толковал о возвышенном устройстве, что прежде она была склонна считать влюбленной фанфаронадой. Неизвестно, заметил ли Леонид Львович обостренную наблюдательность жены и сестры; во всяком случае вида не подал, а продолжал рассуждать совершенно спокойно о завтрашнем отъезде. Вещи у него оказались уже сложенными. Во всяком случае Ираиде Львовне гораздо больше доставила беспокойства Елена Александровна, чем ее муж. И не только потому, что с первой она проводила все время, меж тем, как второго никогда не было дома, но также и оттого, что неожиданно открытая слабость Леонида Львовича была определена и причины ее были достаточно известны; к тому же, в последнее время она даже перешла в какое-то спокойствие, также довольно неожиданное. Состояние же Елены Александровны представляло ту опасность, что она как-то сама не знала, о чем расстраивалась и чего хотела. Когда Леонид Львович удалился уже к себе в комнату, а Ира-

ида Львовна осталась немножко помочь Елене Александровне укладывать вещи, чтобы завтра утром не слишком торопиться, она заметила мельком:

— Вероятно дня через два, самое большое, через неделю, ко мне придут и Пекарские...

— Это очень неприятно! — ответила Лелечка, слегка хмурясь. С удивлением взглянув на Лелечку, Ираида Львовна спросила:

— Почему же это неприятно?.. у них теперь полное согласие, никаких сложностей, надеюсь, не предвидится, так что они, наверное, окажутся самыми удобными сожителями... и потом, знаешь, когда люди ссорились и только что помирились, они всегда как-то больше всегда заняты друг другом, так что, или они будут обращать на нас очень мало внимания, или будут компаньонами очень милыми и покладистыми.

Елена Александровна двинула плечами и недовольно проговорила:

— Если у них там такое благорастворение воздушных, мне тем более будет неприятно их присутствие.

Ираида Львовна подумала немного и начала с большей мягкостью:

— Конечно, если у себя не все в порядке, так неприятно видеть чужое благополучие, но ведь это чувство довольно низкое... Скорей нужно бы, чтоб хорошие примеры других нас побуждали им следовать, а никак не завидовать. Как ни говори, а все-таки это — зависть.

Елена Александровна слегка рассмеялась и проговорила:

— Действительно, есть чему завидовать!

— Отчего же и не завидовать? Я уверена, что жизнь их обоих пойдет теперь очень хорошо. Но я нахожу, что ты преувеличиваешь в дурную сторону положение своих

собственных дел. Ты слишком мрачно смотришь... посмотри, как Леонид спокоен, а теперь, когда та, другая, уехала, будет еще лучше...

— Знаете что, Ираида Львовна, что меня несколько не страшит и не беспокоит мое положение... Тем более меня несколько не интересует семейная жизнь Пекарских... Мне просто будет неприятно встречаться с этим мальчишкой... Я была с ним несколько дружна сначала, но потом увидела, какой это хулиган и дрянной человек... и потом, у него адское самомнение... Он обиделся, что я несколько отдалилась от него, и стал говорить разные глупости, не только глупости, но прямо гадости...

— Что ж, ты от самого его это слышала? потому что, если тебе это передавали другие, то нельзя всем верить... Я сама вот так поверила всяким слухам и не только очутилась в дурацком положении, но чуть не наделала действительного вреда...

— Да ведь вы, кажется, сами были свидетельницей, какую безобразную сцену закатил он тогда у нас...

— Ну, да уж признаться, тогда все были хороши... вы все тогда были будто пьяны от ваших историй, а теперь, как я присмотрелась, такое поведение совсем было не похоже на Лаврика, т-е. на настоящего Лаврика..

— Вы думаете? — прищутив глаза, спросила Лелечка — ну, вот увидим, как будет вести себя ваш обновленный Лаврик.

— Если б я не была в тебе так уверена, Лелечка, я бы подумала, что все-таки у тебя остался не то какой-то зуб, не то сердечное влечение к этому молодому человеку, который, по твоим словам, так тебе неприятен.

— Смотрите, Ираида Львовна, не натолкните меня сами на что-нибудь такое, что уже вам будет не особен-

но приятно, — с некоторым вызовом произнесла Елена Александровна.

— Господь с тобой, Лелечка! на что я тебя наталкиваю?

— На глупости...

— Глупостей, поверь, у тебя своих достаточно, а поговорим лучше серьезно. Ведь тебе же было отлично известно, что Пекарские будут гостить у нас, так ты бы должна была раньше об этом подумать и предупредить меня, а то что же я теперь буду делать? Не могло же мне придти в голову, что за эти три недели Лаврик делается тебе так неприятен, что ты даже не будешь в состоянии жить с ним под одной крышей. Или, может быть... — Иранда Львовна замолчала.

— Что, может быть? — переспросила Лелечка: — начали, так уж докапчивайте...

Казалось, реплика Елены Александровны чем-то подтвердила мысль Иранды Львовны, потому что она продолжала не особенно доброжелательно:

— Или может быть, эти слухи и басни о твоём романе с Лавриком имеют основание, и ты, просто-на-просто, теперь избегаешь с ним встречи?.. тогда, конечно, все становится совершенно ясным, и при таких отношениях, конечно, достаточно трех недель, чтобы все стало вверх ногами, и чтобы тот, к которому мы вчера стремились всей душой, сегодня сделался нам невыносим. Особенно, при твоём характере.

Елена Александровна не смутилась, а наоборот, как будто подбодрилась, видя, что разговор принимает характер некоторой пикировки.

— А вот представьте себе, именно при моем характере ничего подобного не случилось. Меня столько же

интересует ваш молодой человек, как прошлогодний снег.

— Знаешь что, Лелечка? ты эти фасоны и пикировки со мною брось, потому что я совсем не для того затеяла с тобой разговор. Я у тебя даже ничего не спрашивала, а просто мне практически хотелось устроить, чтобы всем было хорошо и удобно у меня, потому я тебя и спросила — как могло случиться, что отлично зная две недели тому назад, что Пекарские будут у меня, ты соглашалась ехать, а теперь становишься на дыбы? Не только, как твоя родственница, или твой друг, но просто, как хозяйка дома, я должна об этом позаботиться. Но я думаю, что все обойдется благополучно. Если для тебя, как ты говоришь, Лаврик — все равно, что прошлогодний снег, то ты-то для него, повидимому, представляешь еще меньше интереса.

— Вы думаете? — спросила Лелечка.

— Полагаю.

— А, может быть, вы ошибаетесь?

— Конечно, могу и ошибаться, но мне кажется, что нет.

— Что же, он сам вам это говорил? ведь вы, кажется, были у них?

— Если бы он сам мне говорил, тогда бы, пожалуй, у меня было меньше уверенности.

— Что же, вы, как называется, чувствуете, что он стал ко мне равнодушен?

— Да, если хочешь, чувствую. И именно почему-то я думаю, что не ошибаюсь.

Елена Александровна походила по комнате и вдруг ни с того, ни с сего спросила:

— А Дмитрий Алексеевич Лаврентьев будет этот год жить в своем имени, вы не знаете?

— Не знаю, вероятно, будет . . . еще не приехал.

Помолчав некоторое время, Елена Александровна добавила беззаботно и как бы небрежно:

— Относительно Лаврика все, конечно, вздор. Мне решительно все равно, будет он у вас, или нет; всегда от самой себя зависит поставить себя так, как хочешь. Я вас уверяю, что никакой неприятности не произойдет, которая вам, как хозяйке, могла бы быть нежелательна...

Иранда Львовна зорко посмотрела на молодую женщину и добавила тихо:

— Об одном прощу тебя, не заводи нарочно каких-нибудь историй; достаточно тех, которые приходят сами.

— Зачем же я буду их заводить? что же, вы меня считаете за Полину Аркадьевну?

— Избави Боже! за Полину Аркадьевну я тебя не считаю, но какие-то общие зайчики у вас бегают в голове.

— У всякого есть свой заяц в голове, — ответила Елена Александровна, как-будто для того, чтобы в этом разговоре последнее слово осталось за ней и вышла из комнаты.

ГЛАВА 9.

Обыкновенно про неприятные события говорится, что они не ходят в одиночку, а всегда целой компанией, так что на этом предмете составлена даже поговорка: «Пришла беда, отворяй ворота», но иногда и безразличные явления валятся как-то целой кучей. Так например, не поспела Иранда с Царевскими приехать в «Затоны», как на следующий день туда же перебралась Пекарские, через два дня в окрестностях объявился Дмитрий Лаврентьев, а еще дня через три сельская бричка привезла на

смоленские холмы высокого иностранца, в котором все без труда узнали бы мистера Стока, — так что для комплекта не хватало только Зои Михайловны, Полиных мальчишек, да хулигана Кольки, Лелечкиного брата. Последний вообще куда-то провалился и об нем не было ни слуху, ни духу. Недостающих персонажей, конечно, могло заменить семейство Полаузовых, отдельные члены которого при том уже успели завязать некоторые сношения, если не со всеми нашими героями, то во всяком случае с Полиной Аркадьевной, как дамой наиболее доступной. Впрочем, о приезде Дмитрия Алексеевича, равно как и мистера Стока, никто из обитателей Затопов еще не знал, так что для них было до некоторой степени новостью, когда однажды, сидя всем обществом на террасе у Полаузовых и видя подъезжавшего хозяина, они на вопрос: «где он пропал?» получили ответ, что он был у г. Лаврентьева. Иранда Львовна переглянулась с братом, а Полина воскликнула:

— Дмитрия Алексеевича?

— Так точно,—отвечал Полаузов, сдерживая лошадь.

— Да разве вы с ним знакомы?

— Особенного знакомства не водим; я ездил по делам...

— Вот интересно-то!

— Вы уж слишком многим интересуетесь, Полина Аркадьевна!

— Ну, так что же, нельзя же быть всем философами. Я сама сознаюсь, что, может быть, я слишком отзывчива. Но я вовсе не считаю это недостатком.

— Помилуйте, Полина Аркадьевна, при чем же тут ваша отзывчивость? — сказала Соня.

— По моему, просто Панкратий Семенович завидует и ревнует, что кроме него у нас появится еще кавалер.

Ведь до сих пор у нас был прямо женский монастырь, так что Панкратий Семенович с успехом мог цитировать русскую песню: «восемь девок один я». А теперь вам нужно немного посбавить спеси, у нас домашних трое мужчин, да еще каких: молодец к молодцу! — и Полина Аркадьевна указала рукой на Леонида Львовича и Перкарских.

Она говорила беззаботно и даже кокетливо, вдруг почему-то найдя, что в деревне, особенно с Полазузовыми, такой тон — самый подходящий. Конечно, она часто сбивалась с этого тона и начинала нести самый городской вздор о том, что она лесная сказка, но уж и то, что она додумалась, что каждому месту свойственно подходящее обращение, нельзя было не счесть за известный прогресс. К прогрессу нужно было отнести и то обстоятельство, что Полина Аркадьевна иногда бывала обута, а именно — свое босоножие она ограничила только домом и домашним садом, а на более далекие расстояния надевала легкие сандалии. Елена Александровна действительно сдержала свое слово, никаких историй с Лавриком не заводила, даже мало с ним разговаривала, что делать было тем удобнее, что Лаврик все время проводил или со своим дядей, или готовясь к экзаменам, которые он решил держать осенью. Иранда Львовна как будто успокоилась на этот счет, придавая внешней ровности Елены Александровны, может быть, большее значение, чем следовало бы. Конечно, от более наблюдательного человека не ускользнула бы какая-то недовольная тревога в Лелечкином обращении, а также та подробность, что с новым приливом сердечности она предалась дружбе с Полиной Аркадьевной и непрерывным пушуканьям с нею, что делать было тем удобнее, что обеим дамам отвели одну комнату по их собственному

желанию. Остальные гости сохраняли несколько подозрительное спокойствие. Елена Александровна Полаузовых видела не в первый раз и держалась больше Софии Семеновны, не затевая никакого кокетства или флирта с ее братом. Соня же Полаузова была с ней, как со всем чуждым, холодно-равно и спокойно-радушна, не аффектируя никакой особенной дружбы. Увидя, что завязался общий разговор, Елена Александровна взяла Полину под руку и незаметно вышла в сад, где трава блестела желтою зеленью после недавнего дождя.

— Полина! он приехал... как-то я с ним встречу?

— Разве ты думаешь, что вам придется встретиться?

— Конечно, думаю... как же иначе?

— Но ведь в Петербурге же вы не встречались?

— Нет. Но ведь я должна с ним объясниться!

— Конечно, конечно... притом, в деревне это так не трудно сделать.

Лелечка остановилась, вздохнула, и, положив руку на Полино плечо, заговорила:

— Милая Полина! Теперь я могу признаться, что прежде я не верила, что ты меня понимаешь, считала это одними словами, но теперь, действительно, вижу, что никто, как ты, меня не поймет. И вот я тебе скажу, что эти несколько недель, последние, что я провела в городе, были так убийственно пусты, что мне показались за год. Будто целый год я никого не видала, ничего не чувствовала, не жила... Мне кажется, — еще несколько дней, и я бы не выдержала! И сегодня это известие о том, что Лаврентьев приехал, о том, что он здесь, на меня подействовало, как звук трубы, как новое обещание жизни.. Пускай полной огорчений, полной страданий, но все-таки — жизни!

— Да, мы должны жить! Мы должны испытывать радость, горе и всегда, всегда любить! — восторженно подтвердила ей Полина.

Елена Александровна смотрела за мокрую лужайку, где по другой дорожке быстро шли Пекарские и Панкратий, а Полина Аркадьевна, думая, что уже прошло достаточно времени для восторженной паузы после ее афоризма, продолжала совсем другим тоном:

— Ну, а как же у тебя обстоит дело с Лавриком? ты мне что-то об этом ничего не говорила.

Медленно и презрительно улыбнувшись, будто возвращенная от сладких мечтаний к жалкой действительности, Елена Александровна отвечала:

— Ах, с Лавриком! Ну, это довольно глупая история! Она была отчасти затеяна для Лаврентьева. Знаешь, чтобы чувство не засыпало, всегда не очень полезно, когда все катится по слишком укатанной дороге.

— Милая Лелечка, не лукавь! во-первых, по-моему ты заинтересовалась Лавриком раньше, чем познакомилась с Лаврентьевым, а во-вторых, это могло бы быть очень поэтично, потому что, когда ты пробуждаешь в человеке первую страсть, первую любовь, это делает и твое собственное чувство как-то более юным.

— Я совсем не считаю себя старухой, — недовольно отозвалась Елена Александровна.

— Конечно, конечно! — поспешно согласилась другая, — я не хотела этого сказать, но меня лично всегда страшно интересуют такие мальчики. И знаешь что? я даже предпочитаю таких, которые несколько боятся женщин... Это бывает очень остро! У меня бывали случаи с самыми закоренелыми и никто не мог устоять... это очень интересно! Всех избегает, всех не признает, а ты чуть моргнула глазом — и он у твоих ног. Может быть,

мне помогала в этом моя фигура. Иногда их смущают слишком ярко выраженные женские формы.

Полина Аркадьевна лукаво задумалась, вероятно, о своей фигуре, но если она и не обладала роскошным бюстом, то тем не менее, очевидно, заблуждалась относительно яркой выраженности женских форм, потому что, одень ее хотя бы в жокейский костюм, никто бы не преминул при самом беглом взгляде признать в ней заправскую женщину. Елена Александровна, казалось, думала совсем о другом, потому что довольно равнодушно ответствовала!

— Конечно, ты, может быть, и права.

Не заметив равнодушия своей слушательницы, Полина с жаром продолжала:

— Да не «может быть», я безусловно права и повторяю — это бывает очень остро... Что касается меня — я больше всего люблю первые шаги... это смущение, эти совершенно различные подходы, эта игра, именно, игра, — меня пьянит, как шампанское. Знаешь, как у одной поэтессы говорится: люблю я не любовь — люблю влюбленность.

— Но ведь Лаврик ничего не умеет, — улыбаясь заметила Лелечка.

Полина даже соскочила со скамейки, на которой они сидели и возбужденно воскликнула:

— Ну, уж этому я ни за что не поверю! Как это так «ничего не умеет?»

— Да так... очень просто. Он даже говорить не умеет о любви!

— Ну, уж, это, действительно, — невероятная гадость! Но все-таки как-то не верится.

— Что такое? — нахмурясь, спросила Лелечка.

— Ну, да! не умела пробудить в его сердце всю ту музыку, нежную и сладкую, которая зовется влюбленностью.

— Не знаю. По моему он невоспитанный и бесчувственный мальчишка, который о себе Бог знает что думает и притом все время рассуждает... Да, вот ты говоришь, что тебя такие субъекты интересуют, — вот и займись им, благо тебя твоя фигура делает неотразимой.

— А тебе он теперь совсем не нужен?

— Признаться, особенной надобности не имею.

— Это не размолвка, надеюсь?

— Между кем?

— Ну между нами.

— Как тебе может приходиться в голову такой вздор! Я теперь стала совсем другой и мне не до того, чтобы ссориться с тобою из-за каких-то Лавриков. Мне уж достаточно напортило мое легкомыслие. Но теперь я одумалась и создам себе жизнь прекрасную, полную страсти и радости. Я тебе ручаюсь в этом.

И Лелечка даже протянула руку к тонкому месяцу, который только что повис над задымившейся поляной. Полина Аркадьевна вдруг сделалась очень серьезной, сорвала былинку и медленно стала ее перекусывать, приняв грациозно задумчивую позу. Но неизвестно, произошла ли эта перемена вследствие торжественности Лелечкиной клятвы, или оттого, что в нескольких шагах от них, из-за поворота дорожки, показались оба Печкарские и Панкратий Полаузов.

ГЛАВА 10.

Полина Аркадьевна несколько ошиблась в расчетах, думая, что с приездом гостей жизнь в «Затонах» очень изменится. Конечно, было больше народу, можно было разнообразить собеседников, притом Лелечка как-то больше чем прежде делала ее, Полнну, своей поверенной, но все вновь прибывшие старые знакомцы были слишком определенно устроены, насколько они могли быть определенны и устроены, чтобы это пришло по вкусу утомившейся покоем Полины.

Хотя она и не одобряла, но до некоторой степени могла понять выясненность положения Пекарских, но она никак не могла взять в толк, почему у Царевских настала какая-то мертвая точка. Относительно Лаврентьева она ничего не знала и даже не гадала, в какую сторону можно строить предположения. О приезде Андрея Стока Полина Аркадьевна не имела никакого представления, равно как и остальные деревенские жители. У нее, как у пьяницы, сосало под ложечкой, почему никто не расстраивается, не тормозится, не объясняется, — вообще, никак себя не проявляет, так что ей осталось только последовать совету французского философа и создать самой волнения, если их нет. Она думала, что флирт с Лавриком будет достоверным толчком, чтоб завелись хотя какие-нибудь переживания, тем более, что она не без основания предполагала, что, как всякие явления, и эта затея будет иметь рикошетные отзвуки в других персонажах, с одной стороны через Ореста Германовича на Ираиду, с другой стороны через Елену Александровну на ее мужа, а, может быть, даже в лучшем случае на Лаврентьева и Лилиенфельд. Нельзя сказать, чтобы Полина Аркадьевна бы-

ла совершенно лишена психологического предвидения, хотя и впадала в общую многим ошибку — меряя всех на свой аршин и предполагая, что и все, подобно ей, томится миром, вооруженным или невооруженным, и только того и ждут, чтобы оживиться в катастрофической атмосфере. Поэтому вполне понятно и естественно то ррение, с которым Полина Аркадьевна принялась за свое предприятие, привлекательность которого увеличивалась тем, что ничто явственно не указывало на его целесообразность, так что и первые шаги, и случай, и судьбу нужно было изображать самой Полине. Впрочем, первые шаги изобразить никогда не трудно, а при умении это можно сделать так искусно, что всегда может сойти за случай; от случая до судьбы рукой подать, а уж когда замешана судьба, тут не нужно большой ловкости, чтоб вывести какие угодно роковые целесообразности. Итак, она села в приличную позу и задумчиво грызла былинку, когда из-за поворота аллеи показались оба Пекарские и Панкратий.

— Мы отчасти вас искали, — сказал Орест Германович, — Ираида Львовна почему-то решила сегодня поспеть домой засветло, и лошади уже запряжены.

— Я знала, что Ираида торопится, я только не думала, что так поздно... мы тут несколько разговорились с Полиной Аркадьевной и не заметили, как пролетело время, — проговорила Лелечка, еще не совсем оправившаяся от волнения.

— А вы разве не собираетесь ехать? — обратился Лаврик к Полине, когда все тронулись с места, а она продолжала сидеть и терзать свою былинку.

— А? что? — будто разбуженная спрашивала Полина, — ехать? да, конечно! Дайте мне вапу руку... я очень устала сегодня.

Первая тройка была уже шагах в двадцати от них, Полина медленно слезла со скамейки и, опершись на Лаврикову руку, повторила:

— Я очень устала сегодня.

Не получив и на этот раз ожидаемого вопроса, она начала разбито и печально:

— Как хорош молодой месяц... и каждые четыре недели он так же неизбежно хорош... это ужасно — неизбежность! В чем же тогда смысл, тогда что ж такое? есть только минуты, когда рвешь, как цветы, прекрасные, острые, смелые минуты... и без любви все мертво...

Видя, что Лаврик ничего не отвечает, а только ускорила шаги, Полина Аркадьевна продолжала уже более просто:

— Вы знаете, Лаврик, что Дмитрий Алексеевич приехал?

— Да, я слышал.

— Ну, и как же вы?

— Т.-е. что, как же я?

— Как вы к этому относитесь?

— Да я думаю, как и все другие — никак. Приехал, так приехал. И потом, я думаю, что от моего отношения к этому факту ничего-бы существенно не изменилось. Зачем же я буду утруждать себя бесполезными отношениями? у меня слишком мало времени на это.

— Вы рассуждаете, Лаврик, как старик, и мне кажется, что вы повторяете чужие слова.

— Может быть, я не знаю... Я говорю то, что думаю и то, что считаю правильным, а что эти слова говорились до меня, мне до этого нет дела. Я вовсе не претендую на непрестанное новаторство. Раз эти рассуждения верны и хороши, мне все равно, стары они, или новы.

— Слова, слова и слова! да, вы считаете их справедливыми, но сами думаете не так. Вы не можете так думать! Слышите: не можете! Вы слишком для этого молоды и красивы!

— Что же, вы лучше меня знаете, что я думаю?

— Лучше.

— Тогда незачем меня и спрашивать, что я думаю, раз вы сами знаете!..

— Да, я знаю, что все это влияние Ираиды Львовны, и что вы совсем не такой, и что ваши экзамены там, это все вздор, и что приезд Лаврентьева не может быть вам безразличен, потому-что это имеет непосредственное касательство до Елены Александровны, а это вам не все равно. Вот видите, какая я угадчица...

— Да, уж вы меня так разгадали, что я сам себя не узнаю.

— И это все вздор! отлично себя узнаете, а не хотите сознаться из-за мальчишеской гордости; и совершенно напрасно, потому что вам со мною стесняться решительно нечего, потому что я вас понимаю, может быть, лучше чем кто-бы то ни было здесь, и вы мне очень не нравитесь, особенно, когда вы изображаете какого-то седоволосого философа. Я удивляюсь, как вам самим не скучно!

— А что должно было-бы мне наскучить?

Полина Аркадьевна вдруг остановилась и, подняв юбку выше колена, стала отыскивать репейник, который туда вовсе не попадал.

— Что должно было вам наскучить? — переспросила она, не подымая головы.

— Да! — ответил Лаврик, ожидая пока Полина поправится.

— Вы сами это отлично знаете! — сказала она, выпрямляясь.

— Нет, я что-то не знаю.

— Да вот так рассуждать и так вести себя, как вы теперь.

— А как же я себя веду!

— Как! Стараетесь сделать вид, что вы то, чем вы на самом деле не хотите и не можете быть.

— Какие-то шарады!

— Да шарады, — ответила Полина Аркадьевна и прекратила разговор, потому что они уже подходили к террасе. На ступеньках лестницы она несколько задержалась и проговорила как-бы про себя: — Шарады! шарады! а что в мире не шарады? Этот лес, и месяц, и небо, и сердце человеческое... а главное — чувства людей.

— Что это вы декламируете, милая Полина Аркадьевна, — спросила громко Ираида Львовна, бывшая уже в шляпе и в манто от пыли.

— Так... вспоминаю одно стихотворение...

— Ну, вы его вспомните по дороге, а теперь скорей одеваться, я боюсь, что скоро стемнеет.

— А мой совет, — сказал Панкратий, — и по дороге этим делом не заниматься, потому что, судя по началу, это стихотворение ничего доброго не обещает. Какая-то ни к чему не обязывающая загадочная ерунда.

Полина ничего не ответила, а наскоро простившись с хозяевами, стала усаживаться в бричку рядом с Ираидой Львовной.

В общей суматохе, впрочем, она успела пожать руку Лаврику и шепнуть:

— Помните, Лаврик...

А что он должен был помнить, так и осталось неизвестным, как Лаврику, так, вероятно, и самой Полине Аркадьевне.

Как ни была расстроена Елена Александровна, от ее взгляда не ускользнул отдельный разговор Полины с Лавриком, потому отходя ко сну, она обратилась к ней с вопросом:

— А ты уж, кажется, принялась осуществлять свой план?

— Какой план?

— Да насчет Лаврика.

— Ах, это? это да.

— Ну, и что-же, успешно было начало?

— Не знаю, как тебе сказать... Я все-таки предпочитаю начинать в комнатах. Да в сущности, я ничего и не предпринимала... Я совершенно просто и искренно беседовала. Он не очень глупый.

Несколько помедлив, Лелечка заметила:

— В таком возрасте все глупы достаточно и, по-моему, путь искренности здесь наиболее неудачный.

— Он, по-моему, теперь набрался каких-то скучных, прескучных слов, но ведь стоит на него посмотреть, чтобы понять, что эти слова сами по себе, а он — сам по себе, в роде перца, который поставлен на стол, а не положен в кушанья... Относительно искренности, я думаю, ты ошибаешься; она всегда производит впечатление. Притом это недостаток, конечно, но я и не могу быть иной.

— Ах, Полина, Полина! как-бы вместо веселой игры у тебя самой не пробудились какие-нибудь чувства.

— Ну, так что-же! тем игра будет веселей.

— Веселее-ли? — спросила Лелечка, продолжая разговаривать.

— Безусловно, — живо подхватила Полина и с улыбкой добавила: — Меня еще одно обстоятельство очень радует.

— Какое-же это обстоятельство?

— А то, что у нашей милой Елены Александровны тоже пробуждается чувство.

— У меня? — спросила Лелечка с удивлением: — Какое-же?

— Чувство ревности; — отвечала Полина, ловко вскакивая на кровать.

— Чувство ревности? — переспросила Елена Александровна; — ну, ты, Полина, кажется, совсем зафантазирова-лась!

— Зафантазирова-лась-ли я, или не зафантазирова-лась, а только «собака на сене» в каждом из нас сидит и даже очень: и себе не надо, и другим не дам.

— Да, может быть, это и правда, но в данном случае ты совершенно бредишь... какое мне дело до тебя, скажи на милость?

— А зачем же ты сердиться?

— Я и не думаю сердиться, откуда ты взяла?

— Ну, не сердиться, так волнуешься... да ты не беспокойся: лучше быть собакой на сене, чем бесчувственной деревяшкой, от этого будет еще веселее игра!.. а ведь что-ж наша жизнь, как не игра?

— Ну, и прекрасно! Ну, я — собака на сене, и к тебе ревную и наша жизнь игра... а теперь давай спать, — и Елена Александровна задула свечу.

ГЛАВА 11.

Елена Александровна с негодованием отвергла предложение Полины, что она может ревновать Лаврика, но, конечно, чувство собаки на сене у ней было, и совершенно неожиданно обнаружилось. Так-же было совершенно справедливо, что это ее несколько оживило, во первых, давши ей повод сделаться более внимательной наблюдательницей, во-вторых, слегка царапая самое живучее из женских чувств, самолюбие. Может быть, это оживление имело и другую причину, а именно — известие о приезде Лаврентьева, потому что, если сильная страсть, сильное чувство заглушает в нас все другие, то чувства средние наоборот их обостряют, отчего люди, слегка влюбленные, всегда делаются еще более приятными для окружающих, а страстные маниаки или совершенно исчезают для своих друзей или делаются соседями пренесносными. Чувство же Лелечки к Лаврентьеву было, конечно, очень средним, и опять-таки более всего напоминало чувство собаки на сене. Но как-бы там ни было, оживление, столь желанное для Полины Аркадьевны, началось. Сердился Лаврик, сердилась Елена Александровна, нервничал Орест Германович, затревожилась Ираида и даже Леонид Львович стал ощущать какое-то беспокойство, а Полина Аркадьевна егозила, ликовала и расцветала, потому что начиналось то, что она звала жизнью. Лаврик сердился больше всего на то, что Полина Аркадьевна самым простым и конкретным образом ему мешала и надоедала. Расположится-ли он у окна с книгами, как в окно уж летит букет какой-то дряни, а низкий голос Полины Аркадьевны из сада декламирует: «Я пришла к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало». — Уйдет-ли к себе

в комнату спать — та-же Полина стучится к нему за спичками; на прогулках она всегда уставала, так что ее приходилось вести под руку, на гигантских шагах ее нужно было «заносить», по пруду надо было катать, за грибами ходить с одной корзинкой, так что только и оставалось уходить на целый день в лес. Но самое тягостное было, это разговор по душе: какой он и какая она, и какие они, и как все есть на самом деле, и как все должно-бы быть, и всегда все сводилось к невероятному и пустому вздору. Можно было-бы удивиться, конечно, что Полина Аркадьевна прибегала к такому примитивному кокетству, забыв о леопардовых шкурах, но, как я уже сказывал, она полагала, что в деревне нужно вести себя как-то особенно, по деревенски. И почему-то это деревенское поведение ей представлялось в виде манер присноблаженных вице-губернаторских дочек 80-х годов, которые ходили в мордовских костюмах с хлыстиками в руках и, куря тонкие пахитосы, рассуждали о женской эмансипации в кругу армейских подпоручиков. Вот это-то милое обращение отчасти одобренное бальмонтизмами, далькритизмом, леопардовыми шкурами и острыми настроениями, и положила себе Полина Аркадьевна, как проспект деревенской жизни. Но, конечно, этот химический состав не был замечен окружающим, и казалось, что Полина Аркадьевна думает, живет и поступает цельно, непосредственно и искренно, на другой вкус — безвкусно и неспосно, но уж это дело вкуса.

Отложив книгу на траву, Лаврик слушал кукушку и думал спокойно, но не очень радостно о своем будущем. Вот он выдержит экзамен, поступит в университет, будет много писать, готовясь к какой-то настоящей и неизвестной жизни, будет ласковым и хорошим,

может быть скоро поедет за-границу. Но сегодня ему как-то легче, чем прежде, все это представлялось лишним интереса, так как оно не было одушевлено никаким чувством; это было устройство, да, но не было никакой цели для этого устройства, оно не было ничем украшено, не было никаких непредвиденных расходов, на которые уходит всегда всего больше денег и без которых труднее обойтись, чем без насущных потребностей.

Жизнь представлялась светлой, ровной, но слегка безрадостной, в роде какого-то ясного, трудолюбивого монастырского житья. Конечно, Лаврик имел понятие о чувстве несколько иное, чем Полпна, но чувствовал необходимость чувственной и чувствительной привязанности.

Вместе с тем, он не мог вспомнить об таких связях без досады и обиды, не позабыв своего романа с Еленой Александровной. Он был уверен найти везде ту-же Лелечку, не более как Лелечку. И неужели без Лелечек-то жизнь и кажется не мила?

Легкое фыркание лошадей прервало нить его размышлений, но когда он вышел на дорогу, деревенская бричка уже проехала, и он мог заметить только спины проезжих.

Один был статский, другой военный, оба одинакового хорошего роста; первый казался человеком средних лет, второй-же по фигуре и посадке едва достигшим полной возмужалости. Они быстро удалялись, громко говоря по английски и не оборачиваясь, так что Лаврик не только не мог догадаться, кто они такие, но даже не успел разглядеть их лиц, хотя статский и показался ему чем-то похожим на мистера Стока. Но откуда-бы он взялся? Положим, эта дорога, кажется, ведет в именно

Лаврентьева, но при деревенском всезнании едва ли бы прошло неизвестным такое событие, как приезд иностранца к кому-либо из соседей. Притом и офицер, который ехал вместе со Стоком, не был в стрелковой форме. Лаврик, посмотрев им вслед, подумал: вот и эти едут, наверное, к невестам, или возлюбленным, или оставили их в Петербурге и пишут им письма каждый день, и их жизнь имеет веселый смысл. Лаврик не успел еще выйти из парка, как увидел одинокую фигуру в светлом летнем платье, которая медленно подвигалась ему навстречу.

Елена Александровна была задумчива, и непривычная серьезность выражалась в крепко-сжатых губах и пристальном взоре. Даже когда Лаврик подошел совсем близко к ней, она его не заметила, так что ему пришлось ее окликнуть.

— Вы не знаете Лаврик, кто это проехал с мистером Стоком?

— А разве это был мистер Сток?.. Я и его не узнал...

— Да, это был он. Но кто это проехал с ним? Такое знакомое лицо, а между тем я его никогда не видала... Такие лица видишь во сне.

— Мне показалось, что это совсем молодой человек...

— Конечно, конечно, Лаврик... Как же могло быть иначе?

— Наверное, какой-нибудь приятель мистера, или знакомый Дмитрия Алексеевича, они, вероятно, ехали в «Озера».

— Вероятно.

— А вы гуляете? По-моему вы очень редко это делаете?

— Да, вот сегодня что-то вздумала. Я увидела, что

к нам приехали Полаузовы, и ушла черным ходом; мне не хочется видеть людей.

— Они очень милые, эти Полаузовы: простые и порядочные, кажется!

— Да, уж слишком порядочные, до скуки.

— Вы сегодня расстроены, Елена Александровна?

— Какие глупости! Что же мне расстраиваться особенно!

— А не особенно, а все-таки расстроены?

— Какой вы, Лаврик, любопытный! Ведь я же, например, вас не спрашиваю, — отчего вы с некоторого времени так часто уединяетесь в лес?

— Вы меня не спрашиваете, потому что вы вообще со мной почти не говорите.

— И вы, конечно, думаете, что я с вами не говорю, потому что на вас сердита, или питаю еще к вам какие-либо чувства? Но вы в этом ошибаетесь, уверяю вас. А не спрашиваю я вас о ваших прогулках, во-первых, потому, что считаю любопытство иногда неделикатным, а во-вторых, потому что я без всяких расспросов знаю причину ваших прогулок: вы прячетесь от Полины Аркадьевны.

— Какой вздор! зачем же мне от нее прятаться?

— Да, вам, по-моему, нет никаких оснований делать это. И даже скажу вам больше, вы этим самым играете ей в руку.

— Разве у Полины Аркадьевны есть какие-нибудь планы?

— У всякого человека есть свои планы.

— А у меня вот нет никаких планов.

— Ну, как же так нет? вот вы готовитесь к экзаменам, хотите поступить в университет, поедете с вашим дядей за-границу.

— Ну, какие же это планы?

— Конечно, планы не особенно возвышенные, и даже не то, чтоб очень веселые, но это — дело вкуса.

— Тут больше играют роль обстоятельства, а не мой вкус.

— Не ваш вкус, так чей-нибудь другой, а обстоятельства почти всегда зависят от нас самих.

— А у вас какие же планы?

— Опять таки, Лаврик, не любопытствуйте! я ваши планы рассказала сама, не любопытствовала; вот и вы мои планы угадайте сами, хотя бы для того, чтобы доказать, что вы интересуетесь мной не меньше, чем я вами.

— Так ведь мои планы угадать не трудно, так они не сложны и просты, а у вас все какая-то таинственность.

— В данном случае, мой план не имеет никакой таинственности. В настоящую минуту единственное мое старание, это узнать, кто этот офицер, который приехал с Андреем Ивановичем к Лаврентьеву.

ГЛАВА 12.

Действительно, придя в дом, Елена Александровна и Лаврик пашли все общество на балконе за чаем, лишь одна Полина Аркадьевна сидела на отлете и не то мечтала, смотря на пруд под горой, не то дремала, хотя последнее, казалось бы, и не соответствовало ее живому характеру.

Прибытие Лаврика вместе с Еленой Александровной, повидимому, произвело впечатление, по крайней мере на домашних. Полина Аркадьевна очнулась от своей

мечтательности и на весь балкон закричала: «Вот неожиданное явление!» Леонид Львович тоже не без внимательности взглянул на вновь прибывшую пару, а Ираида Львовна, помещавшаяся рядом с Пекарским, пожала ему руку под столом, шепнув: — «Теперь-то ведь вы можете быть спокойны».

— Конечно, — ответил он не совсем уверенно.

Лаврик, заметив общее волнение, покраснел, а Елена Александровна, спокойно взойдя по ступеням террасы, объявила: — я всегда думала, что в деревне возможны самые предвиденные встречи, однако я ошибалась, потому что сегодня мы встретили в лесу... кого бы вы думали? Андрея Сток.

Это сообщение так живо всех заинтересовало, что, казалось, отвлекло внимание от самой Елены Александровны, хотя Полина, сев тотчас рядом с Лавриком, сказала ему:

— Сток-то Стоком, а вот как вы соединились в лесу, вы мне объясните?... или сердце — не камень и старый друг лучше новых двух?

— Бог знает, что вы говорите, Полина Аркадьевна! при чем тут мое сердце и старые друзья? мы просто встретились в лесу.

— Знаю я эти простые встречи!

— Уверяю вас, что это не более, как случайность.

— Я вовсе не требую от вас никаких объяснений, по почему эта простая случайность никогда, скажем, не сведет в лесу вас со мной?

— Да просто потому, что вы никогда не бываете в лесу.

— Просто встретились, просто не бываете! что-то у вас все слишком просто выходит.

— Вы, Лаврик, ее не слушайте! — вмешалась Ира-

ида Львовна, — последние дни очень жарко, и Полина Аркадьевна несколько нервна.

— Что я нервна, не спорю, но от жары ли это происходит, я не знаю, — и потом, наклоняясь к Лаврику, Полина шепнула: — видите, за нами уже следят.

— Я думаю, это ваша фантазия, — ответил так же тихо Лаврик, но незаметно отошел от Полины.

Разговор повелся о том, как теперь все стали нервны и сами не знают, чего хотят.

— Нервность, это, конечно, болезненное состояние, от которого можно и нужно лечиться, но она не непременно связана с тем, что человек сам не знает, чего хочет. Конечно, в последнем случае, человек может впасть не только в нервность, но и во что-нибудь еще худшее, но случается, что человек с нервами отлично знает, чего он хочет.

Ираида в ответ Панкратию Семеповичу заметила:

— Иногда нервностью называется просто дурной характер: убил человека — нервность! ни с кем не мог ужиться — то же самое, вытащил кошелек из кармана — тоже, если хотите, нервы. Так ведь очень легко объяснять собственную распущенность, а иногда и злую волю.

— И потом, это как бы снимает ответственность за свои поступки. А человек ответственен перед собою, а очень часто и перед другими! — вставила свое слово и Соня.

— Да полно вам, господа, нас разбирать! — вступилась Полина, — ведь кто же из присутствующих здесь не нервен и знает, чего хочет? может быть, только Ираида Львовна да Соня, и смотрите, как бы вы, по немецкой поговорке, вместе с водой из ванны не вылили ребенка, как бы делая всех людей рассудительными

и спокойными, вы не уничтожили весь трепет, всю красоту и поэзию жизни... чем же нам тогда жить?

— Я лично вам не могу, не умею сказать, чем вам жить и где помимо нервов находить красоту жизни, но я уверена, я верую, что есть такие люди, которые это знают, — не сдавалась Ираида Львовна.

— Я знаю человека, — медленно начал Леонид Львович, — одну женщину, у которой каждый взор, каждое движение мизинца — чистейшая красота, малейший поступок которой — истинное благородство и прелесть, которая горит и вдохновляет и которая, между тем, лишена всяческой болезненности и всегда знает, как никто, что ей нужно.

После короткого молчания, наступившего вслед за речью Леонида Львовича, раздался голос Лелечки, стоявшей у балконной решетки:

— Мы тоже знаем это совершенство; если хочешь, я тебе объясню в чем секрет этого колдовства: вероятно, она любит; тогда, конечно, все в человеке прекрасно и определено, независимо от того нервен он или нет; не думай, что я свожу какие-то счеты, я совершенно отвлеченно объясняю. Когда человеком руководит любовь, он всегда знает, что надо делать, и всегда все выходит прекрасным.

— Ты, может быть, и права, и наверное это так — отнеслась Ираида Львовна, — но дело в том, что о любви-то каждый имеет совершенно различное понятие. Ведь собачью свадьбу, если хочешь, можно назвать любовью, и определенность она, пожалуй, диктует, но такая ли это определенность, на которой можно строить жизнь?

— Ну, милая Ираида, ну, кто же не знает, что такое любовь?

Лелочка, будто не слыша возражений, продолжала.

— И мы ничего не строим навсегда... Мы всегда странствуем... Мы всегда плавающие.

— Да, да... но плавающие, это те, у кого есть рулевой, а если ты, обхватив склизкое бревно, посидишь по морю, какое же это плавание?

— Наш рулевой — любовь, о которой не может быть двух мнений.

Ираида Львовна сомнительно покачала головой и, чтоб прекратить слишком горячий разговор шуткой, сказала:

— Мы так рассуждаем, будто платоновские греки на пиру... но тогда нервов не знали и запальчивости тоже... А теперь я предлагаю — пойдете в гостиную и пусть кто-нибудь сыграет самые любовные страницы, какие он только знает в музыке. — Вскоре из окон раздались слабые звуки старого Эраровского инструмента, а Лаврик, подойдя к Полине, оставшейся на террасе, тихо сказал:

— Как этот разговор совпадает с тем, что я думал весь сегодняшний день... Невозможно жить без красоты, а красоту дает любовь...

Полина помолчала, и потом, не оборачиваясь, произнесла просто, почти практически:

— Приходите завтра в лес после завтрака, там мы и поговорим.

Но на следующий день им не пришлось свидеться, так как жаркие дни сменились неожиданным дождем, обещавшим продлиться с неделю.

Сидя поневоле дома, обитатели «Затонов» нимало от этого не сблизились, а наоборот, даже как-то будто разъединились слегка.

Почти все время они не выходили из своих помеще-

ний, выдавая только за общей едой, да по вечерам, сидя на балконе и слушая, как теплый дождь стекал с мокрых деревьев.

Запятая их были все те же: Ираида Львовна вела несложное хозяйство, Лаврик готовился к экзаменам, Орест Германович писал какую-то большую повесть, Леонид Львович получал каждый день длинные письма, на которые он отвечал неукоснительно, а Полина и Елена Александровна в своей комнате вели непрерывные беседы, содержание которых было неизвестно, по которые, во всяком случае, не вносили успокоения в их сердца. Ничто не говорило о мире и спокойствии, между тем не было похоже, что готовится, назревает очищающая воздух катастрофа. А все как-то ползло по швам, гнило и вяло разваливаясь.

И мелкий трепет был не трепетом восторга или предчувствия, а полусонным содроганием раздавленной ящерицы. Так что, действительно, можно было понять Полину, которая томилась по грому и молнии, но если они и могли произойти, то совсем с другой стороны и не такого сорта, как их гадала Полина Аркадьевна.

Как-то проходя по полутемной от сумерек гостиной, Полина Аркадьевна застала там Лаврика, уныло нгравшего что-то на Эраре.

— Скучаете, мой друг? Можно вас послушать, я не помешаю?

— Пожалуйста... Вы мне нисколько не помешаете, но слушать, по правде сказать, нечего... я так, одним пальцем подбираю.

— Отчего же вы не учитесь?

— Да, я и буду учиться играть для себя, таких-то планов у меня много.

— А каких же у вас нет?

— Интересных.

Полина помолчала в темноте, меж тем как Лаврик не переставал оживлять дребезжавшие струны.

— Это от дождя нашло на всех такое уныние, а помните, Лаврик, мы с вами хотели еще поговорить! Я тогда смеялась над обстоятельствами... Конечно, если пожелать крепко, то их нет, не существует, но мы слабы, и желанья у нас коротенькию, потому и дождь может служить помехой... Это глупо, конечно, но уж такие мы несовершенные люди...

— Где уж тут думать о совершенстве! Дай Бог, чтобы сколь-нибудь жизнь была похожа на жизнь.

— Вы говорите малодушно... Все это в нашей власти.

— Не всегда!

— Нет, всегда.

И потом, выйдя из темного угла и положив руки на Лавриковы плечи, Полина как-то дохнула в ухо своему собеседнику:

— Вы все еще любите Елену Александровну?

— Нет, — еле слышно ответил тот: — но я никого не люблю.

— Возможно-ли? — тихо, но взволнованно продолжала Полина, — но это пройдет, это пройдет... Не правда-ли? Это не может быть иначе! Я вас уверяю в этом, поверьте! — и в темноте она стала гладить его руки, шею и плечи, близко наклоняя к нему пахнущее пудрой лицо.

— Нет, Полина Аркадьевна, это так же невозможно, так же невероятно, как если-бы завтра вдруг настала жара, и сейчас светила луна... — еще долго не взойдет мое солнце.

— Милый, милый! пусть солнца завтра не будет и луны теперь нет, а полюбите вы скоро!

И она, наклонившись еще ближе, сама поцеловала его. Лаврик не успел еще ничего сказать, потому что в эту минуту в комнату вошла Ираида Львовна, неся в руках лампу с зеленым абажуром. Остановившись на пороге и подняв лампу выше головы, она сказала:

— Ах, это Лаврик и Полина... А я думала, кто это здесь шепчется?

— Да, это мы, — ответила Полина спокойно, — а вы кого-нибудь искали?

— Нет я никого особенно не искала... пора чай пить, — и помолчав, Ираида Львовна прибавила безразличным тоном: — мы можем себя поздравить, завтра, наверное, будет хорошая погода, не даром сегодня так ветрено... Ветер разгоняет тучи и уж теперь времени видна луна... Я очень рада, а то с этим дождем вы все как-то закисли.

Полина Аркадьевна зорко и торжествующе взглянула на Лаврика и быстро подбежала к незавешенному окну, откуда было видно, как в разрывах облаков боком, как бы стыдясь, кралась большая, заплаканная луна...

ГЛАВА 13.

Тот же дождь задерживал дома жителей и соседнего имения «Озер», принадлежавшего Дмитрию Алексеевичу Лаврентьеву. Он не производил такого разъединения, как между обитателями «Затонов», но нужно добавить, что если там не было никаких неприятных волнений и переживаний, то и особенно радостного оживления не чувствовалось. Хозяин не то грустил, не то скучал, а гости, хотя и старались дружеской лаской от-

вести от него мрачные мысли, но не считали деликатным практиковать слишком шумного веселья. Может быть, впрочем, это было и не в их характере. Мистер Сток, обладая, по мнению знающих его людей, детской душою, был только в редкие минуты склонен к шумному выражению радости; другой же гость, почти еще не вышедший из юношеского возраста, был человеком, хотя и веселым, но тихим, отнюдь, впрочем, не солидным, а и не нося мрачной, разочарованной или деловой маски. Деловой маски лишен был и англичанин, несмотря на то, что он всегда работал и, действительно, был занят; но он работал легко и весело, не придавая, казалось, своим занятиям большего значения, чем они заслуживали. Дмитрий Алексеевич нового своего гостя почти не знал, не будучи с ним знаком, хотя и служили они в одном городе. Его привез мистер Сток, вкратце сказав Лаврентьеву, что у его друга случилось кое-какие неприятности, так что им было бы полезно находиться вместе, что сам мистер Сток не хочет покидать Лаврентьева, а потому нельзя ли выписать в Затоны и молодого офицера, который, по его словам, был человек тихий, приятный и воспитанный.

— Конечно, может ли быть об этом и разговор?.. Садитесь сейчас и составляйте телеграмму вашему другу, — сказал Дмитрий Алексеевич.

— Я понимаю, как важно ваше присутствие, если человек в какой-нибудь печали, и потому не хочу вас никуда отпускать. Одного только я боюсь, что я буду вас ревновать к новому другу.

— Во-первых, это вовсе не новый друг, он мне знаком с ранней юности, а во-вторых, ревновать тут было бы неразумно, так как такое чувство неистощимо.

— Ну, разумеется, я пошутил... разве можно быть

таким серьезным? — отшучивался хозяин и, мельком взглянув на исписанный листок, вдруг воскликнул:

— Ах, да это Виктор Павлович Фортон, тот который к нам придет?

— Он самый... А разве он вам знаком?

— Нет, к несчастью не знаком... Может быть, если бы я был с ним знаком, я бы не находился в таком смешном и плачевном положении, как теперь.

— Очень возможно, — ответил англичанин, не спрашивая, и потом прибавил полшутливо: — может быть, это знакомство, которое, по вашим словам, могло бы удержать вас от необдуманных поступков, теперь поможет вам скорее исцелиться от их последствий.

Больше не было разговоров о Фортоне, будто Андрей Иванович, без всякого сказа понимал, какую роль мог бы сыграть этот новый для нас персонаж в судьбе господина Лаврентьева, а дней через пять, как мы уже видели, деревенская бричка привезла вместе с англичанином никому неизвестного молодого офицера с лицом, которое по словам Лелечки Царевской, выдаешь только во сне. Никаких ни патетических, ни таинственных сцен не произошло при встрече Лаврентьева с вновь прибывшим. Оба сказали то, что говорится всегда, что они уж слышали друг о друге, но хозяин смотрел на гостя с некоторой любопытствующей надеждой, а тот, удивленно уловив этого взгляд, продолжал оставаться сдержанно ласковым, и как-то безразлично любезным, имея вид не то слегка усталый, не то расстроенный. Но если первая встреча и носила едва уловимый характер встречи и проществия, то очень скоро, почти сейчас же, вся жизнь вошла в свою колею и почти ничем не отличалась от жизни до приезда Виктора Павловича, что, казалось, несколько обижало Лаврентьева. Хотя

мистер Сток занимался меньше, чем в городе, как-будто для того, чтобы оставить больше времени своим друзьям, тем не менее они почти полдня проводили вдвоем, ласково и дружески ведя самый незначительный разговор. И в тот день, когда снова вернулось тепло, Дмитрий Алексеевич, дойдя с младшим гостем почти до оранжерей, помещавшихся в конце длинного, но очень узкого сада, по обыкновению вел простейшие речи, как вдруг неожиданно спросил:

— Вы меня простите, Виктор Павлович, за мою нескромность, но я давно вас хотел спросить: — когда и как вы познакомились с Андреем Ивановичем?

— Я охотно удовлетворю ваше любопытство, хотя на такой вопрос легко ответить, что у таких-то и у таких-то общих знакомых, но вы отлично знаете, как и я, что познакомиться и сблизиться с мистером Стоком нельзя «просто так».

— Я с вами вполне согласен, но пожалуйста не думайте, что я просто любопытствую и занимаю вас разговором; меня это интересует по разным причинам, отнюдь не легкомысленным, уверяю вас.

— Я вам верю без всяких уверений, но я думаю, что мое знакомство и моя близость с мистером Стоком произошла совершенно таким же образом, как у вас и как у всех, которые к нему приближаются... Я с ним познакомился очень просто, в корпусе, где, как вам известно, он был воспитателем, будучи еще военным, а сблизился с ним в очень трудную и нелепую минуту моей жизни... Вы тогда уже кончили училище, когда нас постигло эпидемическое поветрие самоубийств... Не было такого пуля, из-за которого бы не пускали себе пули в лоб... Как не стыдно признаваться, но и я не избег этой плачевной моды.

— Да, я помню... Я слышал об этом.

— В то время такие случаи так часто повторялись, что довольно трудно помнить о каждом в отдельности, если не следить специально за судьбою данного человека.

— Я специально следил за вами, — ответил Дмитрий Алексеевич серьезно.

Пропустив мимо ушей замечание хозяина, Фортон продолжал:

— Ну, вот и я «покорный общему закону» стрелялся, но не застрелился. Действительно, это произвело некоторый шум, который мог дойти до слуха людей и дальних... Причины этого поступка, конечно, могли бы показаться не только мальчику, лишенному душевного равновесия, каким был тогда я, но и человеку взрослому, но, как бы выразиться... слишком привязанному к перипетиям чувств и обстоятельств, — важными и основательными, но потом я увидел, насколько они были пустяшны и вздорны и не заслуживали не только нажима курка, но вообще никакого внимания. Тогда-то и пришел ко мне мистер Сток... Он уже был в отставке... Он пришел ко мне просто, как лучший друг, как брат, как сделка, и прежде всего помог вернуть мне жизнь и силы, назначение и целесобразность которых он мне указал впоследствии, когда я уже совершенно окреп. С тех пор, я стал совсем другим человеком... Тут не было, разумеется, никакого чуда, просто во мне пробудились и развились те свойства, которые всегда во мне были, но сделалось это при помощи Андрея Ивановича. Вы не можете себе представить, как радостна и облегчена стала моя здешняя жизнь... Я не говорю уже о душевном состоянии, но даже в самых простых делах эта легкая и радостная уверенность и, если хотите, вера — может сделать то.

что человеку удастся все, что он ни предпримет... Конечно, не какие-нибудь злые, нехорошие дела.

— Вы удивительно умеете рассказывать, Виктор Павлович... так что говоря, повидимому, откровенно, ничего решительного не сообщаете.

— Вас интересуют обстоятельства, которые заставили меня стреляться?

— Нет, конечно нет!.. Притом, как это ни странно, я их знаю.

— Ну, так что же? Что вы хотите, чтобы я рассказал вам подробнее?

— Вы сами знаете, чего я ждал от вас... каких признаний.

— Да, я это знаю, потому-то я и молчу... Вам эти слова должен сказать не я, а другой человек.

— Кто же?

— Я не знаю.

— Может быть, Мистер Сток?

— Может быть... Я не знаю... Всегда в нужную минуту приходит нужный человек.

— Но есть люди, к которым этот нужный человек никогда не приходит?

— О, да! и сколько еще таких людей! но вы не придавайте моим словам какого-нибудь таинственного значения... Я говорю вещи самые простые. Если вам захочется, очень захочется малины, то всегда придет баба, чтоб ее продать... Если вы влюблены и вам действительно хочется получить письмо, то почтальон уже будет звониться у ваших дверей. Нужно только уметь хотеть и знать, как это нужно делать... Скажу даже больше: за вас хотеть может другой человек, более искусный и опытный, нежели вы сами.

— Не захотел ли кто-нибудь слишком меня видеть, потому что вош идет какой-то вестник.

Действительно, по открытой дорожке от парников бежал простоволосый конюшенный мальчик в розовой рубашке.

— Что тебе, Федор? — крикнул ему Дмитрий Алексеевич, когда тот еще не успел добежать до места.

— Вас там ждут.

— Кто меня ждет?

— Не ведело сказывать...

— Что за мистификация! Кто-нибудь из знакомых?

— Не могу знать.

— Да откуда же взялся он и где меня ждет?

— Они приехали верхом и ждут вас в гостиной.

— Идите, идите, Дмитрий Алексеевич! — проговорил Фортов с улыбкой... — Может быть, это и есть нужный человек в данную минуту.

— Вы меня извините?

— Ну, конечно... Стоит ли об этом говорить?

Когда Дмитрий Алексеевич быстро вбежал в полутемную, после солнечного сада гостиную, он увидел у круглого стола с журналами небольшую дамскую фигуру в длинном черном платье и черной же вуалетке. Она тихо перебирала журналы и, казалось, не слышала, как вошел Лаврентьев, так что тот принужден был откашляться и громко начать:

— С кем имею честь?

— Это я, Дмитрий Алексеевич... Я приехала к вам по делу, — ответила гостья. Потом не спеша повернулась и откинула вуалетку, при чем Дмитрий Алексеевич увидел, что его посетительница была не кто иная, как Елопа Александровна Царевская.

ГЛАВА 14.

Дмитрий Алексеевич молча смотрел на свою гостью, покуда та лепетала что-то не то о цветах из лаврентьевских оранжерей, которые бы она хотела достать по случаю близкого рождения Ираиды Львовны, не то о какой-то сельской машине, действия которой будто бы ее, Лелечку, очень интересовали.

Наконец он вымолвил:

— Конечно, я всегда рад служить вам всем, чем могу, но я хотел бы знать, одно ли это привело вас сюда?

— Не все ли вам равно? — ответила Елена Александровна, скорбно улыбаясь и опираясь рукою на стол. Не дожидаясь ответа, она сама уже продолжала: — Впрочем, что я говорю! вы бы не спрашивали, раз вам не было бы интересно... Конечно, вы правы: это только предлог и, кажется, даже не особенно умелый. Я просто хотела вас видеть и, если можно, поговорить с вами.

— Прошу вас, — отнесся к ней хозяин, указывая на ближайший стул. Но гостья, не воспользовавшись приглашением, продолжала стоя:

— Я не думаю, чтобы наш разговор был продолжительным, но все-таки, он займет известное время... Нам никто не помешает?

Дмитрий Алексеевич, молча, подошел к двери и замкнул ее на ключ.

— Что случилось, Дмитрий Алексеевич?.. что заставило вас так измениться ко мне?.. Конечно, чувство может улетать без всяких причин, но почему это совершается так жестоко, что любовь уходит не одновременно у обоих любивших?

— Вы сами отлично знаете, Елена Александровна, что случилось.

— Ах, вы говорите о том глупом случае в Риге? о том несчастном мальчике, который так обо мне безумствовал! конечно, я была виновата, затеяв всю эту ненужную игру, но нельзя же за это так наказывать.

Помолчав некоторое время, Дмитрий Алексеевич ответил:

— Мне не хотелось говорить об этом, но раз вы сами начали разговор, то не скрою, что, действительно, случай в Риге с этим молодым человеком произвел на меня очень тягостное впечатление, тем более, что вы не можете мне поставить в вину, что я относился к вам легкомысленно или даже просто легко... Я любил вас искренно и серьезно.

— Не надо, не надо об этом! И неужели этому искреннему и серьезному чувству достаточно пустого столкновения с ничем незначущей историей, чтобы оно разлетелось, как одуванчик от ветра.

— Во-первых, я не считал этой истории такую пустой, во-вторых, дело было совсем и не в истории... Дело в том, что этот случай осветил мне ваше ко мне отношение и, ужаснув, заставил подумать.

— Боже мой! Боже мой! неужели когда любят, думают? неужели, когда любят, решают или взвешивают? Нет, я не хочу этого думать. Поступают, может быть, дико, непоправимо, но всегда руководясь чувством, а не размышлениями... Если бы вы меня любили, в ту минуту вы могли меня убить, избить, если хотите, но не то, не то, что вы сделали!..

— Я сделал гораздо больше, чем, если б я ударил, или убил вас... Я сейчас же вас оставил и навсегда... При чем руководился сильнейшим чувством... Это, может быть, труднее, чем вы думаете.

— Но ведь это не правда... Вы только отошли от

меня, но несколько меня не разлюбили Вы хотели поступить, как сильный мужчина с определенной волею, а поступили как обидчивый ребенок... Вы отошли в угол и надулись, вот и все... Я думала сначала, что все копчилось, но что-то мне говорило, что это не так. Вероятно, сердце. Я захотела вас увидеть, чтобы самой убедиться... И вот теперь, я не верю, слышите ли, теперь я не верю, что вы меня разлюбили.

— Тем не менее, это так.

Под черной вуалеткой было незаметно, как слегка передернулось лицо Елены Александровны, когда она, вставши и подойдя совсем близко к хозяину, взяла его за обе руки... Когда она открыла лицо, оно уже спокойно улыбалось.

— Ну, хорошо, ну, я вижу, что вы сильный мужчина.. Вы довольны? Теперь, надеюсь, мы можем говорить не как поссорившиеся дети, не как сильный мужчина и слабая, но коварная женщина, а просто, как люди!

— Как люди, которые не лгут?

— Ну, положим, как люди, которые не лгут, насколько это возможно... Тем более, что за это время я так много думала, так много пережила, что сделалась гораздо старше, может быть, и серьезнее... Я стала яснее видеть и других, и себя... Знаете, когда в уединении проводишь некоторое время, как-то сами собой отпадают все детали, все мишурные украшения, и выступает настоящий, простой рисунок всего, что случилось... И вот я теперь вижу, что вы меня любите попрежнему, если не больше... Не правда-ли?

Елена Александровна стояла совсем близко около сидевшего Дмитрия Алексеевича, почти прикасаясь к нему... Она мяла его руку в своих, а лицо, с которого была устранена вуалетка, улыбалось с видимым спо-

койствием. Не подымая глаз, будто стараясь не смотреть на милые когда-то, а может и теперь, черты, Дмитрий Алексеевич заговорил медленно, но как-то слишком глухо, что свидетельствовало об известном волнении:

— Елена Александровна... Я буду говорить вам, как человек человеку... Я вам верил и любил вас... Оба эти чувства, если только первое можно назвать чувством, проходят мимо нашей воли, их нельзя вызывать намеренно: нельзя верить, если не верится, и когда не любит, — любить трудно... И вместе с тем эта произвольность нисколько не придает этим чувствам характера случайности и непостоянства. Есть причины, обстоятельства, которые как бы подвергают их испытанию, и вот я этого испытания не выдержал... Конечно, если бы я верил и любил, как следует, я бы делал это «не потому что» то-то и то-то, а «несмотря» на то-то и то-то. А вот этого «несмотря» я и не выдержал. Когда случилось, или показалось мне, что случилось то событие, которое подвергло мою веру и любовь к вам искусу, я потерял и то, и другое. Конечно, это моя вина, я недостаточно крепко вас любил и верил вам, чтоб продолжать это при наглядном доказательстве необоснованности этих чувств... Конечно, я виноват...

Лелечка, не выпуская из своих рук руки Дмитрия Алексеевича, сказала затуманенным голосом:

— Милый, я тоже виновата еще больше тебя... Но что же делать? Нужно прощать друг другу...

И она наклонилась, как-будто хотела его поцеловать.

— Елена Александровна! по моему, вы не поняли меня... вы меня или не слушали, или слышали совсем не то, что я вам говорил... Теперь мне вас прощать не в чем.

Елена Александровна заговорила будто совсем в забытьи:

— Может быть, я и не поняла, я не знаю, мне все равно... Я счастлива, что вижу твои глаза, слышу твой голос... Я думала, это совсем невозможно, но теперь мне больше ничего не надо... Хотя бы ты говорил тысячу раз, что ты меня не любишь, я этому не верю, потому что я хочу, чтоб было иначе!

И, опустившись на колени к Лаврентьеву, она обвила его шею руками. Тот высвободился, прошептал:

— Зачем это, Елена Александровна, ведь и вы меня уже совершенно не любите!

Елена Александровна, быстро опустив вуалетку, поднялась с колен Лаврентьева и, ни слова не говоря, подошла к окну, выходящему в сад.

Постояв так минуты с две, она произнесла тихо, но внятно, не оборачивая лица к собеседнику:

— Теперь я понимаю, новый курс!.. И вы думаете, вам это удастся?

— Но если вы понимаете, то я-то не понимаю ваших намсков.

Лелечка, не оборачиваясь, продолжала:

— Т.-е. вы их не желаете понимать, но сколько бы вы не отпирались, я вижу теперь...

— Что ж вы видите?

— То же, что и вы, — и Лелечка указала рукой, с которой она не сняла перчатки, в окно.

Там, на широкой дорожке, усыпанной красным песком, стоя, беседовали мистер Сток и Виктор Павлович Фортов; последний стоял лицом к дому, сдвинув фуражку на затылок, меж тем, как у англичанина была видна только широкая спина. Дмитрий Алексеевич смотрел несколько минут молча, наконец, густо покраснев, прошептал:

— Какая низость.

— Я с вами вполне согласна, — быстро ответила Лелечка и потом вдруг, не отходя от окна, так же быстро схватила Лаврентьева за руки одной рукой, другой рукой обвив его шею и целуя быстро и крепко, проговорила: — Милый, не обращайтесь внимания... Мало ли что может придти в голову женщине, которая любит?!

— Елена Александровна, бросьте эту игру! я ее совершенно не оценю, и мне она неприятна!

— Так значит, я права?

— Думайте, что угодно. Мне ваше мнение совершенно безразлично! — и Дмитрий Алексеевич молча отворил дверь и позвонил человеку.

— Отдохнула ли барынина лошадь? она сейчас едет обратно.

— Так точно.

— Оставьте меня! оставьте! — воскликнула Лелечка, когда Лаврентьев хотел поцеловать ей руку. Она, казалось, чуть не плакала, и Лаврентьев готов был ее пожалеть, но тотчас успокоился, подойдя к окну: Елена Александровна уже садилась на лошадь, при чем помогал ей Фортон, а она улыбалась, смотря на него косым и ласковым взглядом.

ГЛАВА 15.

Улыбка сошла с лица Елены Александровны, едва последняя выехала за ворота Лаврентьевской усадьбы. Первые версты она пустила лошадь галопом, думая найти успокоение, если не какое-либо решение в быстроте почти бешеного движения. Она сама не знала, какие чувства владели ею и которое преобладало. Всего явственнее чувствовалось только досада на какую-то не-

удачу, в роде досады охотника, не попавшего в редкую дичь, но, может быть, дело было и серьезнее, и, обозревая мысленно все возможные перспективы будущего своего житья, Елена Александровна не могла ни которой из них одобрить, так что это было не только неудача на охоте, но и некоторый конкретный крах и, как таковой, не могло не возбудить сомнения в собственных силах. И по мере того, как размышления ее принимали более спокойный и вместе с тем более безнадежный характер, она все более и более сдерживала лошадь, которая пошла, наконец, шагом. Было еще рано, и Елена Александровна, подумав, что ее отсутствие еще не скоро будет замечено дома, соскочила с лошади и, привязав ее к тонкому клену, сама вышла на луговину, густо поросшую дошиком. Сев на пенек и смотря на желто-белые цветы, приторно пахнувшие булкой, вымоченной в молоке, Елена Александровна не только не знала определенно, что делать, но даже не соображала точно, куда направить мысли. Она не знала, сколько бы времени она так просидела, если бы ее не вывел из задумчивости сухой треск ломаемых вдали веток. Она стала прислушиваться, не двигаясь... Треск, все приближавшийся, наконец, прекратился и на ту же поляну вышел с книгой в руке Лаврик. Лелечка его тотчас признала и он, казалось, ее заметил сейчас же, потому что тотчас же пошел прямо по направлению к ней. Елене Александровне была такая лень двигать хотя бы одним мускулом, что она даже не улыбнулась на приветствие Лаврика.

— Вот вы где, Елена Александровна! вы делаетесь очень утренней, никак не ожидал вас здесь встретить; мы сегодня завтракали раньше, чем всегда, и думали, что вы еще спите. Ираида Львовна даже с уверенностью утверждала это и Полина Аркадьевна не протестовала,

хотя бы, казалось, ей нужно было бы знать, дома вы, или нет.

Лаврик начал бойко и беззаботно, но так как Елена Александровна все молчала, то и его тон все понижался и замедлялся и, наконец, совсем как-то застрял... Помолчав некоторое время, он спросил жалобно:

— Вы чем-то расстроены, Елена Александровна!

— Я нет... я просто устала.

— Да... это довольно далеко от дому... это место.

— Это-то что!.. Но я далеко ездила. Я ведь верхом...

Я была у Дмитрия Алексеевича.

— У Лаврентьева?! — воскликнул Лаврик.

— Ну, да. У кого же еще?

— Зачем же вы туда ездили? впрочем, я не имею права задавать вам такие вопросы.

— Я хотела узнать фамилию того офицера, который к ним приехал.

— Ну, и что же? вы ее узнали?

— А разве вас это тоже интересует? — и потом вдруг, переменяя тон, Лелечка продолжала, — нет, я ее не узнала, потому что ни у какого Лаврентьева я не была, конечно. Я просто это сказала, чтобы посмотреть, какое это произведет на вас впечатление, и вижу, что вы меня ревнуете... Хотя, кажется, теперь вы не вместе на то никакого ни права, ни основания.

— Конечно, я не имею никакого права.

— А между тем могли бы иметь...

— Не надо этого говорить, Елена Александровна! — почему-то очень громко сказал Лаврик.

— Вот уж кричать на меня вы не имеете и не будете иметь никогда никакого права.

— Я и не кричу, простите.

Помолчав, Лелечка начала задумчиво:

— Да, это совсем вам не к лицу... Ведь что, собственно, и послужило к тому, чтоб наш роман, наша скарка так печально кончилась... Вы захотели быть мужчиной... захотели быть прямым, грубым и непонятливым и не догадались, что это совсем не ваша роль и что не это меня в вас пленяло. Вы захотели быть Лаврентьевым, тогда как вы хороши только, как Лаврик Пекарский, и вы не могли допустить, что у души, у сердца есть разные потребности, отнюдь не исключаящие одна другую, что мне мог быть нужен Лаврентьев, из чего совершенно не значит, что вас я не люблю...

— Но ведь вы же сами, Елена Александровна, хотели, чтобы я переменялся?

— Нет, я этого не хотела... Я, может быть, это говорила, но не хотела. Не всегда слова значат то, что они обозначают. Нужно знать, догадываться, что думает, что чувствует человек, а не ограничиваться тем, что слышаешь его слова и, может быть, их исполняешь.

— Я не знаю... я, наверное, слишком прост. По моему, вы меня путаете что-то. Может, вы и теперь думаете и желаете совсем не то, что говорите, — где же мне знать?

— Кто любит, тот всегда знает.

— Ах, Елена Александровна! Я-ль не любил вас, а оказывается, не знал чего вы хотите.

— Может быть, тогда и я не знала, чего хотела.

— А теперь знает?

— Теперь я стала умнее.

Лаврик, наклонившись, вдруг поцеловал руку Елене Александровне и ласково прошептал:

— Только не путайте и не обманывайте меня! Я ведь всему поверю!..

Лелечка вдруг закричала на всю поляну:

— Да, конечно, я вас путаю, я обманываю, я вру! Я — лживое создание, как все женщины! я вами играла... Я вам советую, Лаврик, съездить в «Озера»; там, может быть, вам укажут простой и настоящий путь жизни. Или даже дома беседуйте чаще с Орестом Германовичем и Ираидой Львовной, но не смейте говорить о любви! не смейте говорить и думать обо мне тоже! и посмотрим, какая выйдет у вас простая и честная жизнь без любви и кому она будет нужна!..

Она быстро встала и пошла к своей лошади. Лаврик, следовал за ней, повторяя: Елена Александровна! Елена Александровна! Но та шла, не оборачиваясь, без его помощи вскочила в седло и исчезла таким же галоном, каким она выехала из ворот Лаврентьевской усадьбы.

Лаврик машинально посмотрел на часы, хотя этот жест несколько не привел ему на память, что он уговорился с Полиной Аркадьевной встретиться на этом месте.

С быстро удалявшимся топотом Лелечкиного коня смешался звук других копыт, приближавшихся с другой стороны. Лаврик все стоял у того же пенька, где только что сидела Царевская, и думал, как он будет жить без любви. Вместе с тем, ему казались непонятными и весьма ненадежными в своей неопределенности как слова, так тем более чувства и желания Елены Александровны.

Неужели несовместима простая, светлая и радостная жизнь с тем, что все и он, Лаврик, называли любовью? Неужели привлекательность не более как игра, сложности происходят от обмана и недостатка искренности и весь ансамбль является соединением легкого волнения в крови, какой-то любовной чесотки, неопределенного беспокойства, повышенного самолюбия и огромной, пустой скуки? Топот лошадей все приближался и на доро-

гу выехали два всадника, из которых в одном Лаврик без труда узнал Стока; другой был тем офицером, очевидно, который тогда здесь же проезжал с англичанином в бричке. Повидимому, поляна, на которой находился Лаврик, была конечною целью всадников, потому что, выехав на нее, они спешились и, привязав лошадей у въезда, медленно пошли к месту, где спрятанный теперь в кустах, находился Пекарский. А может быть, это была просто остановка во время прогулки, потому что ничего особенного луговина, поросшая дощником, из себя не представляла. Лаврик лениво соображал это, боясь главным образом, как бы они не помешали его свиданию с Полиной Аркадьевной, о которой он вдруг вспомнил, совсем было позабыв на некоторое время. Казалось, приезжие не обращали большого внимания на окрестность, ведя все время оживленный разговор вполголоса. Слов их Лаврик не слышал, да, по правде сказать, и не слушал, весь занятый собственным беспокойством. К тому же его поразили лица приезжих; не столько лица, сколько их выражения; они были до крайности спокойны и вместе с тем являли какую-то напряженность, почти восторженную. Трудно было себе вообразить, чтобы в данную минуту этих людей могло коснуться не только такое докучное и ленивое беспокойство, которое владело Лавриком, но и подлинная, по опять таки какая-то тяжелая, сама себя выдумывающая и в сущности пустая агитация, образчиком которой могла служить только что бывшая здесь Лелечка; а о вздорном трепыхании Полины смелю было бы и вспоминать. И между тем, это не были лица людей отрешенных от всех волнений и человеческих чувств... Наоборот, казалось, что они выражали предел стремления и желания, по очень просветленного и чем-то преображенного.

На их скрытого зрителя нашел как бы столбняк, и неизвестно, сколько бы времени он продолжался, если бы внезапный поворот, внешний, но не менее изумительный не спутал еще более его мыслей. И как это ни странно, это внешнее движение как бы вернуло Лаврику слух. Действительно, в ту же минуту, как он увидел, что младший, став на колени, поцеловал руку другому, он услышал явственно его слова:

— Боже мой, Боже мой! неужели это будет завтра?!

На что старший ответил:

— Да, так мне писали из Праги.

Тогда первый, подняв в каком-то радостном испуге руки к небу, громко сказал:

— Как могут жить люди, не знавшие таких минут!?

— Затем они поцеловались и молча направились к своим лошадям. Особенную странность этой сцене придавало то, что мистер Сток был в верховом костюме, а его спутник в обычной офицерской форме.

Вероятно, прошло минут десять, как они уехали, а Лаврик все еще сидел неподвижно, не зная, спит ли он, или бодрствует. Наконец, вышел из-за куста и, подойдя к тому месту, где только что Фортов стоял на коленях, увидел слегка помятые стебли цветов.

— Что это: сон, сказка? — произнес Лаврик вслух, и в ответ на его слова послышалось:

— Да, это сон... это сказка! — и тонкие руки обняли его шею сзади.

Лаврик почти не узнал Полины Аркадьевны, так ее появление было к стати и не к стати. Она была босой, в белом балахончике, туго подпоясанным распущенным голубым платком, на стриженной кудрявой голове красовался веночек из васильков. Очевидно, молчание своего кавалера она приписала его волнению и решила объ-

ление начать монологом. Опустив Лаврика на траву, она прилегла к нему на плечо и начала без дальних разговоров.

— Вы же видите, Лаврик, что нельзя жить без любви, как нельзя жить без красоты! Я знаю, вы очень страдали, но разве это может очерствить такое молодое сердце? И потом, страдания от любви, разве это не прекрасно? Может быть, мы никогда так сильно не чувствуем, не переживаем, как во время страдания!

— Ах, я не знаю. Пускай бы какие угодно страдания, только бы не быть самому себе таким жалким, ненужным, как я!

Полина Аркадьевна быстро заговорила:

— Зачем такие слова, зачем такие мысли? Кто это жалкий и ненужный? Вы-то? Вы молоды, вы красивы, вы талантливы и вас любят... Лаврик, Лаврик! мы с вами устроим такую сказку счастья, какой еще никогда не бывало... Не плачьте. Зачем плакать? Или, впрочем, нет, плачьте, и это прекрасно! Посмотрите, какое сейчас небо, какой восторг! и скажите, что вы меня любите!

У Полины Аркадьевны у самой текли слезы, оставляя кривые полоски на румянах, она трясла за рукав Лаврика, а тот, лежа ничком, ревел в траву.

— Встаньте, встаньте!.. мой чистый, мой прелестный мальчик, и не стыдитесь сказать то, что я, конечно, и без слов знаю.

Она отодрала его голову от земли и стала целовать мокрое лицо, шепча: — Милый, милый, солнце, радость! -- пока, наконец, Лаврик, едва ли сознавая кто с ним находится, сам не стал отвечать на поцелуи. Тогда Полина, не вставая с колен, в каком-то иступлении высоко подняв обе руки к небу, громко воскликнула:

— О, как могут жить люди, не знавшие таких минут?!

— Уйдите! — закричал не своим голосом Лаврик.
— Что? — спросила Полина.
— Уйдите сейчас же! вы не смеете говорить этих слов!
— Лаврик, вы с ума сошли? отчего не смею? вот новости!

— Оттого что не смеете! — закричал еще непонятнее Лаврик и бросился бежать.

Полина Аркадьевна окрикнула Лаврика раз и два, потом отыскала оставленные за кустом зонтик и ботики и направилась домой, не без удовольствия думая, что если Лаврик и не окончательно сошел с ума, то все-таки жизнь и в деревне бывает иногда не лишеной интереса.

ГЛАВА 16.

Оказалось, что интересность деревенской жизни далеко превзошла ожидания Полины Аркадьевны, так как, придя домой, она узнала, что не только Лаврик не возвращался, но и Елена Александровна пропала, неизвестно куда. О первом, положим, еще не беспокоились, но отсутствие второй сильно тревожило Ираиду Львовну, судя по непривычным нервным движениям, с которыми она то ходила по террасе, то опиралась на перила, всматриваясь в каждое облако пыли, которое подымалось на проезжей дороге.

— А где же все наши? — спросила с невинным видом Полина, входя на ту же террасу, уже без васильков на голове.

— Ради Бога, Полина, не зовите сюда Леонида... Лелечка с утра пропала и до сих пор ее нет.

— Куда же она делась?

— Я, именно, об этом хотела у вас спросить, пока брат ничего не знает... Неизвестно ли вам чего-нибудь?

— Нет, нет... откуда же мне будет известно?

— Ну, я не знаю, откуда... вы же с ней дружны, и вы, пожалуйста, Полина, не скрывайте... Вы, может быть, думаете, что нехорошо выдавать чужие секреты, но тут это рассуждение нужно отбросить, потому что дело серьезно, а мало ли что может Лелечке придти в голову.

— Нет, правда, Ираида Львовна, я ничего не знаю.

— Она уехала, когда вы еще спали?

— Нет, я видела, что она уходила... еще удивилась, что она так рано поднялась. Она сказала, что хочет прогуляться.

— Очень странно! — произнесла Ираида Львовна.

— А Лаврик Пекарский дома? — спросила Полина, будто ни в чем не бывало.

Ираида вдруг остановила свою ходьбу и, посмотрев секунду молча на собеседницу, вдруг тихо спросила:

— А вы думаете, что они скрылись вместе?

Хотя Полина Аркадьевна отлично знала, что Лелечка и Лаврик никак не могли уехать вместе, но возможность такого предположения так ее поразила и пленила, что она вопреки всякой очевидности воскликнула совершенно искренно:

— Я не знаю! но это очень может быть.

— Нет, нет! именно этого не может быть, Полина!

— Отчего же? вы думаете, что они недостаточно смелы? вы напрасно о всех имеете такое мешанское мнение... пельзя обо всех судить по себе.

— Оставим разговор о том, что мешанство, что нет, и кто судит о людях по самому себе, а лучше скажите

мне откровенно: вы это наверное знаете или только радуетесь такому предположению?

— Я ничего не знаю и ничему не радуюсь,—сказала Полина с таким видом, что всякий бы понял, что она не только все отлично знает, но что именно сама то и есть главная изобретательница и вдохновительница поэтического побега. Ираида Львовна это так и поняла, очевидно, потому что несколько сухо молвила:

— В таком случае их, конечно, искать бесполезно, потому что они давно уже имели время доехать до станции и скрыться, куда им угодно... Но не могу скрыть, Полина Аркадьевна, что ваша роль во всей этой истории не то чтобы была мне непонятна (о нет! отлично понятна), но все-таки, несколько удивительна.

— Я не понимаю, Ираида Львовна, какая роль, какая история? — пролепетала Полина Аркадьевна, предвкушая всю сладость, если не трагических происшествий, то объяснений.

— Я не буду вам объяснять, какая ваша роль, но по крайней мере вы могли бы избавить меня от того, чтобы все это происходило в моем доме.

— Что же, вы меня считаете какою-то сводницей? — произнесла Полина не без достоинства.

— Называйте себя уж как там угодно, это меня ни мало не интересует, потому что, по правде сказать, для меня важнее судьба тех двоих, оставшихся.

Тогда Полина начала в повышенном тоне:

— Вот, наконец, когда вы высказались! О! я эти спасения и возвращения к добродетели отлично знаю... Они всегда сводятся к тому, чтобы одних принести в жертву другим... и даже не принести в жертву, а как-то связать, размельчить, сделать более тупыми. Вам ненавистна всякая свобода, все, что не подходит под вашу

дурацкую мерку! Я повторяю: я ничего не делала в данном случае, но если б знала, могла бы, двадцать раз сделала бы и именно в вашем доме, потому что я всегда стою за любовь, за свободу, за отсутствие всяких предрассудков! Вот погодите, вернемся в Петербург, я пойду ко всепошной в Казанский собор голая!

— Вы это можете сделать и у нас в селе... еще теплее, зачем же ждать зимы?

— И пойду и пойду! Кто мне может запретить?

— Да прежде всего урядник, но дело не в том, это ваше личное дело, не нужно только впутываться в чужие дела.

— А вы разве не впутываетесь?

— Может быть, и я это делаю, но единственно из желания добра, а не специально для переживаний.

— Ну, вот и я тоже из желания добра, только мы добро понимаем по разному...

— Кто это в такую чудную погоду ведет разговор о добре? — раздался голос Ореста Германовича, вышедшего на эту перепалку.

— В конце концов все понятия о добре похожи на понятия о нем дикарей... Если ты сжег соседа, увел его скот и жену — это добро... Если же сосед сжег твой дом, угнал скот и увел жену — это зло... Так что даже какой-то ловкий человек так переделал евангельское изречение: «делай другим то, чего ты не хочешь, чтоб они делали тебе».

— Вы, конечно, не разделяете этих парадоксов? — спросила Ираида Львовна.

— Конечно. Разделяй я их, мне невозможно было бы прожить дня на свете.

Полина Аркадьевна, найдя, что разговор терлет героический характер, сочла за лучшее удалиться, но ду-

ли ее жаждала если не подвига, то скандала. Что Елена Александровна уехала вместе с Лавриком, в этом она была уверена, хотя отлично знала, что этого не может быть. Она была уверена в этом главным образом потому, что наличность такого побега вносила свою любовную (очень бестолковую, но тем не менее понятную Полине Аркадьевне) логику в дела и отношения тех людей, судьбой которых она действительно интересовалась.

Ираида Львовна, сочтя, что известие о беглецах менее встревожит ее брата, нежели Пекарского, сочла за лучшее объяснить сначала с Леонидом Львовичем, отступив сообщением о побеге Лаврика, как можно дальше.

— Отчего ты не выйдешь в сад в такой прекрасный день? — произнесла она, входя в комнату, где брат ее сидел за книгой.

— А разве погода хороша? я так привык уж к дурной, что почти потерял надежду на что-нибудь другое.

— Ну, можно ли доходить до такого отвлечения? особенно до такого печального отвлечения?.. Взгляни в окно, если ты еще не ослеп.

— У меня радость и печаль не зависят от безоблачного неба.

— Отчего же они зависят? — несколько опасно спросила Ираида.

— Я не знаю... Это как-то лежит внутри.

— Ты, конечно, прав, но внутри должно быть всегда хорошо.

— Не всегда бывает то, что должно быть.

— Но очень часто случается то, чего мы хотим, а теперь вот я хочу, чтоб ты со мной прошелся в сад.

— Такие невинные желанья, конечно, легко исполняются, — ответил Леонид, отыскивая свою шляпу.

Едва ступили на землю, сойдя с террасы, как Ираида Львовна начала без колебания:

— Лелечка уехала гостить к Полаузовым, ты знаешь?

— Нет, мне ничего не известно. И надолго?

— Не знаю. Она ничего не сказала.

— Что же, Полаузовы ей очень нравятся, или ей нехорошо у тебя?

— Насколько мне известно, особенной дружбы к Полаузовым она не питает, а я сделала все, что бы ей было хорошо. Но у твоей жены иногда бывают причуды.

— Да, у нее бывают причуды, — как-то рассеянно подтвердил Леонид.

— Так что не будет особенно удивительно, если она, так же не говоря ни слова, от Полаузовых уедет еще куда-нибудь.

— Может быть, она это уже и сделала?

— Не знаю, не думаю.

— Но тебе-то она сказала, что едет именно туда?

— Нет, Леонид... Она мне этого не говорила.

— Так что, это только подозрения?

— Это предостережение, а не подозрение.

— А подозрения твои каковы?

Ираида Львовна помолчала, а потом начала как-то издалека:

— Видишь ли, Леонид, всякий человек может подозревать и предполагать, что ему угодно, когда он находится в полной неизвестности... Я вовсе не склонна думать дурное, особенно о близких мне людях.

— Ираида, ты мне скажи прямо, что знаешь... Может быть, Лелечка уехала совсем не к Полаузовым.

— Сказать по правде, я не знаю, куда уехала твоя жена... Я, конечно, не верю глупостям, которые говорят

Полина, но ведь они обе сумасбродки, тем более, что вчера, что сегодня у нас из дому пропал еще один человек.

Иранда Львовна остановилась, потому что в это время к ним быстрым ходом приближалась горничная с конвертом в руках. Отдав письмо Леониду Львовичу, который вдруг сильно покраснел, она так же быстро и молча ушла, а Царевский, мельком взглянув на иностранную марку и покраснев еще больше, проговорил быстро, будто желая быстротой речи скрыть свое смущение:

— Ты говоришь, еще один человек? но кто же это? и какое он имеет отношение к моей жене?

— Это племянник Пекарского.

— Я не понимаю, как ты можешь ставить в связь эти два отъезда. Мало-ли что может притти в голову Полине Аркадьевне! Она же совершенно не ответственна за свои слова и мысли; конечно, Лелечка уехала просто к Полаузовым и завтра или послезавтра вернется

— Дай Бог, чтоб это так было. Я вовсе не хочу каркать.

— Да это так и будет. Несчастья, неприятности, не могут приходить к людям в такой прекрасный день.

— Почему ты находишь день прекрасным? ведь ты с утра еще не знал, не видел, идет-ли дождь или солнце ясно.

— А теперь я вижу и знаю, что все прекрасно и не может быть другим, — отвечал Леонид Львович, похлопывая себя по руке нераспечатанным конвертом. Затем он обнял сестру и еще веселее произнес:

— Поверь мне, что ничего дурного не случится.

Иранда Львовна покачала головой и сказала:

— Ты даже как будто рад, что твоя жена исчезла?

— Какие глупости! Но я уверен, что все будет очень хорошо. А нужно же людям время от времени исполнять свои капризы. Что ж касается твоих смешных опасений насчет Лаврика Пекарского, то я думаю, что он уже дома, сидит и занимается у своего окна. Все хорошо, все прекрасно, когда есть солнце и такие прекрасные люди, как ты.

— И когда получают такие прекрасные письма из за-границы?

— Да ты, оказывается, умеешь быть злой! — проговорил Леонид Львович, снова обнимая сестру, и они направились к дому.

Леонид Львович несколько заблуждался. Конечно, солнце светило ясно и запечатанное письмо, может быть, несло отличные вести, но во-первых, Лаврика дома отпущь не было, и у какого окна, чем он занимался — было совершенно неизвестно, а во-вторых, громкий и возбужденный говор, несшийся из окон гостиной, с очевидностью показывал, что если в «Затонах» и было все прекрасно, то совсем не слишком мирно, и что там находили себе место страсти, которые наглядно опровергали название Ирандиной усадьбы. Казалось, что в доме спорят несколько женщин, но на поверку вышло, что в гостиной Царевские застали только Ореста Германовича, Полину и колюченного мальчика. Дама была в сильном возбуждении и оканчивала, повидимому, длинную речь.

— Теперь вы видите, видите к чему приводит отсутствие свободы и тирания? И тирания над чем? над тем, что должно было бы быть свободным, как пламя, как ветер! Где теперь Елена Александровна? где Лаврик? у Полаузовых их нет. Кто знает, может быть, они уже покончили с собой. А что всему виною? Все ваше

стремленно устранять какие-то дурацкие мещанские устройства!

Раздался топот копыт и через секунду в дверь вошел другой конох, снимая шапку.

— Ну что, ну что? — бросилась к нему Полина.

— Так что их там нет. Барин даже очень удивлялись, что я приехал. Очень желают, что так случилось, и кланяются всем.

— К кому он ездил? — обратилась Ираида к Полине.

— К Дмитрию Алексеевичу Лаврентьеву, — отвечал вместо последней конох.

— К Лаврентьеву? — переспросила Ираида; — кто же тебя туда посылал?

— Я посылала его к Лаврентьеву, — выступила Полина Аркадьевна.

Ираида Львовна отослала слуг и снова стала спрашивать свою гостью, меж тем как мужичины хранили молчание.

— Объясните мне Полина, чем вы руководствовались, посылая к Лаврентьеву, и кого вы там искали? Надеюсь, не Елену Александровну?

— По правде сказать, я именно ее там и искала.

— И так и сказали коноху, чтоб он спросил Лаврентьева: не здесь ли г-жа Царевская.

— Так и сказала.

— Но послушайте же, Полина, всему есть мера. Ведь это никакая ни свобода и ничто, а просто глупость и недобросовестность распускать между слугами ваши собственные предположения, которые даже если-бы и оправдались, их нужно было бы скрывать. Наконец, что подумает сам Лаврентьев? Он может подумать, что это хитрость и очень недостойная со стороны Лелечки, что

она никуда не уезжала, а нарочно афиширует их отношения, чтоб делать какие-то авансы.

— Так не все ли равно, что думает Лаврентьев, тем более, что он привык считать Елену Александровну женщиной свободной и не трусливой.

— Ну, я вижу, что вы, Полина, гораздо глупее чем можно было даже предполагать и, кроме того, ваша глупость положительно вредна; где бы вы ни были, куда бы ни вмешались, везде получается только смешной и вредный вздор. Т. е., конечно, я говорю с точки зрения человека, который в своем уме.

— Если от моего присутствия получается только вред, так мне остается уехать.

— Вы не обижайтесь, Полина, я вам скажу прямо: действительно, теперь это самое лучшее, что вы можете сделать.

— Да, я вам не ко двору, — произнесла Полина и повернулась к двери. Уже взявшись за дверную ручку, она произнесла:—Вы, может быть, не откажетесь дать мне лошадей до станции. Поезд идет в 8 ч. Мне нужно уложиться.

— Конечно, конечно, — заторопилась Ираида, — может ли быть об этом разговор? но почему вы так торопитесь? Вы бы могли уехать и завтра, и послезавтра. Вы меня простите, это я сказала сгоряча. Я от своих слов не отказываюсь, но тем не менее все может исправиться. И потом, если вы успеете сегодня, после этого... после этого несчастья, это может носить какой-то предосудительный вид...

Тогда Полина Аркадьевна, оставя ручку дверей, снова вернулась в комнату, относя свою речь прямо к Ираиде, будто, кроме их двоих, никого не присутствовало.

— Нет уж позвольте на этот раз мне сделать этот

предосудительный вид. Я уезжаю, я покидаю ваш дом, но свои поступки я буду уж решать сама, и какой они будут иметь вид, мне все равно. Однако, не думайте, чтобы я оставила без внимания судьбу Елены Александровны, к которой я искренно привязана, и не знаю, не будет-ли это хуже, если я буду помогать ей со стороны.

— Что-же, вы угрожаете?

— Нет. Чего мне угрожать? Я только не скрываю, что буду поступать, как мне угодно. Я против вас лично ничего не имею, но я ненавижу, ненавижу,—и она крепко сжала свои маленькие руки, — всех таких людей, всю вашу шайку, всех тупых, пустых, самодовольных и добродетельных людей! И действительно, с вами мне не место, потому что я всегда ищу, а вы мирно спите. Ну и спите себе на здоровье, спокойной ночи! Да это и кстати, потому что я вижу, что лошадей скоро подадут.

Полина Аркадьевна мельком взглянула в окно и потом, подойдя к Ираиде, сказала менее повышенным тоном:

— А теперь прощайте без всяких обид... Не поминайте лихом и живите счастливо.

И затем обвела глазами комнату и, будто только сейчас заметив мужчин, Полина воскликнула:

— Ах, господа, да и вы тут! Я даже о вас позабыла, думала, что мы одни. Можно было бы предположить, что вы спали, но при таком крике где же спать? Это уж верх вежливости, быть настолько молчаливыми. Или, может быть, для господ рыцарей наша перспалка с Ираидой Львовной была интересным зрелищем в роде боя петухов? очень рада, что доставила вам это удовольствие, но если вы подумаете хоть немного, то увидите, что я была совершенно права. А мне что? я высказалась и с легким сердцем уезжаю. До свидания!

Полина Аркадьевна сделала даже какой-то пируэт и исчезла за дверью. Трое оставшихся долго молчали. Наконец, Орест Германович заметил:

— Однако, Полина Аркадьевна довольно язвительная особа, хотя и бестолкова чрезвычайно.

— Леонид Львович, все еще не выпустивши из рук запечатанного конверта с иностранной маркой, ответил тихо:

— Это потому, что она... вы все не знаете настоящего и лучшего примера высокой спокойной и живой жизни, которой ничто не страшно.

— А все-таки странно, — проговорила Иранда Львовна, — что и у Лаврентьева Лелочки не оказалось.

ГЛАВА 17.

Как раз в ту минуту, в которую Леонид Львович предполагал, что Лаврик сидит у окна и занимается, младший Пекарский шел по дороге ведущей к имению Дмитрия Алексеевича. Едва ли он сознавал ясно, зачем он туда направлялся; никаких логических причин и объяснений нельзя было придумать этому его путешествию. Да Лаврик их и не отыскивал: без всякой причины, как-то мимо собственной воли его ноги переставлялись, делая шаг за шагом, и делали его все ближе и ближе к «Озерам», или, вернее сказать, к тем людям, которые там жили. Конечно, Лаврик не был лишен сознания, он отлично знал, что идет в усадьбу Лаврентьева, но от него ускользала целесообразность этого поступка. Одно ему было ясно — что там впереди находятся люди, которых он сейчас, в данную минуту, непреодолимо хотел видеть. А в «Затонах», паоборот, остались

и пребывают личности, от которых можно было ожидать только неприятных и огорчительных сложностей. Ему думалось даже, что англичанин и его друг могут ему что-то открыть, без чего жизнь представляется пустынной и безрадостной и наполнить ее временно поверхностно могут только те эфемерные трепания, от которых он бежит и которые всегда оставляют печальный и горестный осадок. Он даже как-будто позабыл, что Лаврештьев был до некоторой степени его соперником когда-то и что совершенно неизвестно, как его встретят. Бессознательно имея надежду, что те чувства, с которыми человек приходит, если они достаточно сильны, всегда могут и должны подействовать на прием, который их ожидает, Дмитрий Алексеевич сидел на крыльце и рассеянно гладил собаку, когда Лаврик приблизился к дому, пройдя в сад через небольшую оранжерейную калитку.

— Я рад, что застаю вас одного, — сказал Лаврик после первых слов.

— Вамъ нужно что-нибудь сказать мне? но мои гости очень близкие мне люди и, вообще, отличные люди, так что секреты от них будут неуместны.

— Я вам вполне верю, что они отличные люди, я к сожалению, их не знаю. Это, конечно, не помешало бы мне быть откровенным и с ними, но это еще далеко не значит, что вообще никто не пожелал бы иметь от них тайны.

Дмитрий Алексеевич слегка нахмурился и будто без связи разговора произнес:

— Елена Александровна сама была сегодня здесь.

— Я знаю. Я вовсе и не являюсь ее посланцем. Я пришел сам по себе и даже, вы только не сердитесь, я имел в виду именно видеть больше ваших гостей, нежели вас.

— На что же тут обижаться? Я вполне понимаю, что мистер Сток и Фортов представляют гораздо больше интереса для кого угодно, чем я. Но вы противоречите самому себе: если я не ошибаюсь, вы сказали, что рады именно заставить меня одного...

— У вас я хотел попросить прощения.

— Ну, полно! в чем же вам просить прощения, вы, вероятно, были тогда вполне искренни, а когда человек любит, от него трудно ждать благородных поступков, особенно в вашем возрасте. Где же вы оставили валу лошадей?

— У меня нет никакой лошади. Я пришел пешком.

— Отчего вам вздумалось придти пешком? Хотя это не особенно далеко.

— Когда я выходил из дому, я не думал, что я попаду к вам. Это мне потом пришло в голову и даже не знаю, приходило ли это вообще в голову. Меня просто что-то привело к вам.

— Вы, очевидно, заблудились и узнали пашу оранжерю.

— Может быть, я и заблудился, но не так, как вы думаете.

Лаврептьев взглянул на гостя и, тотчас снова опустив глаза, принялся разглаживать на коленях откуда-то занесенный ветром, уже покрасневший кленовый лист. Затем снова начал:

— Знаете, я сам плохо знаю свой лес, и легко мог бы в нем заблудиться, а вот мистер Сток и Фортов, хотя живут здесь всего два месяца, отлично знают каждую дорожку. Когда я хожу с ними, я всегда спокоен.

— Да, с ними можно быть спокойным!

— Вы, кажется, не совсем понимаете то, что я говорю.

— Нет, я понимаю то, что вы говорите и то, что вы хотите сказать.

— Я не хочу сказать ничего особенного, — и Лаврентьев опять посмотрел на мальчика. Ничего особенного в лице его не было, но Лаврику показалось, что в глазах и улыбке офицера мелькнуло что-то похожее на лица тех всадников с цветочной поляны, но отдаленно, как-будто светлый предмет, видимый сквозь глубокую воду.

— Ну, еще, еще!

— Что вы говорите, Лаврик?

— Еще одно усилие, Дмитрий Алексеевич, и у вас будет настоящее лицо.

— Вы, Лаврик, слишком устали, вам нездоровится?

— Это не бред. Мне так бы хотелось, чтобы вы были похожи на Фуртова.

— Мне бы самому этого хотелось, потому что он очень красивый человек, но я на него несколько не похож.

— Этого не может быть, Дмитрий Алексеевич, чтобы вы меня не понимали, вы только не хотите этого сказать.

— А разве вы сами понимаете, что вы говорите?

— Нет, по правде сказать, не понимаю.

— Так как же вы хотите, чтоб другой человек понимал слова, которых вы сами не понимаете?

Лаврик печально опустил голову. Тогда хозяин пересел к нему ближе и, слегка обняв его, заговорил:

— Не огорчайтесь. Я вам скажу правду. Я понимаю, зачем вы пришли и то, что вы говорите. Я понимаю лучше, чем вы сами, но все-таки недостаточно для того, чтобы вам объяснить. И потом, я совершенно не знаю, можно ли вам это объяснить.

— Ну, вот видите! Я знал, что вы знаете больше ме-

ня, а если бы вы постарались, если бы стали похожим, тогда и все бы знали.

— Ну, что же делать, если я еще не знаю! Я охотно вам это обещаю, что буду стараться, потому что мне этого хочется еще больше, чем вам.

— Ах, я знаю, почему вы мне не говорите. Вы на меня сердитесь за Лелечку?

— Лаврик, Лаврик, как вам не стыдно! Как вы можете думать сейчас о таких пустяках? и еще стыднее, что вы подумали, что я могу это думать. Я уж вам говорил, что все это прошло, и на вас я несколько на сержусь, а в настоящую, данную минуту у меня совсем даже не было никаких романических мыслей.

Лаврик вдруг вскочил:

— Постойте! Я видел людей, которые говорили: «как могут жить люди, не испытавшие таких минут?» Я теперь знаю, что я могу жить, потому что маленькую, крошечную, очень слабую секундочку и я имел. И ведь это не пропадет, не угаснет, правда?

— Я надеюсь, что это не пропадет и не угаснет! — сказал очень серьезно Лаврентьев и крепче обнял гостя.

Белая, мохнатая собака издали бежала, махая хвостом и лая, и через секунду из-за поворота показались две фигуры, которые, конечно, не могли быть никем иным, как англичанином и его другом.

Лаврик молча пожал руку Лаврентьеву и потом уже сказал:

— Какое сегодня число?

— Шестнадцатое августа.

— Сегодня сделаны два шага.

— А может быть и три, Лаврик. — Помолчав, Дмитрий Алексеевич продолжал: — Вы, конечно, пробудете

у нас, сколько вам угодно, но под одним условием, что вы прогостите не меньше недели.

— Это конечно. Но Боже мой, Боже мой! Как хорошо, когда не то, что почувствовал, а получил надежду, что почувствуешь когда-нибудь, что стоит жить.

ГЛАВА 18.

Если Лаврика и привела в усадьбу Лаврентьева какая-то не своя воля, то Елена Александровна вполне сознательно и добровольно попала к Полаузовым. Мысли у нее были тоже достаточно смелые: тут была и досада, и растерянность, и, главным образом, нежелание сейчас, под горячую руку встречаться с теми людьми, перед которыми она как-то потерпела неудачу. К Полаузовым она поехала не потому, что сами хозяева были для нее зачем-то нужны, а потому, что больше ей деваться было некуда. Она бы охотно поделилась впечатлениями и излилась Полине Аркадьевне, но для этого нужно было бы ехать домой, чего она отнюдь не хотела. В противоположность Лаврику она приехала очень заметно, прямо к парадному подъезду, произвела известную суматоху и, войдя в столовую, застала всех обитателей дома вместе.

— Вот уж никак не ожидали, что это вы! — сказала ей старуха Полаузова, — мы слышали какую-то бегогню и собачий лай, но никак не думали, что это гости. Но где же ваши? или они едут в бричке?

— Я приехала одна и дома даже не знают, что я у вас.

— Как это мило с вашей стороны, Елена Александровна! так приятно видеть людей, у которых есть фантазия в голове.

— У меня не только фантазия в голове, у меня было искреннее желание вас видеть.

— А вас не хватает дома? — спросил Панкратий.

— А если хватается, тем будет интересней! Ах, да, я все забываю, что вы такой положительный и солидный мужчина. Я уверена, что вам бы никогда не пришла в голову мысль, если бы даже очень захотелось, так вот взять и уехать, никому не сказавшись.

— Если бы я знал, что, уехавши тайком, я доставлю кому-либо беспокойство, то я остался бы.

— Да что с вами разговаривать! вы не человек, а какая-то таблица умножения, — ответила Лелечка, садясь за стол. Но, несмотря на видимую оживленность, у нее в глазах было какое-то беспокойство, которое, конечно, можно было бы приписать тому же оживлению. Но, как оказалось, Соня поняла это как следует, потому что едва они остались вдвоем с гостьей, как она произнесла тихо:

— Что-нибудь случилось, Елена Александровна?

— Я вам потом все расскажу, — ответила так же тихо Лелечка и пожала руку.

— Да, вот еще что, господа! у меня к вам просьба, а особенно к вам, Панкратий Семенович,—проговорила Лелечка уже громко,—вы мне позвольте погостить у вас некоторое время и никому не говорите, что я здесь, особенно, если будут спрашивать из «Затонов». Я вас уверяю, что мне нет никакой надобности скрываться, я не замешана ни в какие политические дела, и не думаю сбегать от мужа. Это просто шутка, мой каприз, если хотите, и никаких неприятностей, или неудобств вам не грозит, если вы мне поможете в этом. Ну, так как же: вы согласны?

— Да ведь мы-то, конечно, можем молчать, но нель-

зя заставить слуг и крестьян, которые вас видели, об этом не проговориться. И тогда, конечно, может выйти неудобно и перед вашим мужем и перед Ираидой Львовной.

— Ну, какие вы скучные, господа! а я так радовалась, что будет весело, — проговорила Елена Александровна с гримаской.

— Ах милая Елена Александровна, вы совершенное дитя! Так что даже мне, старухе, хочется помочь вам в этой проказе... Я то, положим, и смолоду не была выдумщицей, а подруг таких знала... Как бывало начнется бал или просто так, гости соберутся, особенно, если находятся молодые люди, которые за ними ухаживали, так первое удовольствие для них забраться в какую-нибудь дальнюю комнату и там спрятаться. Ищешь их, ищешь, потом все к ним идут, тащут, уговаривают: «да что это вы, или на кого-нибудь обиделись... идемте танцевать, что вы тут забились в угол? мы без вас никак не можем обойтись!» а им больше ничего не нужно.

— Ну, вот и я такая же. У вас тоже хочу спрятаться, а чтоб Леонид везде бегал и меня отыскивал.

В конце концов было решено просьбу Елены Александровны исполнить и был отдан приказ слугам не говорить даже в деревнях, что соседняя молодая барыня находится у них.

Хотя Елена Александровна и обещала Соне все рассказать, но обещала это как бы сгоряча, а когда они остались вдвоем, в комнате, в той самой комнате, где, к удивлению Полины, не оказалось губной помады, то Елене Александровне представилось, как будто ей даже ничего рассказывать. Что же в самом деле она расскажет? О своем посещении Лаврентьева и свидании с Лавриком? Но для того, чтоб понять все значение этих собы-

тий, нужно начинать очень издалека, да и то на посторонний взгляд может показаться, что ничего особенного не произошло. Она даже сама несколько удивлялась теперь, как она могла так легко расстроиться и впасть в некоторого рода отчаяние. Значит, вся суть именно в ее склонности быстро падать духом. Все эти соображения пронесли у нее в голове, покуда Софья Семеновна говорила:

— Ну, так что же случилось, милая Елена Александровна? Вы, конечно, можете мне не говорить, я несколько не навязываюсь в доверенные, но вам самим будет легче, тем более, что во мне и у нас в доме вы вполне можете рассчитывать на сочувствие. Мне кажется, что вы все-таки неспроста приехали к нам!.. если-б вы думали пойти у своих утешения и помощь, то вы бы поехали домой, не правда-ли? а я не думаю, что ваш приезд был простой причудой, какой вы его выставили маме и брату.

Несколько уже оправившись, Лелечка отвечала:

— Но я сама не знаю, что говорить. Мне казалось, что у меня так много есть, чего рассказать вам и вот оказывается, что все это пустяки, не стоящие чужого внимания.

— Но они, эти пустяки, делают вас несчастной.

— Да, они доставляют мне огорчения.

— Ну, вот мы и рассудим с вами, как бы устроить так, чтобы подобных пустяков не случилось или как бы вас переделать, чтобы вы от пустяков не огорчались.

— Видите ли, — проговорила Лелечка мечтательно, — может быть, я не случайно приехала к вам. Мне кажется, что во всем вашем доме и особенно в вас самих есть такое установившееся, прочное спокойствие, кото-

роо заставляет подозревать, что вы что-то знаете и что именно это знание делает вас такими.

— Вы не ошиблись и вместе с тем вы не совсем правы. Мы уж от природы, по характеру, очень определенные, но ни брат, ни мама не принадлежат к обществу.

— А вы, Соня, принадлежите к обществу?

— Да.

— И это тайное общество?

— Если хотите.

— Милая Соня, возьмите и меня туда! вы видите, как я несчастна. Я никогда об этом не думала, а между тем я уверена, что у меня есть большое расположение к мистике. Вы мне скажите, что надо, может быть, испытание какое-либо? может меня будут водить по темным коридорам, как, я это читала, делают у масонов?

Соня слегка улыбнулась.

— Нет, у нас таких испытаний не бывает. Я просто запишу вас в книжку и извещу об этом в Петербург.

— Да, конечно.

— Потом я вам дам несколько брошюр, сама поговорю с вами. Если с чем вы не согласитесь или не поймете чего, это придет потом. Главное — это иметь настоящее желание вступить.

— Ах, мне так хочется. Я очень несчастна, знаете, Софья Семеновна.

— Тогда вы не будете так несчастны. Все члены общества будут вам помогать.

— Ах, в том, что мне нужно, едва ли мне могут помочь! — Лелечка подумала о своем визите к Лаврентьеву, о своей встрече с Лавриком, и опять то же чувство досады и растерянности начало овладевать ею.

— Ах, в том, что мне нужно, едва ли кто может мне помочь! — повторила она еще раз.

София зорко на нее посмотрела и молвила:

— Нет таких вещей, в которых польза было бы помочь!

— Но эти вещи очень земные, может быть, грешные.

— Милос дитя, — сказала, улыбнувшись, София и добавила, — давайте лучше помолимся вместе.

Она обняла Лелечку и вместе с нею опустилась на колени, склонив свою голову на край стола. София не произносила никакой молитвы и даже не крестилась, а только все крепче обнимала Елену Александровну, и та чувствовала, как-будто от этой теплой руки в нее входило успокоение, нежность и какая-то дремота.

ГЛАВА 19.

Казалось, Иранда Львовна всецело занята была созерцанием слегка уже пожелтевшего сада, но на самом деле она беспокойно и тревожно думала и о тех двух оставленных, которые сидели дома, и о других двух покинувших, которые находились неизвестно где. Уже больше недели с того самого времени, как исчезли Лелечка и Лаврик, словно густой облак опустился, на «Златоны». Он мешал громко и весело разговаривать, затруднял дыхание и даже, казалось, делал недоступным взгляду весь пейзаж, уже начавший блестеть траурной позолотой. Там не было никаких доказательств тревоги, не рассылали гонцов, даже мало говорили об отъехавших, но это спокойствие было тяжелее самого неумеренного беспокойства. Орест Германович так же писал в положенные часы, но все чаще и дольше сидел, глядя не на бумагу, а в окно на далекий лес, которого он так же не видел. Леопид Львович так же получал письма с заграничным штемпелем, но, казалось, они его не радова-

ли, как бывало. Ираида Львовна бодрилась и даже имела вид как-будто более оживленный, чем доселе, но это и понятно. Она отлично знала, что от ее присутствия духа главным образом зависит как ход внешнего жизненного благоустройства, так и душевное состояние ее близких. И только в редкие минуты, когда она бывала одна, она давала волю своим беспокойным мыслям и опасениям, каждую минуту боясь, как бы ее задумчивость не была замечена. Наконец, было произнесено слово, которое как-то нарушило этот неестественный покой и вызвало всех к жизни, хотя бы и полной тревог. Однажды за завтраком, посреди какого-то ежедневного разговора, Ираида заметила:

— Скоро надо будет ехать в город.

— Вам надо по делам в Смоленск? — спросил Орест Германович.

— Нет, нам всем нужно ехать в Петербург. Да, это конечно...

— Но как же? — начал было Леонид Львович, но Ираида его прервала:

— А вот так же... очень просто. Август скоро кончается, и мы же не можем здесь зимовать. А насчет того, о чем ты беспокоишься, так это решительно все равно, где ждать, в каком месте. А ведь что же мы и делаем? только ждем. И если все вернуться к своим обычным занятиям, ждать будет легче.

— Чего же ждать? новых огорчений, новых страданий?

— Хотя бы и этого.

— Я не знаю, буду ли я в состоянии опять повторять их.

— А помните, кто-то говорил — как прекрасны бывают люди, всегда знающие, что пужно делать, всегда благостно-спокойные, без всякой мертвенности.

— Да. Но я не такой и люди, живущие со мною, еще менее приближаются к этому. Может быть, и я мог бы достичь этого состояния, но теперь я еще не такой. Я очень слабый и неуверенный человек. Так как же можно меня пускать таким опять в тревоги и сомнения?

Ираида Львовна встала с своего места и, подойдя к брату, сказала ему тихо:

— Насколько я могу, я постараюсь тебе помочь и потому та, о которой ты думаешь, она поможет тебе и сделает так, чтобы всем было хорошо, или, если этого нельзя, то чтоб тебе-то было хорошо.

Леонид Львович поцеловал руку сестры и сказал:

— Благодарю тебя за то, что ты так думаешь!

— Да, я так думаю!

— И ты веришь, что она может это сделать?

— Я слишком мало ее знаю, но думаю, что она захочет это сделать.

Орест Германович встал и незаметно вышел в сад.

— Как ты меня утешила, сестра! Теперь я снова могу ждать, что бы ни случилось. Я спокойно уеду и постараюсь быть таким, как пужно, потому что буду знать, что у меня есть помощь. Мне кажется, что теперь после того, как ты мне это сказала, ее письма будут действовать на меня еще сильнее, еще лучше.

— Да, да. Но не следует забывать и жены твоей. Если будет нужно тебе, или ей, вы, конечно, можете расстаться, даже навсегда, но теперь, куда, ты ее не должен выбрасывать ни из сердца, ни из мыслей.

— Да, конечно, сестра. Тебе может показаться странным, что я скажу, но я люблю и ее, Лелечку. Ты, конечно, знаешь, как я ее любил, но и теперь это не прошло, явись она сейчас...

— Ну, что же бы ты сделал, явись она сейчас? —

раздался чей-то голос за спиной Леонида Львовича и, обернувшись, он увидел, что опершись рукою о косяк, в дверях стояла сама Елена Александровна. Так как все молчали, она повторила свой вопрос менее уверенно:

— Но вот я и явилась, что ж ты будешь делать?

Леонид продолжал смотреть на нее во все глаза.

— Лелечка, откуда ты взялась? — спросила Ираида Львовна.

Елена Александровна отделилась от двери и начала быстро:

— Боже мой, да вы, кажется, не на шутку встревожены? А я скрывалась у Полаузовых и просила не говорить, что я там. Это, конечно, очень легкомысленно, может быть, глупо, мне хотелось... мне хотелось... ну, я сама не знаю, чего мне хотелось. Ах да, именно, мне и хотелось, чтоб вы были встревожены и почувствовали мое отсутствие, чтоб ты, Леонид, лучше меня оценил, полюбил сильнее. Но что же, господа, вы такие надутые? вы на меня сердитесь? это, конечно, ребячество, то, что я сделала, но не будьте такими буками. Ну, посудите сами: я возвращаюсь в родительский дом, к семейному очагу, мне так весело, так приятно вас видеть, а вы хмуритесь. Ведь так, пожалуй, и я скоро скисну, у нас это скоро, милости просим.

— Лелечка, где ты была? — спросила Ираида Львовна.

— Я же вам говорю, что у Полаузовых... Если не верите, пошлите к ним, спросите. И, знаете, я поступила вовсе не так глупо. За эти дни я очень подружилась с Соней, это прокрасная девушка.

— Соня-то прекрасная девушка, я знаю, а все-таки не очень хорошо делать такие выходки.

— Ну, а ты, Леонид? так ничего и не скажешь, не поцелуешь меня? Неужели ты хочешь, чтоб я подумала, что за эти дни, вместо того, чтоб полюбить меня сильнее, ты стал совсем каким-то бесчувственным,—и Лелечка сама подойдя к мужу, обняла его и крепко прижалась. Леонид тихо гладил ее по голове, как-будто они мирились после ссоры. Наконец, Лелечка спросила:

— Отчего же вы одни? или милейшая Полина Аркадьевна и Пекарские уехали?

— Орест Германович в саду, — ответила Иранда Львовна.

— А Полина?

— Полина Аркадьевна уехала в город.

— Что же она так скоро?

— Не знаю, дела какие-то отозвали.

— А что же ты не спросишь о Лаврике? или ты думаешь, что это мне может быть неприятно? — сказал Леонид Львович.

— Нет... отчего я буду думать, что это тебе неприятно? Так просто, не успела спросить, потому что Полина меня больше интересовала... Если тебе угодно, я спрошу. Ну, вот: а где же Лаврик?

— В том-то и дело, что этого никто не знает, где он. Лелечка весело рассмеялась:

— Как так никто не знает? это уж слишком романтично. Куда же он мог деваться?

— Отчего ты, Лелечка, смеешься? Лаврик, действительно, пропал. Мы все себе головы поломали, думая, куда он мог деться. Мы даже думали...

Но Елена Александровна не дала закончить мужу:

— Но ведь это же прелестно! что же, наши «Затоны» какой-то таинственный замок, или Лаврик повторяет «страдания молодого Вертера?» Признаться, от него я

этого не ожидала. Я думаю, вы просто хотите меня заинтересовать и сочинили это таинственное исчезновение сейчас, на месте!

— Но отчего ты, Лелочка, не веришь этому? Или ты что-нибудь знаешь?

— Я знаю о Лаврике Пекарском? какие глупости! Да откуда же мне знать?

— Ты же вот пропадала без вести, оказывается, сидела у Полаузовых; может быть, он тоже там?

— Послушай, Леонид, нельзя же иметь такое скверное воображение! Неужели я такая идиотка, что, если бы даже Лаврик был моим любовником, стала бы скрывать с ним у всех на виду в почтенном семействе?

— В таких случаях ты обыкновенно едешь в Ригу к сестре.

— Ты совершенно прав. В подобных случаях я езжу в Ригу.

Леонид Львович хотел что-то возразить, но Ираида Львовна, тихо подойдя, положила ему руку на плечо и не спеша сказала:

— Леонид, не надо. Сейчас не надо. Вспомни, что мы не только даем тебе помощь, но и остаиваем, и подумай об той, мысли о которой дают тебе радостные силы.

Леонид Львович молча поцеловал руку сестре. Елена Александровна наблюдала эту сцену с насмешливой улыбкой и, наконец, проговорила:

— Да я вижу, что у вас здесь много перемен и все в сторону какого-то таинственного романтизма. Исчезнувший юноша, какая-то таинственная «она», мысли о которой дают радость, быстрые отъезды друзей. Пехватает только вампиров и ритуального убийства. Но, милые мои...

Тут вдруг Лелечка взглянула в открытую дверь и на-смешливая улыбка перешла у нее в самый беспечный смех.

— ...Но, милые мои, если вы все эти истории придумали в честь моего приезда, для моего увеселения, нужно было бы лучше рассчитать выхода действующих лиц. Нельзя же быть такими неумелыми режиссерами, чтоб молодой человек, об убийстве которого идет речь, являлся как раз в ту же минуту самолично. А между тем наш пропавший Лаврик преспокойно идет по саду сюда вместе с Орестом Германовичем.

— Как? Лаврик? — воскликнула Иранда, поворачиваясь к двери.

— Он приехал с тобою вместе? — как-то задыхаясь, проговорил Царевский.

— Да, да! — совсем весело ответила Лелечка и только пожала мужнину руку. И все шесть глаз обратились к открытой двери, в которую было видно, как по прямой дорожке действительно преспокойно шли к балкону оба Пекарские на ярком солнце.

— Мы вам устраиваем торжественную встречу, для этого торжественного случая мобилизована даже я, пропавшая жена, — проговорила Елена Александровна шутливо.

— Елена Александровна! и вы приехали? — проговорил удивленно Орест Германович, взглядывая на племянника. Тот только молча пожал его руку так же, как только что Лелечка пожала руку своему мужу.

— Ну, а где же был Лаврик? — спросила Иранда Львовна.

— Он уже мне все рассказал, — отвечал дядя вместо племянника, — и действительно, можно только благодарить небо за его отсутствие.

— Видите, Леонид Львович, как настоящие, хорошие люди относятся к своим близким: они благодарят небо за их отсутствие.

Но Лелечкину шутку никто не поддержал, и она пошла переодеваться. Пекарские тоже удалились к себе, а Леонид Львович, оставшись вдвоем с сестрой, как-то тяжело и растерянно молчал.

— Леонид, Леонид, ты не хорошо поступаешь. Отчего ты не радостен, отчего ты не веришь? это такое счастье — верить людям.

— А мне не верится и очень тяжело.

Ираида Львовна, обхватив брата, быстро и убедительно начала говорить:

— Бодришь, бодришь, Леонид. Это ничего, что тебе сейчас трудно. Потом с каждой минутой, с каждым шагом будет все легче. Не забывай, что мы — здесь, что и я, и Зоя Михайловна всегда тебе поможем. Тебе может показаться странным, что я, будучи другом твоей жены, так отношусь к тому, что ты любишь другую, это потому, что я понимаю, что это как-то две вещи совсем разные и покуда тебе нужно думать о Зое; она нам поможет.

Леонид Львович слушал этот поток слов и, действительно, будто от одного упоминания имени Лилиенфельд к нему возвращалась, если не вера, то бодрая надежда.

— Да, Ираида, я только теперь вижу, как ты мне сестра! Как хорошо, когда так вместе думают! мы будем вместе надеяться, вместе, вместе!

— Да, мы будем вместе, и мы дождемся того, что жизнь наша, как и твоя, сделается гармоничной и прекрасной!

Ираида Львовна еще крепче обняла брата и так они сидели, пока горничная не принесла опять конверта с

заграничным штемпелем. Иранда торжествующе взглянула на Леонида Львовича, молвив:

— Вот видишь: наша помощь не дремлет.

— Хочешь, прочтем вместе письмо, теперь уж это письмо нам обонм.

— Благодарю тебя, но покуда прочти его один. Ты мне потом скажешь, что пишет Зоя или покажешь письмо. Иди, иди, милый!

Она долго смотрела на дверь, за которою скрылся утешенный Леонид Львович, и думала, неужели скоро будет конец ее добровольным тревогам? Все указывало на близкое успокоение, и Иранда Львовна с удовольствием наблюдала, как сходились к завтраку Лаврик и Орест Германович, оба имевшие такой вид, будто они только что пришли веселую и радостную ванну; Елена Александровна не совсем знавшая, как себя держать, но тоже как-то примиренная и устроенная, ждала с минуты на минуту, что сейчас спустится Леонид, тоже с отблеском бодрого и стройного письма. Но Леонида Львовича все не было, что заставляло думать, что послание, полученное им, довольно длинно, следовательно, тем более утешительно. Наконец, стукнула верхняя дверь и Иранда Львовна, подождав несколько секунд достаточных, чтоб брат мог спуститься, весело крикнула, не оборачиваясь:

— Ну, иди же, Леонид, скорее, где ты там застрял?

Ответа не было, хотя Леонид Львович и входил в комнату.

— Как ты медлишь! — продолжала Иранда Львовна, не оборачиваясь; — мы думали, ты переодеваяешься по случаю Лелечкиного приезда.

Царевский молча передал сестре письмо, которое он держал в руках распечатанным.

— Что это значит? — спросила та.

— Вот прочти сама, — сказал брат.

— Да, но не сейчас?

— Именно сейчас, вслух: я хочу убедиться, что глаза меня не обманули.

— Что это? кажется, письмо от Зои Михайловны? — проговорила Лелечка с усмешкой; — интересно знать, что пишет эта милая женщина; а со стороны Леонида, по-моему, очень предупредительно быть таким откровенным. Что касается меня, я была бы конечно, не очень довольна, если б мои дружеские письма читали вслух, однако, это их дело. Читайте, читайте, Ираида. Я не смогу приступить к завтраку, пока не узнаю, что в нем написано!

Ираида Львовна молча подняла глаза на брата, будто спрашивая взглядом, читать ли ей. Тот кивнул головою и, опустившись рядом, закрыл руками лицо.

— Милый друг! милый и дорогой, любимый Леонид Львович, когда вы будете читать это письмо, меня уж в живых не будет... Как? Зоя умерла? Зои Лилленфельд нет в живых? этого не может быть! Что же мы будем делать, и неужели она сама себя убила? она же не была больной?

— Читайте дальше! — проговорил Леонид, не разнимая рук.

— Я не могу читать этого ужасного письма,—проговорила Ираида, отодвигая листки кончиками пальцев.

— Да, мой милый, — продолжала Лелечка, взяв письмо со стола, — я сегодня застрелюсь и сделаю это также точно и определенно, как и все, что я делала в жизни. Не может быть никакого опасения, что будет промах. Вы очень удивитесь, когда узнаете, что именно эта определенность и служит причиною моей смерти. Как

в своем искусстве, так и во всем, решительно во всем, я вижу и понимаю ясно все до конца, до того конца, за которым начинается то, что мне совершенно недоступно, чему я не верю и не хочу верить. Может быть, за рядом прекрасных комнат, находится выход в страну, которая не имеет конца, но дверь туда мне совершенно закрыта и все, что я знаю, все, что я делаю, относится только к этим комнатам, известным мне до мелочей. Может быть, тем, кто побывали в той стране, комнаты кажутся не столь прекрасными, они даже не так ясно могут их разглядеть, мне же, земной затворнице, все так безнадежно знакомо, всякое комнатное совершенство так доступно, что, действительно, более точного, тонкого, определенного знатока вам, пожалуй, не встретить. Но моя жизнь, моя душа, это — гармоническая пустыня, это совершенство неодушевленных вещей, и я чувствую, что с каждым годом, утопчаясь и совершенствуясь, я делаюсь более мертвой. Жизнь мне делается все более и более неспособной и даже почти не занятой. Я думала, что ее может оживить любовь, но этого, оказывается, недостаточно. Я прошу у вас прощенья за то, что вы меня полюбили и, кроме того я, к стыду своему, женщина, и могу гореть только земным светом, оживляясь, но не оживляя, повторяя, но не нашептывая, а вы, как это ни странно, нуждаетесь тоже в человеке, который бы вас оживлял.

— Милый, милый, бедный Леонид! как мне тебя жалко! и как я тебя понимаю, ее понимаю и все! О, Боже мой, конечно, я не такая, очень дурная, слабая, но может быть, что-нибудь, что-нибудь я могу тебе сделать.

Елена Александровна с шумом отодвинула стул, перешла к Леониду Львовичу и, встав у него за спиной, заплакала, обнимая и целуя его в голову.

— Я у вас прошу прощения за то, что вы меня любили, но я вас не могу никуда вести: не могу же я вести вас в свою печальную и гармоническую пустыню, неизбежным концом которой служит смерть, раньше, чем сердце остановилось?! Конечно, никто этого не подумает про изящнейшего артиста, которому доступно всякое искусство и всякие полеты земного ума, для многих, может быть, и для всех, моя жизнь покажется прекрасной и гармоничной, но вы не можете себе представить, как она бесплодна и пуста! Я вас целую крепко, крепче, чем когда бы то ни было и прошу запомнить для себя то, что я вам написала. Но вот теперь, перед самым концом моей жизни и моего письма, как-будто это одно и то же, у меня является сомнение: существует ли действительно та страна, за рядом прекрасных комнат? если же ее нет, то, конечно, я даю всем пример, потому что я умела жить и сумею умереть.

Только тихие всхлипывания Елены Александровны были слышны в комнате, когда Орест Германович окончил чтение. Но несмотря на эти всхлипывания, тишина казалась настолько сильной, что когда заговорил Лаврик, его голос всем послышался не как голос Лаврика, а как какой-то другой, неслышанный, неизвестно откуда пришедший, который произнес:

— Нет, она совсем не умела жить, и даже не сумела умереть.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ

ГЛАВА 1.

Вернувшись в город, Полина Аркадьевна не чувствовала себя особенно униженной и оскорбленной; наоборот, известный вид ссоры и разрыва, происшедшего между нею и Царевскими, как бы развязывал ей руки и возвращал свободу действия. По делу в томъ, что покуда она никаких действий не имела в виду, так что поневоле должна была ограничиться очередными развлечениями. Вернувшаяся после лета, ее свита ничего интересного ей про себя не могла сообщить, так что Полина быстро их оставила, объявив, что они все ей надоели, и завела новый состав молодых людей, которые, если еще и не зарекомендовали себя никакими безумствами, то по крайней мере, не были безнадежными в этом отношении. Но тем не менее, хотя, повидимому, она так же волновалась, расстраивалась и хлопотала, известная усталость отразилась и на ней, так как все ее действия и труды послали все более и более машинальный характер, и она нередко вспоминала прошлый год, когда на ее глазах происходили действительные переживания и романы. В таком-то состоянии она и лежала однажды в сумерках на своем диване, как вдруг раздался звонок. Полина Аркадьевна не без скуки подумала, что это идет какой-нибудь из

ее постоянных посетителей, который расскажет ей какую-нибудь совсем неинтересную историю, на которую поневоле придется как-то отвечать, высказывать какое-то волнение, как вдруг в ее маленькую комнату вошла Лелечка, которую она не видела с самого того дня, когда последняя неожиданно исчезла.

— Лелечка, друг мой! вот уж кого никак не ожидала, давно ли приехала? Как хорошо с твоей стороны, что ты меня не забыла! А я уж думала, что вы там меня окончательно предали отлучению.

— Как тебе не стыдно, Полина! первая, к кому я пошла, это ты.

— А когда ты приехала?

— Дня четыре тому назад.

— Все-таки ты не очень спешила ко мне. Что ж ты делала? кого ты видела за эти дни?

— Да никого. У Сони Полаузовой, конечно, я бываю.

— Что же, это — новое дружеское увлечение?

— Я думаю, что это не увлечение, и что я нашла самое себя.

— Нет, ты положительно одна из самых живых людей. У тебя, действительно, все непосредственно и сильно. Ты еще не разъехалась с мужем?

— Нет, отчего? Я и не собираюсь этого делать, — и Лелечка добавила, понижая голос: — ты ведь знаешь, что Лилиенфельд застрелилась? муж теперь переживает тяжелое время.

— Нет, я ничего не слыхала. Ах, бедная, бедная! вот это я называю настоящей жизнью. Но почему, что случилось?

— Это довольно длинно объяснять и, вероятно, ты мало что там поймешь.

— Но почему, почему? отчего ты мне так не доверяешь?

— Я тебе нисколько не недоверяю, но это как-то относится к совершенно неинтересной для тебя области. Так же, как я думаю, мало была бы тебе понятна и моя дружба с Соней Полаузовой.

Полина сделала было обиженное лицо, но потом будто что вспомнила и заговорила оживленно:

— Соня Полаузова, Соня Полаузова... мне что-то говорила про нее Ираида Львовна... про какую-то ее особенность. Я уверена, что эта-то вот особенность и подружила вас.

— Может быть, — согласилась Лелечка.

Полина захлопала в ладоши.

— Тогда я знаю! тогда я знаю! т.-е. не знаю, а догадываюсь. Но ты мне должна рассказать, Лелечка, как это делается! Представь себе — я никогда в жизни этого не испытала. Я даже не верила, что это может быть на самом деле. Нет, положительно, ты меня оживила! вернула жизнь! а то мои мальчики совсем выдохлись.

— Я очень рада, что я вернула тебе жизнь, но дело в том, что ты предполагаешь какие-то совершенные пустяки. Я должна тебя разочаровать и снова повторить, что подружилась я с Соней на такой почве, которая едва ли может тебя интересовать.

— Нет таких вещей, которые бы меня не интересовали, особенно которые касались бы тебя. Ведь не записались же вы с Соней в какую-либо политическую партию? да и то, скучно то, что говорят в думе, а если вы будете готовить бомбы, или устраивать погромы, так это весело! Такую политику я понимаю. Во мне положительно живет заговорщица. Я себе так живо представляю — куда-нибудь проводят с завязанными

глазами, берут клятвы, пересылают письма по водосточным трубам, а то еще восстание! ах! На баррикадах, со всех сторон пожар, пушки... стоишь со знаменем, что-то поешь и потом отдаешься, сама не знаешь кому!

— Нет, я и восстаний не предпринимаю.

— Но что же тогда? что? скажи, душка! жизнь так скучна!

— Да если хочешь, я скажу. Я думаю, что это не секрет, потому что об этом читают даже публичные лекции и потом, там очень энергично вербуют новых членов. Я поступила в теософское общество.

— В теософское общество, это где всякие индусы? Но там есть два больших недостатка: во-первых, то, что они слишком много читают лекций, а во вторых, то, что они против любви.

— Они совсем не против любви, а что касается лекций, так их можно не слушать, а читать в книжке.

— Ах, да, я понимаю. Лекции, это для неграмотных.

— Хотя бы. Ну, вот видишь, ничего интересного нет.

— Нет, отчего же! ты не думай, я все могу понимать, а к известному мистицизму у меня очень большая склонность. Ты меня как-нибудь сведи на эти лекции.

— Что же, это можно.

Но, очевидно, известие о теософском обществе не так много сказало воображению Полины Аркадьевны, как возможность заговоров и восстаний, так что в ее следующем вопросе уже ясно слышалось желание быстрейшего перехода к очередным делам.

— Ну, а как же твои сердечные дела, Лелечка, милая?

— Покуда никак.

— Ждешь?

— Жду. Сама не знаю только, чего.

— Это скоро узнаешь, чего. Когда человек ждет, он всегда чего-нибудь дождется.

Лелечка слегка откинулась на спинку дивана и начала мечтательно:

— Я сама не знаю, чего в сущности я жду. Теперь нашло какое-то успокоение: и перемена в муже, и общество Сони, и все вообще меня заставляют как-то успокоиться, и вместе с тем я знаю, что это не настоящий покой, а так, остановка, и что я отступила только для того, чтобы дальше скакнуть, для разбега, а куда будет направлеи этот мой прыжок, не знаю, не хочу, боюсь думать об этом. Когда я перобираю в своем уме все лица, которые я знаю, я не могу остановиться ни на одном.

Полина ее прервала:

— Разве тут может быть выбор? всегда полюбишь того, кого полюбишь. Остановишься на том, на ком остановишься, это не в нашей воле. Мне бы казалось даже как-то стыдно руководиться в таких вещах какими бы то ни было соображениями. Если жизнь не безумие, то стоит ли жить!

Лелечка, будто не слыша Полининой вставки, продолжала:

— А между тем, у меня является мысль, не для того ли я хочу этого прыжка, чтоб показать всем; и Ираиде, и мужу, и этому позорному Лаврентьеву и даже Лаврику, что я далеко не смирилась, и что они еще не знают, на что я способна? Ракетой бы хотелось мне взлететь!

— Вот это я понимаю! — воскликнула восторженно Полина, — именно ракетой! О, еще мир узнает, как живут (а может быть, погибают, не все ли равно! Пусть!) те, в ком жив настоящий трепет, настоящая сила восторга!

И она маленькими ручками крепко сжала вялые Лелечкины ладоши и смотрела на него, будто видела ее в первый раз, раскрыв подведенные глаза и готовая прильнуть накрашенным ртом к губам своей гостьи.

ГЛАВА 2.

Почти тотчас по приезде в город Орест Германович Пекарский заболел. Не было никаких таинственных, или душевных причин для его болезни. Вероятно, он ослабел от утомления, так что самая обыкновенная простуда привела за собой серьезное нездоровье, заставившее его на несколько недель не оставлять кровати и даже, временами доводившая его до состояния беспамятства, так что нельзя было проверить, посещение ли «Озер» сделало Лаврика домоседом, или стечение внешних обстоятельств не позволяло ему оставлять больного дядю. В его заботах ему помогали Ираида Львовна и Лаврептьев со своими друзьями, так что уход был не очень утомителем, если не считать досадной, вообще, скуки для всякого, даже не такого молодого человека быть как бы взаперти, в полутемных и пропитанных лекарствами комнатах, когда на дворе еще стоял ясный август. Только в комнате самого Лаврика, отделенной коридором от двух других, было всегда открыто окно, у которого сидели сам Лаврик и Виктор Андреевич Фортов. Лаврептьев вызвался сидеть около больного, пока тот не проснется. Хотя не было никакого сомнения, что звуки из Лавриковой комнаты в спальню дяди никак не могут доноситься, однако оба собеседника говорили вполголоса.

— Вам очень скучно, я думаю, ходить за больным?

— Мне теперь как-то все равно. Я почти не знаю, что значит скучно. У меня так хорошо на душе, что я едва замечаю, что делается вокруг. Конечно, если-б с кем-нибудь случилось несчастье, или я бы кого-нибудь огорчил, мне бы это было тяжело, а так я же знаю, что опасности для жизни Ореста Германовича нет, а что когда он выздоровеет и вернутся душевные силы во всей полноте, то он узнает такую новость, которая сделает его очень счастливым, а что до того, что я сижу все в комнатах или должен там иногда давать лекарство, так ведь это такие пустяки, что стоит ли на них обращать внимание! Я этого ничего не слышу и не вижу, я все время будто слушаю, что у меня внутри, а там так покойно, гармонично и радостно, что я не знаю с чем сравнить, будто играют Моцарта.

— Вы очень любите Ореста Германовича?

— Да, я только теперь узнал это.

— Может быть, вы только теперь полюбили его?

— Нет, но я только теперь узнал.

— Вы, кажется, хотели переезжать, когда он поправится?

— Да, нам бы хотелось жить поближе к Дмитрию Александровичу и мистеру Стоку. Мы предлагали Лаврентьеву вместе снять квартиру, но он почему-то не хочет этого.

— Ведь он живет с матерью.

— Да, но теперь он будет жить отдельно.

— А почему вам не поселиться просто с мистером Стоком?

— Нам этого не приходило в голову. Но ведь, может быть, и он не захочет с нами жить?

— Нет, я думаю, что он захочет. Я ведь отчасти знаю, почему Лаврентьев отказался.

— Почему? Я ему очень надоел летом.

— Нет, совсем нет. Он хочет несколько изменить свою жизнь.

— Это очень жалко.

— Так ведь сам Дмитрий Алексеевич не будет меняться. А если изменится, так только к лучшему, и потом, эти перемены больше касаются внешнего устройства жизни.

— А вы знаете, в чем они заключаются?

— Знаю. Я даже думаю, что могу вам сказать, потому что все равно, завтра, послезавтра сам Дмитрий Алексеевич это объявил бы. Он женится.

— На Елене Александровне?

— Да что вы, Лаврик! я же сказал, что эта перемена к лучшему. Он женится на очень хорошей и обыкновенной девушке из их круга, к которой не питает никаких романтических чувств, он делает это для того, чтобы успокоить мать, и отчасти, чтобы успокоить себя и по-моему, поступает как следует. Это его ни в чем другом нисколько не изменит.

— Ну, как уж там не изменит? наверное, изменит. Вот и вы, Виктор Павлович, женитесь.

— Нет, уж я то пожалуй не женюсь.

— А скажите, Лаврик, вас так встревожило мое известие, разве вы все еще ревнуете эту даму?

— Нет, я совсем не потому.

— Что же, вы Дмитрия Алексеевича ревнуете?

— Нет, я просто так. Это слишком бы напоминало прошлое, которого помнить я не хочу и потом тогда, Дмитрий Алексеевич, действительно изменился бы, — помолчав, Лаврик продолжал: — а мы с дядей как какие-то цыгане: вот он выздоровеет, поедет в Лондон,

потом будем менять квартиру, никто с нами жить не хочет.

— Вы просто прибедниваетесь, и зачем вам нужно, чтобы с вами еще кто-то жил? Вы сами говорите, что вы теперь радостны, и Орест Германович, хотя, может быть, по другому, будет счастлив, в этом я уверен, а что касается того, что мы цыгане, так вы же знаете, что мы всегда в пути и что кто останавливается, тот гибнет. И не в таком пути, как Елена Александровна, или знакомая нам Полина, (они мечутся, как угорелые зайцы в загородке и, в сущности, остаются на той же площадке), а мы идем прямым путем вперед, хотя бы и медленно.

— Да, да, — сказал мистер Сток, незаметно вошедший в комнату, — и в пути нужно иметь как можно меньше багажа. У всякого есть свой чемоданчик, только счастливицы идут с пустыми руками и наш друг Дмитрий Алексеевич очень разумно поступает, что вместо нескольких пудобных чемоданов, берет с собой легкую сумочку.

— Откуда вы явились, мистер Сток? — сказал Лаврик, подымаясь со стула.

— Я? Очень просто явился из своей квартиры, но вы здесь, очевидно, так заговорились, что не слышали моего звонка, и впустил меня Лаврентьев, он же послал и за вами, так как ваш дядя проснулся и ждет вас.

— А вы, значит, знаете, что Дмитрий Алексеевич женится?

— Я вам могу сказать еще одну новость, что в Лондон поеду и я тоже, и потом мы вместе снимем квартиру. Я уже переговорил с вашим дядюшкой.

— Ах, мистер Сток, какой вы милый человек! Я только что говорил об этом.

- Вам, наверное, очень хотелось этого?
— Очень.
— Что же удивительного, что ваше желание исполняется?

Когда уже все трое уходили, Лаврик задержал Фортова и сказал тихо:

- Что я вам хочу сказать, Виктор Павлович...
— В чем дело?
— Конечно, это, может быть, очень хорошо для Дмитрия Алексеевича, что он женится, но вы куда пождите... ну еще лет десять, обещайте мне, если меня хоть немного любите.

— Я вас очень люблю, Лаврик, и охотно дам это обещание, тем более, что я вовсе не собираюсь этого делать.

Когда Лаврик вошел в комнату своего дяди, тот не спал, но тем не менее не заметил прихода своего племянника. Посидев несколько секунд молча, Лаврик спросил:

- О чем вы думаете?

Орест Германович не испугался, не удивился, и ответил совсем просто, даже не переводя глаз на собеседника:

— О многих вещах. Главным образом о нашем путешествии.

— Вам Андрей Иванович сказывал, что он тоже поедет с нами?

— Да. Он мне все рассказал. И то, что Дмитрий Алексеевич женится, и то, что он едет с нами и предлагает осенью вместе снять квартиру.

— Это все ведь очень хорошо, правда?

— Да, это очень хорошо. Меня это радует и заставит поправиться скорей.

Лаврик положил свою голову на ту же подушку, где лежала голова Ореста Германовича, и сказал ласково:

— А все-таки одной новости вам не сказал мистер Сток.

— Какой-же

— Это того, что я стал совсем другим.

— Милый Лаврик, в ваши годы чуть не каждый час меняются.

— Нет. Теперь уж это по настоящему, и мистер Сток должен был-бы это знать, и знать, что это по настоящему, и еще то, что я вас теперь очень люблю и ни на одну минуту с вами не расстанусь, что бы ни случилось, что бы ни случилось.

— Этой новости, действительно, мне мистер Сток не говорил.

— Ну, да, потому что этого он мог и не знать.

— Нет. Он не потому мне ее не говорил!

— Почему-же?

— Потому что это новость только для вас, Лаврик, а мне и мистеру Стоку это давно прекрасно известно.

ГЛАВА 3.

Хотя Полина Аркадьевна имела полное основание считать себя обиженной, но она совершенно справедливо рассчитала, что такая позиция окажется довольно скучной, а потому сочла за лучшее не помнить зла, пренебречь и снова водрузиться у старых друзей. В этом ей помогала Лелечка, никогда, впрочем, с ней и не ссорившаяся; а главная Полинкина обидчица, Ираида, была так довольна, что все принимает видимость успокоения, что и не протестовала против восстановления в правах

своей старинной приятельницы. Таким образом наше общество снова состояло почти из тех же членов, что и в начале прошлого года, наносные элементы были устранены, Зои Михайловны не было на свете, Лаврентьев исчез с горизонта и все, казалось, было по старому. Вероятно, в целях большого утверждения неизменности отношений и было решено отправиться вчетвером на открытие «Совы», в которой, повидимому, тоже никаких перемен не произошло.

— Смотрите, как-бы не встретиться там с Лаврентьевым... Это все-таки будет не очень приятно.

— Этого, наверное, не случится. Не думаю, чтоб Дмитрий Алексеевич стал посещать теперь «Сову». Он ведь там бывал исключительно для меня.

Леонид Львович не особенно охотно согласился сопровождать своих дам на открытие, но так как они находили, что одним туда являться неловко, а кавалеров даже Полина как-то старых растеряла, а новых не подобрала, он подчинился.

Открытие, повидимому, предполагали обставить с некоторой помпой; на это указывало убранство уж самого входа, задрапированного какими-то испанскими сочетаниями черного с желтым.

Но эта Испания продолжалась только до самого зала, где, вероятно, художнику надоело держать однообразную строгость и он разрешился, обратив знакомые нам комнаты в какое-то подводное царство. Общий тон был зеленовато-голубой, но лампочки всех цветов, помещенные почему-то под столами, на все бросали отблеск пестроты и перламутра. Убранное таким образом помещение, казалось незнакомым, в роде того, как люди изменяются до неузнаваемости, надев маскарадный костюм. Народу было больше, чем когда-бы то ни

было и, пробираясь с тарелками в руках, поминутно рискуя вылить соус за ворот своему соседу, наши пожалели, что здесь нельзя заранее заказывать стола, как в каких-нибудь менее артистических учреждениях. Как ни старались Елена Александровна и Полина делать вид, что все их интересует попрежнему, по гальванизация не удавалась. Наконец Леонид Львович сказал:

— Как это странно: повидимому, ничто не изменилось здесь: та-же развлечение, та-же обстановка, даже почти та-же публика, а между тем все кажется мертвым, и кажется, что все притворяются, что их это интересует и занимает. Или мы сами изменились и притупилась наша восприимчивость к тем вещам, к которым мы привыкли, или повторность этих вещей придает им какую-то неживую механичность, или, просто, все надоедает, по что-то угасло; а, может быть, мы просто делаемся старше и, как старики, находим, что прежде было лучше, когда весь секрет в том, что мы сами прежде были восприимчивой?

— Просто-на-просто, вы сегодня в дурном настроении и склонны философствовать, а это одно из самых скучных занятий и прежде всего для тех, кто им занимается.

— А я скажу еще, — прибавила Лелечка, — что нам скучно оттого, что мы здесь никем не заняты, не говоря уж о том, что ни в кого не влюблены, а приходится сюда просто, чтоб выпить стакан неважного вина, всегда скучно.

И действительно, наша компания чувствовала себя как на каком-то острове. Несмотря на то, что к ним подходил, то тот, то другой, оживленно говорили, присаживались, но никакого интереса и связи не было вид-

по и сидели они как посторонние критически настроенные зрители. Полина подхватила последние слова Елены Александровны и с жаром заговорила:

— Да, конечно, это происходит оттого, что мы ни в кого не влюблены; тогда все приобретает новую прелесть, новый вкус, а так что же? сидим как скучающие иностранцы. Ведь не для каких-нибудь исканий в искусстве или серьезной музыки мы сюда приходим! Здесь все должно быть весело и влюбленно... Вот если бы это было в прошлый год, — добавила она, понижая голос и обращаясь к одной Лелечке, — ты бы уж, наверное, почувствовала волнение и оттого, что здесь нет Лаврентьева, и оттого, что сюда пришел Лаврик.

— А разве Лаврик здесь?

— Он только что пришел... Но Боже мой! с кем же он пришел? Лелечка, посмотри-ка: ведь это будет лучше, чем твой увалень Лаврентьев.

— Это какой-то его знакомый, он летом гостил в «Озерах». Фамилии его я не знаю.

— Ну, как же можно было не узнать его фамилии и скрыть от меня, что летом у нас были такие соседи! Ты-бы хоть по дружбе должна была сказать мне это.

Лаврик между тем, не проходя во вторую комнату, сел с Фортовым у самой эстрады, откуда-то раздобыв крошечный стол.

Как-бы в подтверждение мысли, что все на свете повторяется, опять молодой француз показывал приемы ритмической гимнастики, снова господин с черной бородой играл ему отрывки в шесть-восьмых, а тот изображал Смерть Нарцисса. И, как-будто вспомнив прошлогодний вечер, опять Полина Аркадьевна стала шептать, схватив за руку свою соседку:

— Вот что, Лелечка, никогда не проходит и никогда

не пройдет: это красота! Красота, любовь и искусство... И они так тесно связаны между собой, что одно без другого не может существовать... Мы просто, слишком долго не пили этого тройного источника, потому как-то заплылились, закисли. Но это временно, поверь мне.

Помолчав, она продолжала:

— И еще могут быть моменты не чистой прелести, а сильных чувств, сильных переживаний, катастроф: я уж тебе говорила, как бы я стояла на баррикаде! Если б пришлось погибнуть, и я бы не умела умереть как Травната, в поцелуе, я бы хотела гибели Титаника, землетрясения, наводнения, пожара! Вот как хотела бы! Ты не согласишься.

— Полно вам каркать, Полина! вы неисправимы, — отозвалась Иранда Львовна.

— Пойдем, Лелечка, пройдемся, — вдруг предложила Полина, не обращая внимания на реплику Иранды Львовны.

— Где ж тут пройтись! ты же видишь сколько тут народу: как говорится, не проворотишь.

— Ну, что там не проворотишь! так, потихоньку пролезем.

Хотя Елена Александровна ясно видела, что Полине хотелось просто на просто поближе рассмотреть Фортова, но ей самой было так скучно сидеть за семейным столом, что она сказала, слегка улыбаясь:

— Ну, пойдем пожалуй, если тебе так не сидится.

Но до столика, расположенного у самой эстрады, им не суждено было беспрепятственно добраться. Первыми их задержала Соня Полаузова с братом, неизвестно откуда взявшаяся. Они были в первый раз в «Сове» и казались растерянными.

Указав им место, где сидели Ираида Львовна и муж, Лелечка сделала с трудом еще шага четыре вперед. Полина что-то говорила сзади, разделенная уже несколькими людьми.

— Где вы были до сих пор? вы только что приехали. Я вас не видел, — произнес Жак Жубер, вскакивая со стула, при чем стакан, который он не выпускал из рук, слегка пролился на соседа.

— Я тут уж давно и видела ваши прелестные попрежнему танцы! — отвечала Лелечка через чью-то голову.

— В том то и ужас, что попрежнему: — отвечал француз, делая комическую гримасу, казавшуюся еще комичнее от освещения снизу.

— Здесь сегодня забавное освещение! как-будто ходишь по потолку.

— А что ваш муж, ваши друзья?

— Мой муж здесь, он в той комнате.

— Я видел здесь этого молодого человека, Пекарского, и искал вашу компанию около него, но потом подумал, что вы совсем не приехали.

— Мы приехали не вместе и случайно разъединились, — говорила Лелечка, краснея, тем более, что она уже почти добралась до Лаврика, который не поворачиваясь, казалось, внимательно слушал ее разговор с Жубером.

Его спутник, очевидно, не узнавал Лелечки, чему последняя даже была отчасти рада. Его лицо ей напомнило так живо ее визит к Лаврентьеву и прошлый год, что она с большим чувством сказала своему собеседнику:

— Я так рада, так рада, что с вами встретилась, что вы не можете себе представить!

Тот посмотрел на нее с удивлением.

— Конечно, очень счастливая случайность привела меня сегодня сюда, но теперь мне, кажется, опять нужно идти на эстраду, я вижу знаки, которые мне делает мой аккомпаниатор оттуда.

Лелечка только сейчас заметила, что действительно Жубер был покрыт темным плащом, под которым, очевидно, скрывался не пиджак, а короткое трико, в котором тот исполнял мимические отрывки. На этот раз был воинственный танец, напоминавший мужские пляски на тризне героев. Лелечка смотрела с большим вниманием уже на самого Жубера, забыв о Фортове. Танец делался все быстрее и быстрее, покуда с последним резким аккордом танец разом не остановился, закинув голову и руки и в ту же минуту осветился красноватым светом будто далекого костра. Эффект был очень красивым, и публика, аплодируя, не заметила, что красный блеск не пропадает, а наоборот усиливается, при чем воздух как-то сразу сделался дымным. Не замечал, казалось, этого и сам исполнитель, все еще весело раскланивавшийся, встряхивая волосами. Наконец, кто-то громко сказал:

— Но мы горим!

На секунду все сразу стихло, для того, чтоб сейчас же поднялась какая-то не очень шумная, но невообразимая суматоха. Первые истерические крики жещип из дальней комнаты были как-бы сигналом к общему гвалту. Многие столы были сразу же со звоном опрокинуты, на них валились люди и следующие с трудом перелезали через упавших. Все сразу-же бросились к узкой лестнице выхода, валясь и толкаясь. Только по широко-разинутым ртам некоторых благоразумных, можно было догадываться, что они о чем-то кричали, вероятно, убеждая успокоиться. Более испуганные и не-

терпеливые влезали на стулья и столы, думая как-бы, что этим они избегнут опасности быть задавленными, и не валились сейчас-же только потому, что толпа была слишком сжата. Как только образовывалось малейшее свободное пространство, они падали, чтоб больше не подыматься. Наконец, загорелись длинные ленты и серпантин, спускавшиеся с потолка.

Огонь весело взвивался кверху, откуда падал огненной золой на головы кричащих людей. Волосы некоторых дам вспыхнули, а на узкую лестницу все продолжали карабкаться, валя и толкая друг друга. Наконец, в низких дверях образовалась такая куча, что через нее можно было пролезть только на четвереньках. Некоторые пели женщины, высоко подняв над головами других. Случайно задетый выключатель вдруг распространил темноту на все помещение, освещаемое теперь одним пожаром. Желая восстановить свет, кто-то пустил вместо этого электрический вентилятор, который еще больше раздувал пламя, расстилая его по земле. Полотна, прибитые по стенам, коржились и цветные капли текли на плечи теснившимся. Особенно трудно было выбраться тем, кто попал в угол за большим каминном. Вероятно, уже приехали пожарные, потому что послышался звон стекол и ставни, закрывавшие окна на улицу, хлопнули по затылкам тех, кто находился около них. Лелечка оказалась почему-то именно за печкой; кругом были все чужие. Она видела мельком, как в общем потоке проплыла мимо нее голова ее мужа, но, очевидно, он ее не заметил, хотя она громко кричала ему: «Лепопид».

Ни Ираиды Львовны, ни Полины не было видно; ей показалось, что вдоль противоположной стены прошли Лаврик и Фортов, почему-то не к выходу, а в интимную

комнату. Очевидно все уже теснились в передней, откуда редко кто возвращался, так как в большой зале стало несколько просторней. Елена Александровна рискнула слезть со скамейки, куда она забралась, попав в угол. И шум несколько уменьшился, так что можно было различать отдельные фразы проходивших. Но лучше бы их было не слышать! Слова печеловеческого страха, пеленые приказания и советы или спокойствие, близкое к иднотизму. Как ни страшно, Елена Александровна только сейчас почувствовала, услышала, что она сама все время кричит. Собственный ее голос так незнакомо поразил ее слух, что она подумала: «Кто же это кричит? Боже мой, Боже мой! — ах, да, это я сама!

Какая-то толстая дама плакала на уцелевшем столе и, неизвестно для чего, методически спокойно раздевалась. Еще больше, чем собственный голос, Елену Александровну удивило ее имя, произнесенное кем-то, и то, что слова, следовавшие за этим обращением имели человеческий смысл.

— Елена Александровна, какое счастье, что вы еще здесь, а не в передней! идейте в ту комнату, там нег давки и через окно можно спастись.

Перед Лелечкой стоял Жубер, в том же коротком трико, неровно освещаемый огнем.

— Да, да! — зашептала Лелечка, — поидемте! вы видите — я ваша.

Жубер ничего не ответил, а отодрал се руку от края печки, за которую она держалась. Действительно, в интимной комнате, почти в темноте, было не более человек пятнадцати, которые ждали у разбитого окна. Проходя мимо кого-то, Лелечка крикнула:

— Вот видите, Лаврик, и я спасусь.

Незнакомый молодой человек, обернувшись, ничего не ответил.

— Я вылезу первым и подам вам руку, — сказал ей Жубер.

— Нет, нет. Я первая, я первая, а то вы меня оставите.

— Но как же вы будете держаться, кто вам поможет?

— Я буду держаться за ноги того, кто полезет передо мной.

Какой-то господин рассовывал по карманам пригоршню колец и брошек, неизвестно кому принадлежавших. Лелечка дрожала на улице, ожидая, когда покажется голова Жубера. Теперь уж она ему помогала вылезать, таща его за что попало.

— Боже мой! Боже мой! Милый Жубер, мы живы, как мне вас благодарить?

— Об этом мы поговорим после, теперь надо добираться, чтоб не простудиться ни вам, ни мне. Что вы делаете? — вдруг спросил он, увидя, что Лелечка опустилась и клонит голову к тротуару.

— Я целую милую, милую землю, по которой мне еще придется походить своими ногами.

ГЛАВА 4.

Хотя Лаврик с Орестом Германовичем ехали еще по набережной Васильевского острова, но им казалось уже, что они находятся в незнакомом городе. Может быть, этому впечатлению способствовал ранний утренний час, когда все в городе кажется свежим и новым. От их дома до пристани было так недалеко, что они, ко-

ячно, могли бы пройти это расстояние и пешком, но Орест Германович еще не совсем оправился после нездоровья и мистер Сток взял с Лаврика слово, что они непременно возьмут извозчика. Андрей Иванович был уже на пристани и делал им знаки палкой. Тут же стояли Лаврентьев, Фортов и Ираида Львовна.

— Что вы так поздно? это, наверное, вы, Лаврик, проспали! Я уже осмотрел весь пароход и каюты, которые нам предназначены.

— И какое хорошее утро, — ответил Орест Германович, переходя паромный мостик.

— Мне все кажется, что это не сентябрь, а весна.

— Это весна и есть, — отозвался Лаврик — начало всегда кажется весною.

Ираида Львовна, вся в черном, осталась на палубе со старшим Пекарским. От бело-голубой воды и нестерпимо ярких медных предметов ее траурный костюм и печальное, не похудевшее, а как-то потемневшее лицо казались еще мрачнее.

— Бедная, бедная, Ираида Львовна! я вас еще не видел с тех пор, как случилось это несчастье.

Ираида взглянула на говорившего и, помедля, ответила:

— Да, мы давно уж с вами не видались. Какой-то ветер налетел на всех нас. Может быть, он разогнал тучи, но некоторых унес навсегда.

— Да, сначала Зоя Михайловна ушла от нас, теперь взял Леопид Львович, как-будто первая его звала за собою.

— Конечно, можно объяснить и так. В сущности, брат погиб совершенно случайно. Никто не мог предполагать, что в «Сове» произойдет пожар. Конечно, при таком бедствии было трудно попасть в число тех счаст-

ливцев, которые спаслись. Но все эти рассуждения писколько не помогают делу.

— Мне как-то стыдно перед вами, Ираида Львовна, за мое счастье.

— Грех вам говорить так, Орест Германович! наоборот, мне было бы гораздо тяжелее, если б я знала, видела, что еще и мои друзья не вполне счастливы.

— Может быть вы, Ираида Львовна, нашли успокоение в том же, в чем и Елена Александровна?

Ираида посмотрела на него с удивлением:

— В чем и Лелечка? я вас не понимаю! не в обиду будь ей сказано, она, кажется, склонна думать, что успокоение находит в каждом новом романе. Если это и можно назвать успокоением, в чем я сомневаюсь, то оно во всяком случае не для меня.

— Нет, я имел в виду то общество, куда вступила Елена Александровна. Ведь это, кажется, не секрет, она всем об этом говорит.

Ираида Львовна вздохнула:

— Это не секрет, а просто — препровождение времени. Нет, и это тоже не для меня. Я, конечно, говорю не про Лелечку, а искренних теософов... Видите ли, во мне нет ничего таинственного и никакой склонности к мистике, хотя бы даже такой детски-ученой, как у теософов. У меня нет никаких исканий. Конечно, не мне судить, но мне кажется — я человек не злой и очень верующий, но совсем обыкновенный... Это мое органическое свойство, если хотите, недостаток. Теперь эти оба свойства как-то усилились во мне, укрепились, но писколько не изменили своего характера.

Орест Германович посмотрел на Ираиду Львовну, будто он видел ее в первый раз. И действительно, ее потемневшее лицо было спокойно и печально, ее глаза

были способны выражать доброту, но, казалось, никогда не загорятся тем странным белым огнем, радостным и светлым, который он имел случай наблюдать за последнее время, равно как им были недоступны и те быстрые, мелкие искры желаний, которые иногда роднили Елену Александровну с Полиной.

— Да, я делаю добро, которое могу, я верую и стараюсь не раскисать, вот все, что я могу сделать.

— Да, конечно, — ответил Орест Германович, которому делалось все более и более скучно. Он отчасти был рад, хотя бы как развлечению, Полине Аркадьевне, которая показалась на набережной, колотя извозчика зонтиком по спине. Она не видела знаков, которые ей давали с палубы и в волнении ринулась во внутренность парохода. Орест Германович хотел было пойти ей навстречу, но она уже подымалась к ним, сопровождаемая Лавриком, Фортовым и Лаврентьевым. Она желала все осмотреть, все знать и волновалась так, будто ехала сама.

Улучив минуту, когда Лаврик находился около нее, она шепнула:

— Елена Александровна вам очень кланяется и желает счастливого пути; она собиралась было сама приехать, но подумала, что будет слишком много посторонних.

— Какие же тут посторонние? все свои. Очень жаль, что Елена Александровна не приехала, если ей очень этого хотелось.

Полина пристально на него посмотрела и сказала:

— Вы, Лаврик, бесчувственный.

— Отчего же? Я, наоборот, теперь гораздо лучше чувствую, чем прежде.

— Ну, не будем ссориться перед отъездом. Если вы счастливы, тем лучше, только не закисайте.

— Нет, уж теперь я не закисну, будьте покойны.

— Какой вы самоуверенный.

— Я уверен не столько в себе, сколько в том что я узнал.

— А что же вы узнали?

— Очень важную вещь. Секрет быть счастливым.

Уже провожатым нужно было уходить с парохода; прощались радостно и несколько наспех, как-будто отъезжавшие ехали на увеселительную прогулку. Но как ни спешно было прощание, Лаврик все-таки успел сказать Фортову:

— Вы, Виктор Андреевич, не забудьте о вашем обещании!

Тот посмотрел было на Лаврика, но потом, вспомнив, ответил быстро: — нет, нет.

— А у вас уже секреты? ух, уж этот Лаврик! — воскликнула Полина игриво и взяла Фортова под руку.

— А вы, Полина Аркадьевна, все такая же!

— Я? все такая же. А зачем мне меняться? я иногда своими знакомыми недовольна, а к себе более снисходительна.

— Не забудьте, как только приедете, прислать мне телеграмму! — кричал Лаврентьев уже с берега. Пароход медленно отвалил, повернул и еще раз прошел мимо пристани в отдалении.

— Вот теперь мы и в самом деле сделались плавающими и путешествующими.

— Да, но только такими, которые отлично знают цель своего плаванья.

— Что ты хочешь сказать этим, Лаврик? как же не знать? конечно, мы едем в Лондон.

— Я ничего другого не хотел сказать, — ответил Лаврик, улыбаясь и смотря прямо в глаза Пекарскому. Помолчав некоторое время, тот спросил:

— Это покуда ты не хочешь ничего другого сказать?

-- Покуда. Да по правде сказать, я теперь не только не хочу, но и не могу сказать ничего больше.

— Но те, которые могут знать, узнают все в свое время?

— Да, в свое время мы узнаем все, что нам нужно.

М. КУЗМИНЪ.

ВОЕННЫЕ РАЗСКАЗЫ

.....
АНГЕЛЪ СЪВЕРНЫХЪ ВРАТЬ. — СЕРЕНАДА
ГРЕТРИ. — ПАСТЫРЬ ВОИНСКІЙ. — КПРИ-
КОВА ЛОДКА. — ПРАВЯЯ ЛАМПОЧКА. —
ДВА БРАТА. — ТРЕТІЙ ВТОРНИКЪ. — ПЯТЬ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВЪ.
.....

ПЕТРОГРАДЪ.

1915.

Содержаніе.

Ангелъ сѣверныхъ вратъ	5
Серенада Гретри.	19
Пастырь воинскій	33
Кирикова лодка	43
Правая лампочка	51
Два брата	59
Третій вторникъ	73
Пять путешественниковъ	85



Ю Р. Ю Р К У Н У

АНГЕЛЪ
СЪВЕРНЫХЪ ВРАТЬ.

Послѣдній поѣздъ уходилъ, увозя бѣглецовъ изъ города. Слухи о близости и звѣрствѣ враговъ тревожили тѣмъ болѣе, чѣмъ были разнорѣчивѣе и непровѣреннѣе. Желавшіе ухватъ толпою жили на вокзалѣ, ожидая своей очереди. Буфетъ не успѣвалъ возобновлять сѣбѣстныя запасы, и кипятки изъ огромнаго бака на дворѣ сейчасъ же разбирали по чайникамъ, не давая времени перелить его въ большіе самовары. Дѣти и женщины сидѣли укутанной кучей на узлахъ, мужчины, поднявъ воротники пиджаковъ, руки въ карманы, разсуждали о послѣднихъ слухахъ и смотрѣли на дымокъ надъ лѣсомъ, не зная, очередной ли это поѣздъ, или уже признакъ приближающагося непріятеля. Но несмотря на видъ катастрофы, на вокзалѣ было увѣреннѣе и даже веселѣе, чѣмъ въ городѣ, гдѣ оставалась только бѣднота, больные, или не терявшіе времени лавочники. Пользуясь безлюдьемъ, по улицамъ бродили куры, сохранявшія наибольшее спокойствіе; собаки, тѣ волновались ужасно. Расхрабренная курица взлетѣла даже на невысокой подоконникъ открытаго окна; чья-то худая рука равнодушно махиула и птица, поморгавъ красными вѣками, голову на бокъ, не спѣша, удалась.

Въ небольшой комнатѣ, убранной, какъ небогатая усадьба, сидѣла молодая женщина. Она не читала, не работала, не смотрѣла на улицу (гдѣ впрочемъ и смотрѣть-то было не на что), а просто сидѣла и будто прислушивалась. Она сидѣла на тяжеломъ стулѣ, почти вплотную стоявшемъ у комода, куда, вѣроятно, никто никогда не садился. Гладко причесанные во-

лосы, простое платьѣ и косынка, стягивающаа грудь, дѣлали ея похожей на картины Ѳседотова. Ничего не было слышно, но сидѣвшая, очевидно, не даромъ прислушивалась: вдругъ вытянувъ шею, и оставшись такъ нѣсколько секундъ, она встала и прошла въ сосѣдную комнату. Тамъ лежалъ на диванѣ мальчикъ лѣтъ десяти, одѣтый, съ закрытыми глазами. Повидимому, онъ спалъ, такъ что мать пришла на сонный стонъ, или даже вздохъ, услышанный только ею. Теперь мальчикъ лежалъ спокойно, похожій на мать. Въ комнатѣ казалось необыкновенно тихо. Анна Николаевна постояла нѣсколько минутъ, потомъ вышла, но не въ ту комнату, гдѣ только что сидѣла у комода, а въ кухню. Со двора черезъ три окна свѣтило солнце и несмотря на отсутствіе мѣдной (да и вообще всякой) посуды, было какъ-то некстати весело и уютно. Анна Николаевна пожалала плечами, потомъ осторожно топнула ногой въ крышку подполья. Снизу раздалось ворчанье, хозяйка еще разъ топнула сильнѣе, и наконецъ съ трудомъ приподнявъ крышку, закричала внизъ:

— Что за дуралъ вылъзай скорѣе! Это — я. Какіе нѣмцы?! Тебѣ восемьдесятъ лѣтъ, что тебѣ сдѣлаютъ? Лѣзь скорѣе, а то я не удержу крышки и она хлопнетъ тебѣ по головѣ... ну!

Медленно изъ отверстія показывалось одно за другимъ: темный платокъ въ горошкахъ, морщинистый лобъ, носъ, ротъ, кофта, короткая ваточная юбка — и наконецъ вся кухарка Домна. Она была такого маленькаго роста, что было странно, какъ медленно выгружалась всѣ ея части изъ подполья.

— Какъ я перепугалась, барыня! думала — нѣмцы!

— Полно болтать вздоръ! И безъ нѣмцевъ тебѣ помирать пора.

— Помереть не страшно, а надругаются! — отвѣтила Домна, и высморкалась.

— Посиди съ Ѳедей, мнѣ нужно сходить къ Янкелевичу.

— Зачѣмъ, барыня? сиди лучше дома.

— Хочу попросить лошадей, поѣхать хоть къ тетѣ Дунѣ.

— Вотъ хорошо бы было! Только сдеретъ теперь Янкелевичъ въ тридорога.

— Тутъ всего тридцать верстъ. Я предложу ему оставить всю обстановку, маминъ браслетъ у меня еще остался...

Старуха покачала головой.

— Наврядъ есть лошади у него. Лучше я схожу къ Янке-левичу, а ты посиди. Мнѣ оставаться съ Феденькой страшно: вдругъ онъ помретъ, что я тогда буду дѣлать? сама помереть могу!..

— Какія глупости! Одея не такъ боленъ, онъ просто слабъ, а у меня нѣтъ денегъ, чтобы везти его въ Калугу... А ты говоришь, помретъ, — вотъ дура!

— Что же съ меня спрашивать, коли я дура? А отъ слова не сдѣлается. Такъ сходить, что ли?

— Нѣтъ, зачѣмъ Одея умретъ?

— Къ Янкелевичу-то, говорю, сбѣгать что-ли?

И она опустнлась на табуретку прямо посрединѣ солнечнаго коврика на полу. Анна Николаевна печально посмотрѣла на свою единственную помощницу и, тихонько вздохнувъ, начала:

— Да, сходн, умоли его дать завтра лошадей. Вотъ бра-слетъ, онъ золотой, старинный; всю мебель, что осталась, все, что у меня есть.

— Все расскажу, на все пойду, барыня! такія времена, о чемъ тутъ думать?

Неизвѣстно, на что думала пойти Домна, но сейчасъ же стала одѣваться, главнымъ образомъ укутывая голову, будто была зима.

Одея продолжалъ лежать съ закрытыми глазамн, но повиди-мому, не спалъ, такъ какъ улыбнулся и ласково, не въ бреду, позвалъ:

— Мама!

— Что, милый?

— Мама милая! — договорилъ мальчикъ и снова замолкъ. Анна Николаевна отвела его вспотѣвшіе волосы и поцѣловала въ мокрый, горячій лобъ.

— Нѣмцы еще не пришли?

— Нѣтъ. Да они и не придутъ, не безпокойся.

— А къ тетѣ Дунѣ мы скоро поѣдемъ?

— Завтра.

— Я не помню... все лежалъ, вспоминалъ... столовая у тети, направо, или налѣво?

— Отъ передней?

— Да.

— Налѣво.

— И тамъ сѣрый попугай?

— Да.

— Когда я поправлюсь, ты меня сведи въ соборъ. Я позабылъ, какой онъ такой.

— Хорошо. Сходимъ непременно.

Домна вернулась уже подъ вечеръ. По ся словамъ, несмотря ни на какіе уговоры, Янкелевичъ лошадей дать не можетъ, а за браслетъ предлагаетъ три рубля. Мебели не надо — все равно, нѣмцы будутъ стрѣлять и все переломаютъ. Анна Николаевна спокойно выслушала эти сообщенія, будто говорили не про нее и сказала только.

— Ну, что же дѣлать!

— Да, ужъ видно ничего не подѣлаешь.

— Мама, зачѣмъ намъ лошадей? Пойдемъ пѣшкомъ! — раздалось съ порога и, обернувшись, Анна Николаевна увидѣла Ѳедю. Онъ держался за косякъ, но видъ имѣлъ веселый, румянецъ проступалъ на щекахъ и глаза блестяли. Конечно, у него жаръ. Но нѣтъ, голова холодная. Можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ поправился?

— Что ты говоришь, Ѳедя?

— Пойдемъ пѣшкомъ къ тетѣ Дунѣ. Я дойду. Помнишь, прошлый годъ мы ходили, всего три раза отдыхали! Какъ было хорошо! какъ весело! Насъ дождикъ засталъ... Я здоровъ сегодня, совсѣмъ здоровъ!..

— Конечно, ты здоровъ, мой милый, но ты всетаки устанешь.

— Нѣтъ, мама, право, я не устану.

— Вотъ какой ходокъ выискался! — вставила Домна.

— Теперь поздно, темно... — уговаривала Анна Николаевна. Ѳедя улыбнулся снисходительно.

— Конечно, не сейчасъ идти. Ты меня совсѣмъ за глупаго считаешь. Завтра съ утра пойдемъ.

— Завтра и поговоримъ объ этомъ. Теперь иди спать.

— Да, я пойду — согласился мальчикъ, — завтра нужно рано вставать.

Анна Николаевна, разумеется, не придавала значенія дѣтскимъ словамъ, хотя и подумала, что, конечно, будь Федя здоровъ, они могли бы пойти пѣшкомъ къ тетѣ Дунѣ. Но что же думать о томъ, чего нѣтъ!

Утромъ мальчикъ поднялся раньше всѣхъ, потихоночку одѣлся, умылся и сталъ будить Анну Николаевну. Не вставая съ постели, она пощупала его голову, — жара нѣтъ, блѣдненькій, слабый, но бодрится и будто крѣпче, чѣмъ вчера. Можетъ быть, и возможно?

— Я могу, я могу, мама!.. — твердилъ Федя и все торопилъ, но старуха стала ихъ кормить, поить чаемъ, такъ что выйти можно было только часовъ въ одиннадцать. Анна Николаевна почти не сознавала, что она дѣлаетъ, притомъ ей такъ хотѣлось, чтобы ея сынъ былъ здоровымъ и бодрымъ, какъ прежде, что она сама повѣрила въ это.

Федя надѣлъ сапоги съ голенищами и туги подпоясался ремнемъ, за пазуху наложилъ пирожковъ, въ руки взялъ палку, и вообще имѣлъ такой видъ, будто онъ ведетъ Анну Николаевну, а не она его.

Было ясно и сухо, вдали деревни и дороги были такъ отчетливо видны, что лѣтомъ нельзя бы было даже предположить, что онъ замѣтны съ этого пригорка. За рѣкой кучками еле замѣтно сѣрѣли конные отряды. Облака, опредѣленно вырѣзанныя, стояли, какъ ни въ чемъ не бывало. Федя шагаль бодро, изрѣдка съ улыбкой взглядывая на Анну Николаевну, будто желая убѣдиться, идетъ ли она, не утомилась ли, не отстала ли. Та кивала ему головою, и такъ шли дальше, молча. Нѣкоторые мосты были сломаны, приходилось переходить ручьи по камнямъ, или босыми ногами вступая въ холодную, быструю воду. Встрѣчныя деревни были безлюдны, лишь кое-гдѣ изъ верхняго окна выглянетъ старушечья голова, да заплачетъ грудной. На поляхъ быстро убирали оставшійся хлѣбъ. У одного изъ ручьевъ, гдѣ была вставлена кадушка и привязанъ берестовый ковшичекъ, сѣли отдохнуть и закусить. Федя лежалъ навзничъ, смотря въ небо сквозь густыя еще, но слегка пожелтѣвшія, вѣтки дуба.

— Пойдемъ, Федя: идти еще далеко.

— Пойдемъ.

— Что же ты не встаешь? или еще не отдохнулъ?

— Я, мама, больше не могу идти.

— Какъ не можешь? ножки болятъ?

— Не могу, совсѣмъ не могу...

— А ты попробуй... тебѣ такъ кажется, что ты не можешь, а попробуешь, и пойдешь.

Но, конечно, Федѣ нечего было и пробовать идти. Онѣ только закрылъ глаза, улыбнулся, но ничего не сказалъ — заснулъ, что-ли. Анна Николаевна сидѣла такъ тихо, что подскочившій воробей спокойно клевалъ навозъ, приставшій къ Единымъ сапогамъ. Наконецъ, оглядѣвшись по сторонамъ, она наклонилась къ сыну и осторожно подняла его, еще болѣе легкимъ сдѣлавшееся за болѣзнь, тѣло. Тотъ во снѣ, или въ истомѣ обвилъ ея шею рукою и щекою прижался къ щекѣ. Анна Николаевна пошатнулась слегка при первомъ шагѣ, но потомъ пошла бодро со своею ношею. Никого не встрѣчалось, такъ какъ они выбрали кратчайшую дорогу, не всѣмъ извѣстную и почти непроѣзжую. Это мало смущало путешественницу, все вниманіе которой будто на то было обращено, чтобы удерживать Федю. Но руки все ослабѣвали и мальчикъ сползалъ внизъ, держась наконецъ однимъ своими руками за шею, начавшую уже нить. Было, вѣроятно, часовъ пять, а дороги и половина не была пройдена. Вдали будто заглушенные, но густые прозвучали ружейные выстрѣлы. Анна Николаевна прислонилась къ дереву и все яснѣе чувствовала, какъ руки у нея расходятся, какъ чужія, и Федя скользитъ внизъ. Она осторожно положила сына подъ дерево и стала медленно проводить руками по воздуху, чтобы онѣ отдохнули. Замѣтно темнѣло, поднимался вѣтеръ, разгоняя и тѣ облака, которыя были. Мальчикъ дышалъ спокойно, но очень тихо, — еле слышно было подъ толстымъ сукномъ куртки, какъ билось сердце. Мать около него совсѣмъ застыла, смотря, какъ все болѣе краснѣла западная часть неба. Продолженіе дороги въ лѣсѣ казалось совершенно чернымъ. Выстрѣлы, не сдѣлавшись чаще, не прекращались. Лошадиное фырканье заставило обернуться Анну Николаевну. Изъ черноты одинъ за другимъ проскакало съ де-

сятокъ всадниковъ, громко стегая коней. Достигнувъ дерева, гдѣ были путники, солдаты придержали лошадей, будто не зная, куда дальше направляться. Первый, показывая неопредѣленно рукою на долнну, говорилъ что-то по-нѣмецки. Анна Николаевна безшумно опустилась на Федю, будто стараясь защитить его отъ неизвѣстной опасности; тотъ не проснулся, только тяжело вздохнулъ всѣмъ тѣломъ. Черное платье женщины, очевидно, скрывало ее отъ глазъ непріятелей, потому, что, постоявъ нѣкоторое время, они опять, одинъ за другимъ, скрылись въ темнотѣ. Сколько времени провела такъ Анна Николаевна, она точно не знала, даже не знала, о чемъ молиться: о томъ ли, чтобы на этой узкой дорогѣ показались какіе-нибудь путники, которые могли бы помочь имъ, о томъ ли, чтобы въ ослабѣлое тѣло ребенка вернулись силы, равныя ея желанію, о томъ ли, чтобы сразу очутиться въ какомъ-либо безопасномъ мѣстѣ, — она ничего не знала, но все соединила въ одно неопредѣленное устремленіе, чтобы какъ-нибудь, какъ угодно, но сдѣлалось лучше. Въ то же время она старалась согрѣть мальчика своимъ дыханіемъ и безпокойно прислушивалась, бьется ли сердце, стучитъ ли. Ей не казалось, что она спитъ, но на нее нашло какое-то скорбное и восторженное забвеніе, такъ что она не знала, во снѣ ли, или на яву, ее спросили:

— Сударыня, можетъ быть, я могу помочь вамъ въ вашемъ горѣ?

Въ темнотѣ выдѣлялось только небо съ Большою медвѣдицею; говорящаго у дерева не было совершенно видно. Анна Николаевна, вѣроятно, громко плакала и прохожій ее услышалъ. Она стихла и молчала.

— Можетъ быть, я могу помочь вамъ? Теперь ночь, мѣсто здѣсь глухое, подъ откосомъ насъ ждутъ. Я васъ отвезу въ городъ, гдѣ вы найдете и другую помощь.

— Вы — нѣмецъ! вы отвезете въ плѣнъ меня и моего ребенка! будете насъ мучить!

— Господь съ вами! вы слышите, что я говорю по-русски.

— А развѣ нѣмцы не могутъ говорить по-русски?

— Ну, смотрите: похожъ ли я на нѣмца? я — русскій офицеръ!

Незнакомецъ вынулъ карманный фонарь и навелъ блѣдный, дрожащій, теряющійся въ кустахъ кругъ на себя. Онъ былъ, дѣйствительно, въ русской формѣ, но Анна Николаевна смотрѣла только на его лицо. Безусое, смуглое и продолговатое, оно не было русскимъ, но, конечно, и не нѣмецкимъ. Длинные глаза строго бодрили и губы, не улыбаясь, были ласковыми. Дѣвическая мужественность и суровая дѣвственность дѣлали лицо это страннымъ и когда-то видѣннымъ. Отъ движущагося свѣта лицо казалось неподвижнымъ, не живымъ.

— Идете! — сказалъ онъ, какъ приказаніе, опуская фонарь къ травѣ, словно лучистую лейку. — Я возьму вашего ребенка. Не бойтесь, я умѣю обращаться съ больными. Держите меня за руку. Сейчасъ мы придемъ.

Анна Николаевна взялась за сухую и теплую руку, которая съ нѣжною силою повела ее, будто она плыла, не передвигая ногами. Зацѣплялась за репейникъ, платье рвалось, спотыкалась о колен и камни, но ничего не чувствовала. Федя сидѣлъ молча, свѣсивъ руки и голову, а ей казалось, что онъ радуется и плещется. Иногда она будто днемъ видѣла и мальчика, и офицера, и себя, и спускъ въ луговину такъ свѣтло, какъ не могъ бы освѣщать фонарь.

Внизу ждалъ автомобиль безъ шофера. Офицеръ посадилъ Анну Николаевну и Федю въ коляску, а самъ, повозившись немного съ машиной, сѣлъ снаружи. Они поѣхали очень быстро, но не такъ, какъ хотѣло бы летящее желаніе Анны Николаевны. Неслись по незнакомымъ мѣстамъ, ночью и знакомое кажется неизвѣстнымъ. Одичалое стадо барановъ бросилось вбокъ, расплескавъ болото, съ бляеньемъ и мордами, какъ у чертей. Вдали розовѣли три зарева, на которыхъ черни-красными, округло и мягко, летѣли снаряды. Веретеномъ жужжалъ цеппелинъ и казалось, что по сторонамъ дороги — погоня въ галопъ. Офицеръ, не оборачиваясь, говорилъ:

— Не бойтесь, будьте спокойны, вашъ сынъ будетъ живъ, и вы спасетесь. Вѣрьте мнѣ.

— Я вамъ вѣрю и ничего не боюсь.

— Такъ и надо. Это — хорошо.

— Это хорошо. Я знаю. Иначе и нельзя.

— Иначе и нельзя.

Анна Николаевна говорила вполголоса, но офицеръ ее слышалъ, и она слышала его отвѣты. Можетъ быть, они не говорили, а только думали.

По мѣрѣ того, какъ они подвигались, все становилось покойнѣе, небо темнѣло, зарева еле свѣтлѣли позади ужъ, и когда они вѣхали въ городокъ, тамъ все спало, будто и не было войны въ ста верстахъ. Только сѣрѣло, настоящей зари не начиналось. Остановились у небольшой гостиницы съ высокимъ каменнымъ крыльцомъ на улицу. Разбудивши слугу, офицеръ внесъ Ѳедю въ номеръ и сказалъ:

— Тутъ вамъ будетъ покойно. Отдохните и поѣзжайте на родину. У васъ, вѣроятно, совсѣмъ нѣтъ денегъ — я вамъ оставляю на первое время. Когда сможете, отдадите.

— Когда смогу, отдамъ, — повторила Анна Николаевна, смотря на незнакомца. То же лицо, неизмѣняемое и измѣнчивое, только ростомъ кажется выше, когда въ комнатахъ. Онъ наклонился къ Ѳедѣ, такому маленькому на двуспальной кровати, поцѣловалъ его въ лобъ. Въ рукъ у офицера очутилась сторублевая ассигнація какъ-то безъ того, чтобы онъ доставалъ ее изъ бумажника. Онъ позвонилъ горничной и сказалъ:

— Теперь до-свиданья! Будьте покойны и счастливы. Все устроится.

И вышелъ за дверь. Только утромъ у Анны Николаевны мелкнула мысль:

— Какже я не спросила у него ни фамиліи, ни названія полка, гдѣ онъ служитъ. Даже не поблагодарила его какъ слѣдуетъ!

— Впрочемъ — успокаивала она сама себя — онъ, вѣроятно, здѣсь всѣмъ извѣстенъ, если стоитъ тутъ. А если онъ стоитъ въ другомъ мѣстѣ, затѣмъ же бы онъ меня привезъ именно сюда?

Но въ городѣ офицера никто не зналъ, а въ гостиницѣ даже увѣрили, что ни офицера, ни автомобиля не видали, а когда открыли двери на звонокъ, прямо нашли уже Анну Николаевну и Ѳедю на крыльцѣ. За сонъ принять это не позволяли три двадцатипятирублевки съ мелочью, оставшіяся отъ размѣненныхъ ста рублей.

— Мама! — позвалъ Одея съ постели.

— Что, милый?

— Какъ мы сюда попали? вотъ видишь, — я и дошелъ и ничего не случилось, а ты все боялась!..

— Да, да...

— Въдь я дошелъ своими ножками?

— Своими ножками. А потомъ я тебя несла немного...

— То-то мнѣ снилось, что меня несутъ... только не ты, а офицеръ...

Мальчикъ приподнялся, оглядѣлъ комнату.

— Что это, совсѣмъ непохоже на тетину квартиру! и гдѣ же она сама?

— Мы, дружокъ, не у тети Дунн, мы совсѣмъ въ другомъ мѣстѣ, и завтра поѣдемъ далеко, въ деревню подѣ Калугу. Ты тамъ никогда не бывалъ. Тамъ ты поправишься, будешь пускать змѣевъ, зимой кататься на салазкахъ, и нѣмцы туда не придутъ.

— Вотъ это хорошо! Только я всетаки не понимаю, какъ мы сюда попали!

Анна Николаевна ничего не отвѣтила, такъ какъ и сама куда этого не понимала. Поняла она это гораздо позже, когда уже приѣхала въ Калужскую губернію и захотѣла отслужить молебень въ сельской церкви, гдѣ съ дѣтства по лѣтамъ молилась, гдѣ вѣнчалась и гдѣ отпѣвали ея отца. Она хотѣла это сдѣлать сейчасъ по приѣздѣ, не дожидаясь ближайшаго праздника, потому отворили пустую церковь и кромѣ Анны Николаевны, ея матери, Оеди, да горничной дѣвушки никого не было. Они сидѣли въ оградѣ на скамеечкѣ, когда пришелъ сторожъ сказать, что все готово. Не успѣла Анна Николаевна, поставивъ свѣчку Спасителю, перейти съ зажженной другой къ Божьей Матери, какъ вдругъ упала, громко вскрикнувъ. Свѣчка откатилась, но не погасла. Всѣ поспѣшили на помощь барынѣ, но она уже очнулась и, прошептавъ: „ничего, можно служить!“ проползла на колѣняхъ къ сѣвернымъ вратамъ и припала губами къ потемнѣвшей ногѣ Ангела. Одея, перебирая кисточки кушака, твердилъ:

— Мама, что съ тобою? мама...

— Ничего. Молись, Федя... — отвѣтила Анна Николаевна, не спуская заплаканныхъ сразу глазъ съ ласковыхъ безъ улыбки губъ, строгихъ и бодрящихъ очей и съ продолговатаго, смуглаго лика. Батюшкѣ она ничего сейчасъ не сказала, а на слѣдующее утро прислала въ конвертикѣ для бѣдныхъ сто рублей со странной припиской:

— Никогда въ долгахъ не бывала. Всегда ихъ платила. Особенно такіе.



А. И. БОЖЕРЯНОВУ.

СЕРЕНАДА ГРЕТРИ.

Почти забыли, что на дворъ августъ, что въ саду г. Блау ни одного желтаго листа, и каждое облачко напоминало пушечные выстрѣлы на лубочныхъ картинахъ.

Одна Жанна Меаръ стояла у полуоткрытаго окна, нюхая левкои въ ящикъ. Вѣтеръ растрепалъ ея рыжеватые волосы вродѣ сіянья, что совсѣмъ не шло къ ея плотной, вполне земной фигурѣ. Мальчикъ и горбунъ, почти одинаковаго роста, смотрѣли отъ печки на воланы бальнаго платья Жанны. Въ комнатѣ было темно, несмотря на второй часъ дня, и стаканы въ буфетѣ тихо звенѣли при запахѣ.

— Какъ сегодня странно пахнутъ левкои! — сказала Жанна, не оборачиваясь.

— Они пахнутъ войной! — отвѣтилъ женскій голосъ. Въ глубинѣ столовой оказались еще старый господинъ, дама и дѣвочка. Дама продолжала:

— Сегодня вѣтеръ перемѣнился и дуетъ съ фортовъ.

— Да, но пахнетъ не порохомъ; къ этому запаху я привыкла. Мнѣ кажется, у меня даже волосы имъ пропахли.

— Это пахнетъ трупами, m-lle Жанна, — сказалъ горбунъ, — нѣмецкими трупами...

Мальчикъ воодушевленно подхватилъ и его слова выходилъ особенно громко, потому что всѣ говорили вполголоса.

— Говорятъ, трупы доходятъ до колѣнъ, даже до пояса сражающихся. Нѣмцы просили позволенія ихъ убрать, но наши отказали.

— Это была хитрость съ нхъ стороны, больше ничего. Ты думаешь, они бы намъ позволнли что-нибудь подобное? Никогда.

Жанна отошла отъ окна и молча сѣла къ столу, гдѣ надѣ развернутой картой Африки наклонился старый Блуа. Горбунѣ отъ печки ласково произнесѣ:

— Отчего, m-lle Жанна, вы сегодня такая нарядная?

— Я и вчера была вѣ этомѣ же платьѣ, вы не замѣтили, г. Ларжи. И потомѣ вы знаете, что я собиралась пробить вѣ Льежѣ не болѣе дня, дать концертѣ и уѣхать. Вѣ Шарлеруа я думала отправиться только черезѣ двѣ недѣли, такѣ что я поневолѣ вѣ такомѣ нарядѣ. Все случилось такѣ неожиданно, по крайней мѣрѣ, для меня, — я вѣдь не занимаюсь полнткой.

— Да, никто этого не ожидаѣ, даже отѣ нѣмцевѣ.

Горбунѣ снова началѣ, теперь обращаясь уже къ старому господину:

— А хозяйнѣ все беспокоится о свонхѣ грузахѣ. Ему будто нѣтъ дѣла до того ужаса, что происходитѣ здѣсь!

Тотѣ поспѣшно свернулѣ карту, лежавшую передѣ нимѣ, какѣ передѣ новымѣ Колумбомѣ, и заговорилѣ, будто его разбудили:

— Нѣтъ, нѣтъ. Развѣ я не такой же бельгїецѣ, какѣ и всѣ вы? Конечно, я старѣ, но когда лѣзутѣ вѣ домѣ, будешь хоть кочергой обороняться.

— У васѣ нѣтъ сыновей на войнѣ? — спросила Меарѣ.

— Нѣтъ, у насѣ только Шарль и Женевьева — дѣти старости. Мы тридцать лѣтъ какѣ женаты, а мальчику только двѣнадцать.

— О, Господи! — вздохнула почему-то г-жа Блуа вѣ молчаньи.

— Конечно, жизнь актеровѣ не та, что сто или даже пятьдесятѣ лѣтъ тому назадѣ, но имѣетѣ общее съ бивуакомѣ. Комфортабельный бивуакѣ. Сегодня вѣ Брюсселѣ, завтра вѣ Парижѣ, вчера вѣ Берлинѣ или Миланѣ. Не такѣ сознаешь родину. Но вотѣ теперь, во время такихѣ катастрофѣ, я чувствую себя бельгїкой и мнѣ трудно представить, что меня будетѣ разстрѣлывать публика Берлинской оперы. У меня тамѣ были и поклонники, теперь враги...

— Какой ужасъ вы говорите! — сказала г-жа Блуа.

Зубы пѣвицы сверкнули, будто освѣтивъ комнату.

— Почему ужасъ? Что у меня были поклонники? Я у всѣхъ на виду и не уродъ. Это не считается безчестьемъ въ нашемъ дѣлѣ...

— Вы — красавица! — проговорилъ горбунъ.

— Конечно, m-lle Жанна красавица, — подтвердилъ и мальчикъ. Мearъ сдѣлала реверансъ и быстро отвѣтила:

— Благодарю васъ, мои друзья, но позвольте мнѣ вамъ не повѣрять. Во-первыхъ, я васъ не считаю за судей, а во-вторыхъ, если я и красавица, то развѣ только на время осады.

Отдаленный звукъ колокола смѣшался со смѣхомъ Жанны, будто желая прекратить его.

— Что это? — прислушиваясь, произнесла пѣвица.

— Опять пожаръ, навѣрное. Городъ горитъ съ двухъ концовъ.

Шарль мялъ левкои, высунувшись изъ окна.

— Ничего не видно!

— Не надо открывать оконъ, мальчикъ.

— Выйдемте въ садъ, Шарль, я совсѣмъ не дышу воздухомъ.

— Вы подвергаетесь опасности, m-lle, выходя на улицу.

— Ну что же? Чѣмъ я хуже тѣхъ, кто сражается?

Мѣсяцъ бѣлѣлъ облачкомъ на дневномъ небѣ, пахло резедой и дальнѣ боевые раскаты дѣлали будто еще болѣе мирнымъ небольшою садъ въ высокихъ стѣнахъ. Въ одномъ окнѣ парусомъ раздувалась короткая бѣлая занавѣска. На декольтированные плечи Жанна набросила совсѣмъ простой вязанный платокъ старой Блуа. Мальчикъ началъ, будто занимая гостью въ салонъ:

— Вы читали, какъ герцогиня Люксембургская выѣхала въ открытомъ экипажѣ навстрѣчу врагамъ?

— Да. Она храбрая дѣвушка.

— Они приставили пистолетъ ей ко лбу, свалили кучера и отвезли ее въ плѣнъ. Она сказала: „свидѣтельствую передъ Богомъ и человечествомъ о вашемъ варварствѣ!“

— Можно было бы счесть эти слова за напыщенные въ обычное время, теперь они нужны и святы.

— Г. Метерлинкѣ ранейѣ вѣ сраженіи...

Пѣвица крѣпко сжала руку мальчику, будто желая сказать ему что-то необычайно важное, но вышло только:

— Вы учитесь гдѣ-нибудь, Шарль?

— Я хожу вѣ контору папы и присматриваюсь, черезѣ годѣ онѣ собирался взять меня вѣ плаванье. Но теперь, теперь сколько бы я далѣ, что бы мнѣ было девятнадцать лѣтъ!

— Что же бы вы сдѣлали?

— Дрался бы! — губы мальчика хотѣли вздрогнуть, но онѣ ихѣ прикусилѣ, чтобы онѣ были сжаты по-мужски.

— Прoberитесь во Францію и сдѣлайтесь бой-скоутомѣ!

— Вы думаете, это возможно?

— Теперь все возможно. Возможно, если нѣмцы сюда явятся, я буду поливать ихѣ кипяткомѣ изѣ-за жалюзи, какѣ дѣлали двѣсти лѣтъ тому назадѣ!

— М-lle Жанна.

— Что милый?

— Если бы я былѣ большимѣ, я полюбилѣ бы только васѣ.

— Спасибо, Шарль.

Мѣсяцѣ позолотѣлѣ на посинѣвшемѣ кусочкѣ неба, тѣнье явственно доносилось сѣ вѣтромѣ, пальба стихала, было слышно далекое карканье за городомѣ.

— Какѣ много воронѣ!

— Онѣ тамѣ, за укрѣпленіями.

— Боже мой! Вы знаете, Шарль, онѣ прежде всего выкле- вываютѣ глаза...

— Это у скота, у живого мнѣ говорили...

— Вы думаете, только у живыхѣ?

— Да, м-lle Жанна. Мертвые все равно не видятѣ.

Меарѣ, забывшись, опустила платокѣ, и тѣло красавицы откровенно давало себя освѣщать желто-молочному свѣту. Она говорила будто для себя, не думая, что Шарлю двѣнадцать лѣтъ.

— Я часто пѣла Вагнера. Говорятѣ, это — героическое искусство. Это тупо и бездушно и какѣ мелко. Теперь все проще и больше, когда каждый лифтѣ-бой обращается вѣ бой-скоута.

Мальчикъ сползъ къ ногамъ пѣвицы и осторожно цѣловалъ воланы такого некстати наряднаго платья. Казалось, онъ плакалъ, прикусивъ губы. Наконецъ, она замѣтила его и сказала:

— Идемте домой, Шарль. Вотъ мы погуляли и ничего съ нами не случилось.

— Хорошо, m-lle, что вы — бельгійка. Вы красавица и героиня.

— Это потому, что я вышла въ садъ поглядѣть на мѣсяцъ? Это не трудно, Шарль.

— Нѣтъ, потому что при васъ чувствуешь себя увѣреннымъ и сильнымъ, большимъ и бодрымъ.

Мелькомъ улыбнувшись, Жанна замѣтила:

— Можетъ быть, это просто потому, что я слишкомъ люблю жизнь и нѣсколько легкомысленна, не знаю...

Комната г-жи Меаръ выходила въ садъ, но была во второмъ этажѣ, такъ что не было видно Мезы, протекавшей не вдалекѣ, а лишь противоположная стѣна, едва скрываемая зеленью рѣдко посаженныхъ липъ. Въ комнатѣ было свѣтлѣе, нежели въ столовой, хотя старинность дома и обстановки налагала извѣстную мрачность и на нее. Только разноцвѣтные тюльпаны въ фаянсовыхъ, бѣлыхъ съ желтыми и зелеными разводами, горшкахъ, да бѣлая короткая занавѣска на мелкихъ клѣткахъ рамы веселили низенькую горницу. Разстроенный маленький рояль звучалъ вродѣ клавесина, когда Жанна вполголоса пѣла:

„Tandis que tout sommeille
A l'ombre de la nuit,
L'Amour qui me conduis,
L'Amour qui toujours veille,
Me dis tout bas:
„Viens, suis mes pas,
Où la beauté t'appelle“

Шарль пошевелился у окна и сказалъ задумчиво:

— Это нашъ Гретри!

— Да, это онъ. Я прежде плохо знала его. Вы знаете, что поютъ пѣвцы? Я у васъ отыскала эти ноты и чувствую, что, смотря на наши поля и холмы, подставляя мальчикомъ лобъ

подъ нашъ бельгійскій вѣтеръ, Гретри въ Парижѣ могъ вспомнить эти милыя, человѣчныя пѣснн.

— М-ле Жанна, пойдѣте въ фортъ.

— Что я тамъ буду дѣлать?

— Вы споете имъ эту серенаду, и солдаты вспомнятъ дѣтство, не свое, а какое-то дѣтство, прелесть дѣтства и родины, и будутъ сражаться еще храбрѣе.

— Тамъ трубы играютъ маршъ, моей пѣсни никто не услышитъ!

— Вы споете генералу на ухо, положивъ руки ему на плечи, и онъ пойметъ.

— У васъ смѣшныя мысли, Шарль.

— Мнѣ можно имѣть смѣшныя мысли, мнѣ только двѣнадцать лѣтъ.

— Это не отъ лѣтъ.

Въ двери просунулась голова горбатаго Кирилла.

— Я стучалъ, право, я стучалъ, но вы не слышали.

— Входите, г. Ларжи, у насъ нѣтъ секретовъ.

— Вы развлекались?

— Да, чѣмъ могли.

— Пѣли пѣсенки и бесѣдовали съ Шарлемъ?

— Вотъ именно. Надѣюсь, въ этомъ нѣтъ ничего предосудительнаго.

— Конечно, конечно. И потомъ я не цензоръ вашихъ поступковъ, m-ле.

Шарль отъ окна смотрѣлъ на большое съ длиннымъ блѣднымъ носомъ, словно не живое, лицо Ларжи и вдругъ сказалъ:

— М-ле Жанна, пойдѣте посмотрѣть на форты.

— Къ фортамъ? Вы все еще не оставили вашего плана?

— У мальчика есть уже планы? Вотъ какъ! — замѣтилъ горбунъ.

— Нѣтъ, на чердакъ; оттуда прекрасно видно, — продолжалъ Шарль.

— Ахъ, на чердакъ! Это другое дѣло.

Г. Ларжи тоже одобрилъ предложеніе Шарля, и всѣ трое стали взбираться по деревянной лѣстницѣ. Небо отъ непрерывной пальбы сдѣлалось хмурымъ, какъ въ октябрѣ, зелень луговъ

казалась еще ярче, и пушечный дымъ мокро и тяжело стлался. Вдали видны были фабрики и замки, отсюда не казавшіеся разоренными. Горбунъ и мальчикъ стояли съ ногами на скамейкѣ, Меаръ между ними на колѣняхъ казалась чуть-чуть ниже ихъ.

— Неужели всю нашу Бельгію разорятъ? Прекрасную страну! этого не можетъ быть!

— Дѣло идетъ о большемъ, нежели Бельгія, m-lle, и тамъ едва ли что могутъ сдѣлать нѣмцы, даже если бы на ихъ сторонѣ была сила!

— Я не думала объ этомъ. Вы правы, но я готова плакать!

Горбунъ посмотрѣлъ на полуоткрытую грудь г-жи Меаръ и сказалъ:

— Шарль, ты бы принесъ подзорию трубу изъ кабинета: m-lle Жаннѣ будетъ виднѣе.

Жанна ничего не отвѣтила, смотря вдаль сѣрыми, какъ легкой дымъ, глазами. Мальчикъ помялся немного, потомъ быстро застучалъ внизъ по ступенькамъ. Горбунъ, наклонившись, тихо сказалъ, не спуская глазъ съ бѣлой кожи, — бѣлой, какъ у рыжихъ, — г-жи Меаръ.

— Я нарочно услабъ Шарля. Я больше не въ силахъ, г-жа Меаръ. Я сойду съ ума отъ любви. Я не прошу любви, но побудьте со мною, хоть одинъ часъ. Подумайте: все равно, насъ завтра или послѣзавтра разстрѣляютъ нѣмцы и здѣсь нѣтъ никого, кого бы вы любили. Я буду блаженъ, умру, благословляя васъ, и адъ меня не будетъ страшить, если только онъ существуетъ. Одинъ часъ, не больше. Умоляю васъ... Я съ ума сойду...

Такъ какъ Жанна продолжала молчать, то горбунъ тронулъ слегка рукою круглое плечо. Оно было тепло и упруго.

Вдругъ вдали черной тучей взвился огромный дымъ и сильный ударъ потрясъ весь домъ и чердакъ. Видно было, какъ взметнулись вороны по тучѣ, словно осколки гранаты.

— Фортъ взорвай! — прошептала пѣвица.

— Фортъ взорвай! — снизу кричалъ Шарль, — наши сами его взорвали, не нѣмцы, нѣтъ!

— Боже мой! — сказала еле-слышно Меаръ, и пошла внизъ. Остановясь у дверей въ столовую, она, не оборачиваясь, сказала Кириллу:

— Вы, конечно, шутили, г. Ларжи? Такихъ вещей не говорятъ серьезно...

— Какъ вамъ угодно... — отвѣтилъ горбунъ.

На диванъ лежалъ нѣмецкій офицеръ, которому фельдшеръ мѣнялъ повязку. Гастонъ и Маргарита недружелюбно и боязливо смотрѣли.

— Что это, раненый? — спросила Жанна.

— Какъ видите.

Она быстро подошла и наклонилась, будто слѣдя за перевязкой. Свѣтлые глаза открылись и губы раздвинулись подъ стриженными рыжими усами.

— Г. фонъ-Штакель, вы меня не знаете. Запомните это, — проговорила Жанна.

Едва ли фонъ Штакель понялъ, что ему говорили, потому что тотчасъ впалъ въ безпамятство, а записная книжка его была потеряна. Въ ней былъ отмѣченъ маршрутъ нѣмецкихъ войскъ до Парнжа, адресъ Парижскаго ресторана, куда приглашалъ ихъ на обѣдъ императоръ Вильгельмъ, счетъ мелочныхъ расходовъ, пять строчекъ начатаго стихотворенія, письмо отъ матери и карточка Жанны Мearъ въ роли Венеры изъ „Тангейзера“.

Недѣля казалась годомъ. Миръ, предложенный Вильгельмомъ на любыхъ условіяхъ, былъ отвергнутъ, часть фортовъ перешла въ руки враговъ, нѣмецкія газеты трубили о побѣдѣ, въ Берлинѣ устраивались празднества, и королевскую семью Бельгій германскій императоръ объявилъ несуществующей. Половина этихъ фантазій не доходила до дома г-на Блуа, гдѣ всѣ по-прежнему ждали участи родины и самихъ себя.

Капитанъ фонъ Штакель, придя въ чувство, попросилъ ѣсть и удивился неблагодарности бельгійцевъ, которые сами вызвали нѣмецкія войска для защиты отъ французовъ и сами же съ ними дерутся. Такъ было имъ сказано дома и такъ они вѣрили; можетъ быть, не всѣ, но онъ, по крайней мѣрѣ, былъ въ этомъ увѣренъ, иначе ему было бы трудно раззорять мирную страну.

— Вы не похожи на нѣмца.

— Я? Нѣтъ, я — настоящій и типичный, по моему, нѣмецъ.

— Во всякомъ случаѣ не типичный капитанъ Вильгельмовой арміи. Вообще, не нѣмецъ. Теперь ужъ мы не строимъ иллюзіи на вашъ счетъ; вы вездѣ показали, что вы такое и какими себя утверждаете.

Они говорили въ той же комнатѣ съ тюльпанами. Г-жа Меаръ уже сняла концертный костюмъ и заняла платье у служанки, перевязавъ грудь косынкой крестъ на крестъ. Волосъ тоже не прибрала, а носила большой чепецъ.

— Вы похожи на Шарлоту Кордэ!

— Можетъ быть.

— А помните, какъ мы ѣздили въ Санъ-Суси?

— Помню, но не время объ этомъ вспомнить.

— Какъ вы стали строги, г-жа Меаръ.

— Я не строга, я только не безтактна.

— Простите, — нѣмецъ наклонилъ голову, покраснѣвъ. Потомъ разсердился и захотѣлъ вбросить монокль въ глазъ, но это ему не удавалось.

— Не надо, — остановила его Жанна, — не дѣлайтесь похожими...

— На кого?

— На тѣхъ, которые разстрѣливаютъ дѣтей.

— Я этого никогда не дѣлалъ.

— Теперь вы отвѣтственны и за другихъ.

Голова горбуна просунулась въ дверь, впустивъ за собою полосу свѣта изъ сосѣдней комнаты. Сидѣвшіе обернулись скорѣе на неожиданный свѣтъ, чѣмъ на голосъ Кирилла.

— Я стучалъ, я, право, стучалъ; но вы не слышали.

Оба промолчали и Ларжи продолжалъ, стоя на порогѣ:

— М-ше Жанна развлекается, какъ можетъ, не правда ли?

— Правда.

— Теперь она уже развлекается разговорами съ военноплѣнными и не считаетъ нужнымъ пѣть серенаду Гретри?

— Я только что собиралась это дѣлать!..

— Вы можете пѣть въ такое время?—спросилъ нѣмецъ.

— Отчего же? Если бы сюда пожаловали ваши пріятели, я бы поливала ихъ кипяткомъ. На фортахъ я бы только мѣшала мужчинамъ, а пока... пока я развлекаюсь, какъ могу, и развлека-

каю другихъ. Развѣ я оскорбляю кого-нибудь этимъ? Можетъ быть, во мнѣ слишкомъ даетъ себя знать кровь моихъ прабабушекъ, смотрѣвшихъ на войну, какъ на жестокое, но простое и необходимое дѣло, такъ что по вечерамъ во время перемирій онѣ устраивали балы, — я не знаю. Я не выдаю себя за героиню, но люблю Бельгію не меньше кого бы то ни было.

Рояль удачно передавалъ трепетанье мандолины и любовно-печально, просто и успокоительно Жанна запѣла. Горбунъ молча зажегъ свѣчи, отъ которыхъ поющая сдѣлалась еще бѣлѣе и какъ-то рыжѣе. Офицеръ сидѣлъ, опустивъ голову, вдругъ прислушался, поднялся...

— Пойдите, m-lle, прошу васъ.

— Charmante Léonore! — допѣла Жанна и встала, не кончая отыгрыша.

— Что случилось? пальба? но она все время... хотя теперь она какъ будто ближе.

— Трубы, трубы...

— Да, музыка...

— Но вѣдь это... это... нѣмецкій маршъ.

— Вы ждете, этого не можетъ быть!

Крики, топотъ лошадей, выстрѣлы приближались. Жанна осталась стоять, опершись на рояль, спиной къ зажженнымъ свѣчамъ.

Шарль влетѣлъ вѣтромъ и безъ словъ бросился къ ногамъ г-жи Меаръ.

— Проклятые, проклятые! — прошепталъ горбунъ.

Жанна, не наклоняясь къ Шарлю, говорила:

— Пусть погибнетъ Бельгія, но и вы, и вы не устоите, потому что Богъ, сердце, искусство за насъ!

Запѣвъ, какъ зарница, сверкнулъ совсѣмъ близко, разбивъ стекло. Клавиши вдругъ издали аккордъ, не похожій на звуки Гретри, и г-жа Меаръ сильнѣе отклонилась назадъ на рояль. Чепчикъ слетѣлъ и волосы искусственно и театрально рассыпались на клавиатуру. Было странно, что они не заставили звенѣть струны. Такъ умираютъ въ кинематографахъ, только не льется липкая кровь изо-рта. Шарль крѣпко сжалъ колѣни продолжавшей стоять г-жи Меаръ. Старая Блуа торопливо

вошла и будто лучше всёхъ поняла, въ чёмъ дѣло. Оттащила Шарля, и та, которую онъ обнималъ, вдругъ упала, будто только его руками и держалась. Г-жа Блау закричала и разстегнула для чего-то лифъ пѣвицы. На музыку и выстрѣлы внизу, никто, казалось, не обращалъ вниманія. Ларжи, наклонившись, смотрѣлъ, не отрываясь, на грудь, которую онъ такъ хотѣлъ бы чувствовать теплой и трепещущей.

— Стыдно, стыдно, стыдно! — вдругъ раздался голосъ капитана.

Старый Гастонъ посмотрѣлъ на него и отвѣтилъ:

— Что застрѣлили Жанну Меаръ, вещь довольно обыкновенная въ военное время, но вообще - то вы правы: теперь стыдно быть нѣмцемъ.

— Батюшка, — вдругъ сказалъ мальчикъ, отходя отъ мертвой, — гдѣ французскія войска? понимаете, не бельгійскія, а французскія?

— Не знаю. А зачѣмъ тебѣ?

— Такъ. Миѣ надо!



ПАСТЫРЬ ВОИНСКІЙ.

Отецъ Василій былъ такъ кротокъ, такъ простъ, что невольно привлекалъ къ себѣ сердца всѣхъ, кто его зналъ. А въ полку, какъ же не знать другъ друга? Если чиновникамъ, коммерсантамъ, артистамъ можно еще утѣнться отъ сосѣдей, то ужъ въ военной семьѣ этого никакъ не сдѣлаешь. И казалось, что къ скромному армейскому полку подходилъ, какъ на заказъ, скромный пастырь. Не только скромный, но даже какъ бы конфузливый. Маленькій, розовый, совсѣмъ на видъ молодой, о. Василій вдовѣлъ третій годъ, но въ монастырь не пошелъ, не желая покидать полковой паствы.

— Вы мнѣ — все равно, какъ дѣти, скажетъ батюшка, обдернетъ ряску и застыдится.

Огорчала о. Василія, что борода у него плохо росла, такъ рыженькій пушокъ курчавился.

Наставленія его не всегда были похожи на то, что понимается подъ этимъ названіемъ, но всегда шли прямо въ душу, будучи продиктованы любовью.

Безсребренникъ былъ необыкновенный, и ничего ему не надо, хотя и называлъ себя „стяжателемъ“. Дѣло въ томъ, что о. Василій очень любилъ пить чай съ вареньемъ, и полковныя дамы, зная этотъ его вкусъ, всегда надаривали ему банокъ съ десятокъ. О. Василій краснѣлъ, но принималъ. А потомъ зайдетъ разговоръ о скупости или дурныхъ поступкахъ изъ-за денегъ, — батюшка взволнуется и говоритъ:

— Зачѣмъ же онъ мнѣ не сказаалъ? Я бы ему денегъ далъ, только бы онъ изъ-за нихъ душой не кривилъ. Ахъ, дѣти, дѣти, какъ это — нехорошо, немиловидно! Я понимаю, какъ это плохо.

Одинъ единственный разъ видѣли нашего батюшку въ гнѣвѣ. Было это такъ.

Человѣкъ шесть молодыхъ офицеровъ поѣхали въ сосѣднее имѣніе въ гости. Приглашенъ былъ туда и о. Василій. Сначала все шло очень хорошо: пообѣдали, въ винтъ поиграли, поужинали; потомъ начали уже банкъ и девятый валъ, и макао затъвать. А хозяева были не такъ, чтобы очень хорошо знакомы. Господа офицеры все проигрываютъ, да отыгрываются, да опять проигрываютъ, кнтеля снимали, будто всю ночь собираются здѣсь пробить. О. Василій побродилъ, побродилъ по горницамъ и спрашиваетъ, что не пора-ли расходиться, — боялся, какъ бы мальчики не зарвались. Тѣ и слушать не хотятъ, предлагаютъ ему одному ѣхать. Ѣхать одному, прекрасно, но какъ ихъ оставить?

— Прекращать-то скоро думаете?

— Скоро. Да вы бы, батюшка, тутъ соснули на диванчикъ. Какъ будемъ собираться, васъ разбудимъ.

О. Василій видитъ, что подпоручикъ какое-то не дѣло говоритъ, вышелъ въ кабинетъ, гдѣ происходила игра и опять проситъ разойтись.

— Что это вы, господа, пастыря не слушаться?

Они послушались не изъ страха, а по любви. Было такъ невозможно увидѣть огорченными веселые, восторженные глаза о. Василія, что одна эта мысль удерживала отъ какого-нибудь проступка. Боже мой, огорчить, оскорбить такого человѣка! Развѣ это можно? Епитимьи онъ не наложитъ, не забранитъ даже, а загруститъ, и это тяжелѣе всего; скрыть отъ него что-нибудь тоже какъ-то трудно: такъ онъ открыто и ласково смотритъ, что нельзя поглядѣть прямо въ глаза ему, если не все въ порядкѣ.

Во время войны одинъ случай выставилъ о. Василія именно какъ отличнаго оратора, но рѣчь объ этомъ впереди, да потомъ, и случай этотъ, можетъ быть, больше доказываетъ неотразимость любви и простоты, нежели убѣдительность слова. Когда стали ходить слухи о близкой войнѣ, нѣкоторые, конечно, не приуныли, но сдѣлались серьезнѣе и задумались объ оставляемыхъ семьяхъ и близкихъ. О. Василій не измѣнялъ своей веселости и простоты.

— Не надо, братцы, много думать. Мы не стяжатели, а будемъ биться, такъ — за правду; Богъ насъ не выдастъ, да и сами плоховать не будемъ. А кто бодръ, спокоенъ, да о себѣ нисколько не думаетъ, на того сторонѣ и выигрышъ.

— Много, батюшка, перебьютъ очень.

Вздохнулъ о. Василиій.

— Это правда. Война — ужъ такое дѣло. Зато имъ много грѣховъ простится.

И самъ онъ первый слѣдовалъ своимъ совѣтамъ: былъ бодръ, спокоенъ, о себѣ не думалъ (впрочемъ, онъ и никогда о себѣ не думалъ), пожелалъ не оставаться при обозѣ, а всегда былъ впереди всѣхъ.

— Я вездѣ поспѣю, — говорилъ онъ, — я проворный.

И, дѣйствительно, вездѣ поспѣвалъ: и въ первыхъ рядахъ, и въ лазаретѣ, и на самомъ полѣ битвы отходныя читаетъ, и раненыхъ бодритъ, а съ гг. офицерами чай пьетъ въ спокойныя минуты и меньше всего о войнѣ говоритъ. Ну, конечно, дѣло близкое — зайдетъ разговоръ о развѣдкахъ, о выступленіи, объ атакахъ, — батюшка не молчитъ, но рассуждаетъ какъ-то удивительно просто и практически, не вдаваясь въ философію. Такъ какъ большую часть времени доводилось ходить о. Василию безъ шляпы, то онъ и остальную часть дня не на дѣвалъ ея. Шутили ему:

— Вы, батюшка, новую моду соблюдаете.

— Развѣ?

— Какъ же! — Англійскую моду — ходить съ непокрытой головой.

— Ну, что же! Англичане — народъ разсудительный, зря не будутъ выдумывать.

Въ Галиціи о. Василиій на все удивлялся и глазки его не переставали веселиться теперь какимъ-то болѣе сосредоточеннымъ восторгомъ. Но удивлялся онъ не тому, что было не похоже на наше, а скорѣй сходству галиційскихъ мѣстностей съ русскимъ Западнымъ краемъ. Умиляло его, что и коровы, „какъ у насъ“, и поля, и деревянные церкви, и иконы вдоль стѣнъ по полкамъ избы, и кресты надъ входами, и знакомыя птицы, и съ дѣтства извѣстныя растенія.

Въ одной изъ стычекъ какъ-то случилось, что о. Василій пропалъ. Какъ разъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ находился, нашимъ не посчастливилось и почти всѣ были истреблены. Куда пропалъ батюшка, было неизвѣстно. Не иначе, какъ попался въ плѣнъ, — такъ всѣ рѣшили, погоревали и даже очень, но что же дѣлать? Но на утро, чуть подняла всѣхъ труба, видятъ по дорогѣ отрядъ конныхъ, а впереди идетъ человекъ и машетъ чѣмъ-то бѣлымъ. Думали, что это перебѣжчики отъ австрійцевъ пришли сдаваться въ плѣнъ. Австрійцы-то, это были австрійцы, но предводительствующій ими оказался никто иной, какъ о. Василій.

— Батюшка! — всѣ возопили, — вы-ли это?

— Не бойтесь, это — я. Вотъ привелъ вамъ еще солдатъ. Я — пастырь и радъ, что нашелъ овецъ заблудшихъ.

Такъ, съ десятокъ австрійцевъ и привелъ, тѣхъ самыхъ, что забрали его въ плѣнъ.

Неизвѣстно, что говорилъ имъ о. Василій, но, очевидно, онъ нашелъ тѣ простыя и душевныя слова, которыя могутъ растопить сердца и прекратить братоубійство. Къ счастью, плѣнившіе его непріатели были поляки и русины, понявшіе его наполовину русскія, наполовину славянскія увѣщеванія. Всѣмъ это показалось чудомъ, а батюшка только махалъ рукой, говоря:

— Невѣрные! — ну и чудо... чудеса на каждомъ шагу. Какое-же чудо, что люди могли почувствовать любовь и ласку?

— Вотъ пруссаки васъ не послушали бы!

Батюшка потупился. Его очень огорчала всякая встрѣчная жестокость и черствость, не говоря о настоящихъ звѣрствахъ.

Австрійцевъ отвели, гдѣ находились военноплѣнные, а батюшку позвали въ лазаретъ причастить умирающаго.

— Тѣ-то — вспомнилъ онъ объ австрійцахъ — тоже удивлялись, что я безъ шляпы.

Больной, нуждавшійся въ послѣднемъ напутствіи, былъ вольноопредѣляющимся чужого полка, совсѣмъ еще мальчикъ, едва-ли окончившій среднюю школу. О. Василій ничѣмъ не показалъ, что раненый ему извѣстенъ. Торжественно и просто, не замедляясь, прочиталъ положенныя молитвы, потомъ вдругъ воскликнулъ:

— Сеня, да какъ же ты сюда попалъ?

— Вотъ попалъ, какъ и всѣ, кто могутъ.

— Такъ чего же ты мнѣ не сказалъ ничего? Мать-то жива, здорова?

— Благодарю васъ, дядя, вѣроятно, здорова. Я совсѣмъ писемъ не получаю...

— Ну, молчи, молчи. Нельзя тебѣ волноваться, не изъ-за чего. Все равно, побѣдимъ мы, а что ты самъ, можетъ быть, не вернешься, объ этомъ не думай. Время-ли?

Раненый помолчалъ, двинулъ было рукою, но сейчасъ же застоналъ и дѣтское лицо его изобразило муку.

— Горе ты мое! Или дома оставилъ кого-нибудь, кто по тебѣ убиваться будетъ? Такъ это, не безпокойся... дѣло молодое, позабудетъ...

— Нѣтъ, она не позабудетъ.

— Зачѣмъ такъ говорить? Зачѣмъ человѣку тяжесть навязывать? Теперь тебѣ легко будетъ, пусть и другимъ легко будетъ. Подумай, какой рай настанетъ! А немножко и черезъ тебя. Твое дѣло маленькое, мое — маленькое. Маленькое, да маленькое, а глядишь — большое вышло!

— Все-таки, дядя, если вы вернетесь, если я... то вы передайте Нинѣ Петровнѣ Вродской, вотъ это...

Больной зашарилъ глазами неловко по койкѣ.

— Не волнуйся, самъ найду, я самъ догадаюсь. Богъ тебя благословитъ.

И, дѣйствительно, нужно было имѣть нѣкоторую догадливость, чтобы понять, что именно дѣтская истрепанная тетрадка съ бѣлой наклейкой, въ родѣ тѣхъ, въ которыя школьники записываютъ вокабулы, предназначается далекой и неизвѣстной Нинѣ Петровнѣ.

Смерть племянника не произвела, казалось, особеннаго впечатлѣнія на о. Василія. Впрочемъ, когда одно чувство выбивается тутъ же другимъ, — всѣ нѣсколько притупляются, кромѣ простой безстрашности и отсутствія другихъ мыслей. Но нельзя сказать, чтобы о. Василій былъ лишенъ способности отзываться на все окружающее. Каждое утро онъ привѣтствовалъ, какъ птица небесная. Было-ли солнце, далеко освѣщавшее осеніе поля, холмы и луга, или хмуряя облака грозили затяжнымъ

мелкимъ дождемъ, — батюшка всѣмъ былъ доволенъ и за все благодарилъ Создателя, подбодряя свое, все рѣдѣющее, семейство. Онъ не былъ специальнымъ любителемъ природы, забывая изъ-за нея людей, на служеніе которымъ считалъ себя призваннымъ. Полно, считалъ-ли? Пожалуй, и не считалъ, даже удивился бы, если бы ему сказали, что онъ несетъ какое-то служеніе, а дѣлалъ весело то, что диктовало ему его любящее, радостное сердце, смущавшееся отъ большихъ словъ и всякаго намека на театральность. И природой онъ наслаждался мимоходомъ, спѣша съ позицій въ лазаретъ и обратно, только по вечерамъ позволяя себѣ краткія прогулки, о которыхъ офицеры узнали совершенно случайно.

Обходили караулы, ночь была августовская, темная, съ частыми звѣздами. Пахло землей и лошадьми, очевидно, только что тутъ стояла конница. Собирались уже возвращаться, какъ вдругъ увидѣли небольшую фигуру, недвижно стоявшую шагахъ въ пятьдесятъ. Хотѣли было окликнуть, да взяли на прицѣлъ, какъ одинъ солдатъ шепчетъ:

— Это они, ваше высокоблагородіе.

— Кто они?

— О. Василій.

— О. Василій?

— Такъ точно.

— Что же онъ дѣлаетъ?

— А кто его знаетъ! — не иначе, какъ гуляютъ, навѣрное...

— Странно, — что за ночныя прогулки! — и потомъ, чего же онъ тогда стоитъ, какъ столбъ!

Дѣйствительно, о. Василій стоялъ, вытянувшись во весь свой маленькій ростъ, поднявъ высоко свои простенькія руки и закинувъ непокрытую голову къ звѣздамъ. Вдругъ склонился, будто упалъ на землю. Долго не поднимался. Опять столбомъ къ небу.

Молился?

Пробовали окликнуть — не слышитъ. Офицеръ и солдаты постояли.

Тихо. Лошадьми не пахнетъ, а съ холмовъ наноситъ не то пыльными листьями, не то польнью; звѣзды высоко моргаютъ. Батюшка все столбушкомъ стоитъ, воздвигнувъ руки.

Такъ и ушли, не дозвавшись.

Офицеръ былъ человѣкъ молодой и слегка любопытный, потому онъ на слѣдующее утро попросту и доложилъ о. Василию:

— А мы вчера васъ, батюшка, видѣли, какъ вы молились.

Тотъ, ничего не понявъ, отвѣчаетъ:

— Что-жъ, что видѣли? Дѣло не плохое.

— Нѣтъ, мы васъ тамъ, на горушкѣ видѣли...

Такъ прелестной нашъ милый батюшка стѣснялся даже тѣхъ тайныхъ цѣлоночныхъ молитвъ, которыя, можетъ быть, и давали способность его глазамъ улыбаться навстрѣчу залпамъ и проливать вокругъ ту простую сердечность, которая и въ семью его вселяла безстрашіе и необычайный покой.

Ничего, что батюшка, вернувшись, будетъ конфузиться — придетъ нужный часъ, найдетъ о. Василий горушку и станетъ на молитву, видя себя истиннымъ молитвенникомъ.



КИРИКОВА ЛОДКА

Всякій знаетъ, какъ портовые жители сначала замѣчаютъ словно кремневый огонь съ далеко стоящихъ судовъ и потомъ ужъ черезъ полъ-минуты до ихъ слуха дойдетъ тупой выстрѣлъ. Такъ и подлиннымъ вѣстямъ о великой войнѣ предшествовали предзнаменованія, видѣнія, слухи и пророчества въ томъ далекомъ на сѣверѣ селѣ, среди печальныхъ болотъ, гдѣ непрерывный шумъ моря наводитъ такую тоску, что начинаешь думать, что слово „поморье“ происходитъ не отъ „моря“, а отъ глагола „помирать“. Отвѣхать верстѣ на сорокъ отъ берега, гдѣ твердая совсѣмъ ужъ земля и кое-какой лѣсъ, не слышно, не видно моря, — все-таки легче, а здѣсь бѣлесоватый заливъ, будто упавшій откуда-то глазъ съ бѣльмомъ, бѣлое небо въ туманѣ, гдѣ только мартыны доказываютъ, что это еще не послѣдняя бѣлизна, сонное солнце, сонный плескъ серебряной рыбы, — будто на пришельца смотрятъ на человѣка, и вся безкрайность словно лѣниво ждетъ, когда же будутъ бѣлыя ночи, или покроется все снѣгомъ.

Какъ бы сохраняя тотъ инстинктъ даже не животныхъ, а насѣкомыхъ, заставляющій ихъ окрашиваться въ цвѣтъ окружающей ихъ части природы, — и люди, шедшіе по узкой тропинкѣ, были одѣты въ бѣлый некрашенный холстъ, ихъ волосы были бѣлы почти до сѣдины и голубые глаза словно вылиняли отъ тумана. Паръ поднимался за каждымъ ихъ шагомъ отъ вдавливаемого мха, будто они шли по пожарищу. Шло трое, остановились около самого берега, гдѣ ждала незамѣтная лодка; затѣмъ остались двѣ фигуры, а молочную воду разрѣзалъ гу-

стой желтоватый слѣдѣ. Женщины пошли обратно по едва замѣтнымъ слѣдамъ, будто прямо болотомъ; одна изъ нихъ обернулась еще разъ на море, гдѣ въ полосѣ осеребренной солнцемъ, качалась лодка. Затѣмъ запахнувъ бѣлый кафтанъ, догнала старшую, путаясь въ стебляхъ морощки.

— Насмотрѣлась?

— Нѣтъ, не насмотрѣлась.

— Дура ты, Ульяна, какъ посмотрю на тебя!

— Какая есть.

— Да ты съ кѣмъ говоришь-то: съ матерью, или нѣтъ?

— Хоть бы и съ матерью.

— Такъ развѣ съ матерью такъ говорятъ?

— А то какъ-же еще? говорю по-русски.

— Вотъ погоди, сестрѣ Киликѣ скажу, она тебѣ покажетъ такъ отвѣчать. Лѣстовкой-то отхлещетъ!

— Сестра Киликѣя, хоть и осерчаетъ, а хлестать меня не будетъ.

— Нѣтъ, будетъ.

— Съ какой стати? Я у нея не подѣ началомъ еще. Да если бы и была, что же я сдѣлала? Кирика провожала, такъ что тутъ худого? всѣ знаютъ, что въ Покровъ онъ меня возьметъ за себя.

— Въшайся ему больше на шею, такъ и спятится.

— Кирикъ не спятится, не такой онъ человекъ.

— Какой же онъ такой особенный? какъ и всѣ: костяной, да кожанный.

— Пускай кожанный, все равно не спятится.

— Да ты не потеряла-ли ужъ себя, Ульяна?

— Нѣтъ.

— То-то.

— А если бы и потеряла, кому какое дѣло?

— Да что ты: бѣлены обѣлась? совсѣмъ отъ рукъ отбилась, будто у нея ни отца, ни матери нѣтъ!

Ульяна, дѣйствительно, имѣла и мать, которая шла вмѣстѣ съ нею къ раскиданному селу, и отца, извѣстнаго въ окрестности, какъ мѣстнаго богатѣя и содержателя тайнаго скита. Тайнымъ скитъ былъ когда-то, лѣтъ шестьдесятъ тому назадъ, теперь же

ни для кого не было секретомъ, что въ шести, семи избахъ одного изъ гнѣздъ, составлявшихъ село, жило съ дюжину старухъ и дѣвушекъ, занятыхъ рукодѣльемъ, молениемъ и хозяйствомъ. Дѣйствительнымъ было и то, что Ульяна слишкомъ любила Кирика и не считала нужнымъ скрывать этого, но, конечно, она не ошибалась, полагая Кирика не „такимъ человекомъ“ Хотя съ виду обвѣтренное, загорѣлое сѣвернымъ морскимъ загаромъ, будто слегка дубленое лицо парня съ прямыми русыми волосами и пристальнымъ взглядомъ было какъ у всѣхъ, но иногда въ этихъ глазахъ вдругъ неподвижно зажигались словно голубыя свѣчи, отчего лицо дѣлалось бѣлѣе и прозрачнѣе и самъ Кирикъ не казался тогда уже такимъ „костянымъ да кожанымъ“. Вѣроятно, за эти-то краткія минуты и считала Ульяна своего жениха особеннымъ, если не по дѣвичьей глупости, которой всегда „по милу хорошъ“.

И теперь у большой избы сосѣда Кириковы глаза такъ же странно и неподвижно голубѣли, словно онъ не слышалъ, что говорили кругомъ, или слишкомъ внимательно слушалъ другое, чего не говорили. Писарь, сидя на бревнахъ, читалъ газеты и его окружали старовѣры и церковные, старики и ребятишки; даже Ульянинъ отецъ стоялъ въ розовой высоко подпоясанной рубашкѣ съ палочкою въ рукѣ. Газета была старая, чуть ли не двумя недѣлями, но людямъ, приученнымъ моремъ и молитвами къ какому-то особенному вѣчному времячисленію, эти новости казались происшедшими минутой тому назадъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ же сплетались какъ-то непонятно не то съ отрывками изъ „Кирилловой книги“ объ Антихристѣ, не то съ бѣлымъ поморскимъ туманомъ.

„... Подъ дулами револьверовъ несчастнаго казначея заставили выдать городскія деньги; когда же оказалось, что этихъ послѣднихъ всего 263 рубля 73 коп., злодѣи разстрѣляли на глазахъ у него жену и дѣтей, потомъ и его самого“.

Читающій и слушатели не дѣлали какъ-то разницы между случаями современной войны, гоненіями римскихъ императоровъ и исторіями изъ Лѣтописца. И такъ же благочестиво вздохнулъ кто-то:

— О Господи Іисусе Христе!

— Сюда-то, мамынька, не придуть?

— Да какъ же имъ придти - то, откуда? отвѣчала баба такимъ тономъ, будто рѣчь шла о войскахъ Гога и Магога.

— А вотъ въ севастопольскую кампанію... -- началъ сѣдой солдатъ, будто покрытый зеленью отъ старости — ... англичане къ намъ приходили, въ Соловки палили...

— Такъ то англичане, а не нѣмцы, дѣдушка...

— Англичане, англичане...

— А вотъ наши на морѣ видѣли корабль, не русскій... подошелъ, постоялъ, постоялъ, и тихо назадъ пошелъ.

— Во снѣ видѣли-то?

— Нѣтъ, не во снѣ...

— А вотъ въ среду, такъ говорилъ Дементій, видѣлъ: лодка и два старца въ ней... видать, что старцы, а лицъ не разобрать, — будто нѣтъ. И ручекъ не чуть, одни рукава, а простираются вдаль... и голосъ слышенъ... Одинъ говоритъ: „Зосима, не пора ли? нашимъ туго“. А тотъ отвѣчаетъ: „Погоди, Савватеюшко, не торопись, еще справятся“. Такъ не то проѣхали, не то подъ водой скрылися больше не видно стало.

— Ну, это онъ изъ житія вычиталъ. Не то Св. Александра Невскаго, не то Александра Свирскаго.

— Большая разница: одинъ Благовѣрный Князь, другой - Преподобный.

... все сожигая на пути своего отступленія, угоняя скотъ и увозя всѣ цѣнныя вещи... продолжалъ читать писарь.

— А объявленіе будетъ?

— Какое объявленіе?

— Насчетъ того, какая вѣра правильная.

— Опомнилась! развѣ теперь такое время? Безо всякаго объявленія теперь нужно „Спаси, Господи“ къ небу кричать едиными устны и единымъ сердцемъ!

— Да, да. Правду ты говоришь.

— А вотъ въ Архангельскій, говорятъ, плѣнныхъ пригнали.. страшные! по-нашему не говорятъ.

— Это не плѣнные, это нѣмцевъ изъ Питера выслали. Плѣнные — тѣ съ номерами и въ кандалахъ.

— Нѣтъ, эти безъ номеровъ. И барыни ихнія съ ними. Тѣ еще злѣе, барыни-то!

— О, Господи, къ намъ бы не прислали!

— Не пришлютъ: у насъ мошкара заѣстъ... опять сырость...

— Говорятъ, казаковъ послали Англичанамъ. Нагрузили, будто хлѣбомъ, а тамъ все казаки... Наши видѣли... На каждомъ мѣшкѣ штемпель и орелъ, чтобы тамъ поняли. А атаманъ по палубѣ на волѣ гуляетъ съ пикой. Погуляетъ, погуляетъ и пикой въ трюмъ постучитъ, значитъ „живы ли, дѣтки“? Тѣ снизу отвѣчаютъ: „живы“! и такъ дальше плывутъ...

Кирикъ, какъ застывшій, слушалъ, то-ли, что говорили, то-ли, о чемъ не было рѣчи.

На слѣдующее утро онъ пропалъ, исчезла куда-то и его лодка. Уляна думала, что онъ спозаранокъ отправился рыбу ловить и просидѣла до вечера на кочкѣ, но Кирикъ не возвращался. Не возвращался онъ и на другой день, и на третій. Цѣлую недѣлю ходила Уляна къ морю, потомъ перестала. А тутъ начались рассказы: то Кирика видѣли съ лодкой, то лодку безъ Кирика, что-то онъ даже кричалъ будто рыбакамъ, не то „горячо“, не то „хорошо“. Наконецъ и рассказы прекратились. Пропалъ Кирикъ, да и все тутъ. Весною часто рыбаки пропадаютъ, а онъ лѣтомъ пропалъ -- все можетъ быть! Долго Уляна крѣпилась, наконецъ сдалась и стала на ночь читать канонъ за „единоумершаго“. Слезы растопили окаменѣлость и растравили раны, такъ что можно было ихъ врачевать. Покровъ уже былъ близокъ, когда Уляна, войдя въ келью матери Киликеи, поклонилась ей въ ноги и сказала:

— Къ твоей милости! возьми меня подъ началъ, хочу постричься.

— Дѣло доброе, дѣло доброе! Блаженъ изволъ твой о Гѣподѣ... -- отвѣтила та, крестясь.

— Вся душа моя изныла, матушка! одна мнѣ радость, одно мнѣ спасенье — молиться, душу свою бѣлить передъ Господомъ,

Въ сѣняхъ кто-то быстро не по-скитски затопоталъ, постукалъ безъ молитвы, Киликея недовольно молвила:

— Кто тамъ? съ цѣпи сорвался, что-ли?

Уъ горницу вбѣжалъ подростокъ съ бумагой въ рукѣ.

— Тебѣ Ульяна, отъ Кирика письмо!

— Отъ Кирика? — спросила Ульяна, будто не понимая, и не подымаясь съ колѣнъ.

— Что за вздоръ? нешто могутъ съ того свѣта письма приходить? — разсуждала Киликея, межъ тѣмъ, какъ Ульяна на колѣняхъ еле разбираала отъ слезъ каракули. Наконецъ она опустила письмо и широко перекрестившись, воскликнула:

— Живъ, живъ!

— Дай-ка бумагу-то, — сказала Киликея, надѣвая очки. Въ письмѣ не менѣе фантастично, чѣмъ все, что говорилось въ селѣ, чѣмъ все, что тамъ представлялось, было описано, какъ Кирикъ нагналъ, дѣйствительно, судно съ казачьимъ отрядомъ, послѣ долгихъ скитаній высадился во Франціи и сражается противъ нѣмцевъ.

Прочитавъ письмо, Киликея обратилась съ улыбкой къ дѣвушкѣ:

— Такъ, какъ же, милая, постригаться-то повременишь?..

— Повременю, Киликеюшка.

— Ладно, ладно, воля твоя!

— Не сердись, матушка.

— Мнѣ что? твоя воля, твое и хотѣнье.

— Матушка!

— Что?

— Скажи мнѣ, что онъ вернется.

— Ужъ этого я не знаю. Какъ Господь разсудитъ.

— Нѣтъ, ты иавѣрное скажи!

— Вотъ безумная-то пристала! Что я тебѣ — пророкъ или гадалка! какъ-же я могу это знать?

— А вотъ я не пророкъ и не гадалка, а знаю, знаю, что Кирикъ вернется!

И Ульянѣ такъ ясно представилось, какъ въ Кириковыхъ глазахъ вмѣсто голубыхъ свѣчей отражаются ружейные огни, что она повѣрила, что наступитъ время, когда въ этихъ взо-рахъ снова заблеститъ блѣдное родное небо, и море, и ея, Ульянины, глаза.



А. А. ИЗМАЙЛОВУ.

ПРАВАЯ ЛАМПОЧКА.

Онъ долго за нею ухаживалъ не только лѣтомъ, но и зимою, и наступившею весною, и новымъ лѣтомъ, несмотря на разразившуюся войну. Была ли это страсть, или упрямство, но Софью Петровну трогала такая постоянная влюбленность. Она уже нѣсколько отвыкла вѣ этой глуши отъ мрачныхъ вздоховъ, церемонныхъ провожаній, ночныхъ прогулокъ и нѣмецкихъ стиховъ. Штейнъ ей не слишкомъ нравился, но былъ лучше, интереснѣе другихъ вѣ городкѣ, куда судьба закинула ея покойнаго мужа и гдѣ она осталась, неизвѣстно почему. Неизвѣстно было также, почему живетъ здѣсь Эрнестъ Штейнъ такъ долго, развѣ только для того, чтобы вздохнуть по Софи. Ей было приятно такъ думать, и она дольше останавливала свой взглядъ на скошенномъ лѣѣ и выдающимся подбородкѣ своего поклонника, не спѣшила брать свою руку изъ его, безъ скуки слушала сентиментально-траурные стихи и даже согласилась сегодня навѣстить его. Она не думала, чтобы это приглашеніе значило что-нибудь другое, но если-бъ здѣсь былъ и тайный, но понятный смыслъ, она пошла бы. Она была свободна, и Штейнъ ей начиналъ нравиться; притомъ перспектива длительной и роковой страсти съ его стороны ее не только забавляла, но и приводила вѣ волненье. Эрнестъ жилъ зиму и лѣто на загородной мельницѣ на горѣ, гдѣ вѣ верхнемъ этажѣ ему было отведено двѣ комнаты съ окнами на широкую окрестность верстъ вѣ двадцать пять. Никому не казался страннымъ выборъ такого жилья, такъ какъ г. Штейнъ, не будучи барономъ, былъ тѣмъ не менѣе нѣмецкимъ поэтомъ, которому позволено имѣть свои фантазіи

и странности. Онъ говорилъ, что мельница—самый возвышенный пунктъ города, что ему очень удобно для занятій астрономіей, которымъ онъ предавался въ свободное время. Можетъ быть, къ числу странностей нужно было отнести и то обстоятельство, что для рѣшительнаго объясненія съ Софи онъ выбралъ именно это время, когда давно уже кругомъ пылала война. Софья Петровна не оставалась равнодушной къ событіямъ, но еще болѣе волновался Штейнъ, старавшійся узнавать всѣ подробности и выказывавшій патріотизмъ, которому позавидовалъ бы любой русскій.

Солнце только что сѣло, когда Софи достигла уединенной мельницы. Едва она вступила въ сѣни, какъ сверху сбѣжалъ взволнованный Штейнъ и она почувствовала, какъ ее цѣлуютъ, поднимаютъ чьи-то руки и несутъ быстро, какъ добычу, наверхъ.

— Что за безуміе, Эрнестъ! какъ же вы будете вести себя дальше? я даже жалѣю, что согласилась на этотъ визитъ... проговорила опущенная на полъ Софи, задыхаясь.

— Вы не будете жалѣть, увѣрю васъ. А теперь простите мой невольный порывъ. Я не могъ сдерживаться, видя васъ, мою богиню, мое счастье, у себя!..

— А у васъ здѣсь мило! романтично, но хорошо! напоминаетъ запущенные, но чистенькіе аббатства Вальтеръ Скотта... говорила Софи, осматривая помѣщеніе, тускло освѣщаемое одной лампочкой.

Дѣйствительно, стрѣльчатое окно, диваны съ высокими спинками, арматура на стѣнѣ и старинный портретъ,— было выдержано въ подновленно готическомъ стилѣ. Въ углу даже стоялъ вооруженный рыцарь съ подносиномъ въ рукахъ, предназначавшимся, вѣроятно, для визитныхъ карточекъ, но на которомъ теперь покоился лишь котелокъ и перчатки Эрнеста. Лишь столикъ съ закусками, виномъ и цвѣтами говорилъ о менѣе суровомъ времяпрепровожденіи.

— Очень мило! повторила еще разъ Софья Петровна—но почему такая темнота?—и она повернула кнопку.

— Ради Бога!—воскликнулъ Штейнъ.

— Что такое „ради Бога“?

— Не зажигайте огня! — и онъ повернулъ кнопку обратно.

— Почему это? я хочу посмотрѣть портретъ!

— Я его сниму со стѣны и поднесу ближе. —

— Зачѣмъ же его снимать, когда я могу такъ рассмотреть? И потомъ, не станемъ же мы сидѣть въ такомъ полумракѣ? Это, конечно, очень поэтично, но можно подумать, что вы не хотите видѣть моего лица!

— Кто же можетъ это подумать, Софи, Софи дорогая! —

— Да я первая. Ну полно, откройте свѣтъ, это смѣшно.

— Я не могу.

— Почему не можете? поверните кнопку — вотъ и все.

— Я не могу! — повторилъ Штейнъ, держа руку на выключатель.

— Это скучно, Эрнестъ! Не всегда упрямство хорошо. И потомъ, если вы упрямитесь, я тоже буду упрямой и хочу, чтобы вы зажгли правую лампочку.

— Я этого не могу.

— Вы меня бѣсите. Что же вы дали обѣтъ не зажигать ея? —

— Да я далъ обѣтъ.

— Какія глупости! какой обѣтъ! Что вы — масонъ, что ли? —

— Да, я — масонъ.

— Вы сочиняете. Масоны никогда не признаются въ томъ, что они масоны.

Штейнъ молчалъ. Софья Петровна надутая сѣла въ другомъ углу комнаты, наконецъ сказала:

— Что же, мы такъ и будемъ играть въ молчанку? я совсѣмъ не для этого сюда пришла. Зажгите свѣтъ и давайте ужинать.

— Я не могу.

Софья Петровна перешла къ креслу, гдѣ сидѣлъ Штейнъ и сѣвъ къ нему на колѣни, заговорила быстро и ласково:

— Но послушайте, милый Эрнестъ, будьте вѣжливымъ. Что же все „не могу“, да „не могу.“ Вотъ такъ поверните — и выйдетъ „могу“.

И она пыталась своею рукою повернуть пальцы Штейна, но тотъ держался крѣпко, будто впился.

— Это же не хорошо. Ну, васъ проситъ женщина, которой полагается быть капризной. Вы увѣряете, что меня любите, и

не можете уступить въ такомъ пустякъ... Ну пожалуйста! Вамъ даже неудобно обнимать меня одною рукою. Ну? вы согласны? нѣтъ? вотъ противный нѣмецъ! Я, право, сейчасъ заплачу!

— Что вы со мной дѣлаете! — прошепталъ Штейнъ въ бореніи.

— Что я съ вами дѣлаю! Скорѣе, что я съ собою дѣлаю!.. Ну, хотите такъ: пусть обѣ лампочки горятъ во время ужина, а потомъ мы обѣ потушимъ... идетъ?

— Софи, Софи, богиня моя, крошка! — прошепталъ Эрнестъ, обнимая ее обѣими руками и не замѣчая, какъ проворная ручка Софьи Петровны пустила весь свѣтъ. Тогда гостя весело встала, говоря:

— А теперь будемте ужинать. Вышло по моему, все равно!

Штейнъ поднялся, какъ пьяный, повторяя:

— Все равно, все равно!

— Конечно, все равно. Развеселитесь и не дуйтесь. Дайте, я вамъ налью вина.

Минута погоняла минуту, стаканъ стаканъ, поцѣлуй поцѣлуй. Пора наступала тушить огни, какъ вдругъ Эрнестъ распахнулъ окно и высунулся въ темноту.

— Ну что тамъ? вамъ жарко? — разнѣженно спросила Софья Петровна, не двигаясь.

— Эрнестъ, закройте окно и подите сюда. Мнѣ холодно. Издали слышались пушечные выстрѣлы. Штейнъ быстро взялъ полевой бинокль и снова исчезъ въ окнѣ.

— Послушайте, это скучно. Ну что вы тамъ увидите въ темнотѣ? Или вы наблюдаете звѣзды? Это даже невѣжливо.

Эрнестъ повернулся къ говорящей; блѣдное лицо его дергалось.

— Я — предатель!

— Что вы говорите?

— Я предатель — повторилъ Штейнъ, не двигаясь.

— Послушайте милый, такія сцены хороши въ романахъ, но никуда не годятся въ жизни. Я пришла весело и любовно провести время, а вовсе не выслушивать разныя штучки...

Она хотѣла продолжать, но ее прервалъ Штейнъ, вдругъ сдѣлавшійся какъ то еще выше, который закричалъ не своимъ голосомъ:

— Я — предатель, и вы этому виною. Я ненавижу васъ!

Хмель и спокойствіе разомъ соскочили съ Софьи Петровны. Она приподнялась въ тревогѣ, думая, что хозяинъ сошелъ съ ума, а тотъ началъ бѣгать по комнатѣ, твердя:

— Все погибло, все погибло!

— Что погибло? — спрашивала Софи, ходя за нимъ по пятамъ.

— Правая лампочка не должна была горѣть! — отвѣтилъ Штейнъ, остановившись.

— Но какое отношеніе?...

— Она не должна была горѣть, а теперь непріятель избѣгъ ловушки.

— Нѣмцы насъ обошли?

— Нѣтъ, русскіе вывернулись.

— Слава Богу!

— Теперь вы понимаете?

— Понимаю, понимаю... — зашептала Софья Петровна, пятась къ дверямъ.

— Что дѣлать теперь? — воскликнулъ Штейнъ, опускаясь въ кресло и закрывая лицо руками. Софи у дверей молчала, прислушиваясь къ пальбѣ.

— Вы понимаете, что я надѣлалъ что вы надѣлали?

Софья Петровна начала съ трудомъ:

— Вы должны были извѣщать враговъ сигналами о томъ, что дѣлается у насъ, о передвиженіи нашихъ войскъ... я не знаю.

— Да, да. И я, какъ мальчишка, размякъ и предалъ!

Въ молчаніи раздался голосъ Софи отъ двери:

— Вы — предатель, двойной предатель и глупый предатель. Вы предали страну, которая васъ приняла, какъ родного, вы предали своихъ и какъ глупо, изъ-за какого пустяка!

Штейнъ вдругъ поднялъ голову.

— Вы, тамъ! можетъ быть, вы догадывались, можетъ быть, вы были подосланы нарочно!

— Нѣтъ. Если бы я догадывалась, васъ давно не было бы въ городѣ. Нѣтъ, я не знала, я — не героиня. Я благодарю Небо, что черезъ мою слабость такъ все устроилось, но не могу взять этой чести на себя. Но повѣрьте: пусть обо мнѣ

думаютъ, что хотятъ, — себя я не пожалю, но и о васъ будутъ знать, что вы за птица!

— Да, если вы отсюда выйдете живою...

Штейнъ быстро всталъ, но дверь еще быстрѣе захлопнулась и замкнулась снаружи вытасненнымъ заранѣе ключемъ.

— Послушайте, я, конечно, шутилъ, но бросьте и вы эти шутки! — кричалъ Штейнъ, колотя въ двери кулакомъ.

— Я вовсе не шучу — слышалось изъ-за двери. — И еще вотъ что, г. Штейнъ, я вамъ всетаки благодарна за сегодняшній вечеръ и нисколько не жалю о своемъ визитѣ, — вы были правы.



М. Н. БЯКОВСКОМУ.

ДВА БРАТА.

I.

Было почти невозможно признать за родныхъ братьевъ Леонида и Андрея Петровичей Загорскихъ, увидя ихъ рядомъ, но когда встрѣчали ихъ порознь, то чѣмъ-то сходилось крупное съ прямымъ носомъ и большими карими глазами лицо старшаго шатена съ курносомъ, круглымъ въ рыжеватыхъ кудеркахъ лицомъ младшаго Андрея. Общимъ было выраженіе какого-то прямодушнаго упрямства и, пожалуй, смѣлости, хотя, какъ людямъ благовоспитаннымъ и мирнымъ, смѣлость свою имъ не представлялось частыхъ случаевъ выказывать.

Но въ этотъ день, повидимому, старшему Загорскому приходилось прибѣгать именно къ своей смѣлости, что сильно беспокоило, не будучи отъ него тайной, Андрея Петровича. Собственныя же качества въ другихъ всегда кажутся болѣе очевидными и сопряженными съ большимъ рискомъ. Впрочемъ, какому же риску подвергается Леонидъ Петровичъ, объясняясь на чистоту, рѣшительно съ тою, которую онъ любилъ со всюю смѣлостью и упрямствомъ?

Варвара Игнатьевна Кольцова сама была не робкаго десятка, соединяя съ увѣренностью въ себѣ чисто дамскую изворотливость и право нелогичными скачками сбивать съ толку кого угодно. Если же начать отыскивать какую-нибудь связь въ ея рѣчахъ, то окончательно пропадешь и признаешь ея побѣду.

Андрей отлично зналъ все это и перелистывалъ книгу, едва ли слѣдя за ея содержаніемъ, прислушиваясь, не стукнетъ ли

садовая калитка, которой съ балкона ему не было видно изъ-за разросшихся цвѣтовъ настурцій. Онъ будто самъ находился тамъ, во временной дачной гостиной Варвары Игнатъевны. Вотъ входитъ Леонидъ; навѣрное, зацѣпилъ за одинъ изъ тяжелыхъ стульевъ, почему-то всегда стоявшихъ у Кольцовой криво, какъ попало. Хозяйка поднимается ему навстрѣчу, изображая недоумѣніе, хотя свиданіе это не неожиданное, назначенное ею самою, выпрошенное Загорскимъ. Варвара Игнатъевна готова къ объясненію и по дергающимся губамъ и разсѣянному взору можно заключить о зайчикахъ предстоящаго разговора, которые сейчасъ будутъ дразнить, злить, увлекать и сбивать съ толку собесѣдника. Будетъ ли она нѣжна, горда, недоступна, насмѣшлива, ласкова — ничего не извѣстно. Вѣроятно же всего, что она все это соединитъ такъ своеобразно, что Леонидъ по прямоотъ и разсудительности сразу разсердится, почувствуетъ себя виноватымъ и дастъ себя побѣдить такой именно побѣдою, какой захочетъ соперникъ. Варвара Игнатъевна всегда вела единоборство и именно самыми легкими и безъ ошибки дѣйствующими средствами.

Андрей такъ живо представилъ себѣ всю сцену объясненія у Кольцовой, что не слыхалъ, какъ стукнула калитка, и выбѣжалъ въ садъ послѣ того, какъ туда же съ лаемъ помчался рыжий щенокъ, спавшій доселѣ у него подъ кресломъ. Загорскій ничего не спросилъ у брата, такъ какъ безъ словъ увидѣлъ по лицу того, что произошло. Онъ молча взялъ Леонида Петровича подъ руку и только дойдя до небольшого общаго кабинета спросилъ:

— Что же дѣлать теперь, Ленья?

Тотъ молча сѣлъ на кожаный диванъ, не мѣняя растерянаго выраженія, и машинально чистилъ рукавъ пиджака, будто сметая непріятныя воспомнанія. Наконецъ, началъ медленно и монотонно, будто собираясь такъ говорить долгое время, даже не обращая большого вниманія на слушателя:

— Теперь у меня ничего не осталось. Ты не можешь себѣ представить, какая пустота въ моей душѣ! Не службой же въ канцеляріи мнѣ жить! У меня нѣтъ ни искусства, ни науки, ни спеціальной религіозности. Я, конечно, человекъ върующій и

даже церковный, если хочешь, но это не наполняетъ моей жизни, понимаешь, жизни! Все было въ моей любви и она осталась мнѣ на муку! Теперь мои дни наполняются только терзаніями. Къ чему мнѣ обратиться, что мнѣ дѣлать? Это какое-то общее крушеніе для меня. Что-жъ теперь, разыгрывать послѣдній дурацкій актъ и пускать себѣ пулю въ лобъ?

— Конечно, нѣтъ! — быстро отвѣтилъ Андрей, и даже схватилъ братнину руку.

— Но что же тогда мнѣ дѣлать?

— Я не знаю. Ты все говоришь только о себѣ; пожалуй, я тебя понимаю, но не знаю, что тогда тебѣ посоветовать. Если бы ты думалъ о другихъ, отвѣтоѡъ была бы сотня.

— Ахъ, жить для другихъ? Слышали эту пѣсню! Но для кого же прикажешь жить, кому я нуженъ?

— Хотя бы для меня. Начни съ одного человѣка.

— Слова, слова и слова!

— Отъ насъ зависить сдѣлать ихъ не словами!

Леонидъ Петровичъ махнулъ рукою, задумался. Темнѣло поіюльски, изъ сада несло сырымъ запахомъ цвѣтовъ, далеко съ вокзала была слышна военная музыка. Младшій Загорскій зажегъ на столѣ свѣчи, которыя безъ вѣтра, не оплывая, прямо и неподвижно зажелтѣли, — и снова сѣлъ рядомъ съ братомъ.

— Если-бъ ты зналъ, Андрюша, какъ я просилъ, унижался... У нея брови иногда такъ сходятся, такъ чудесно, что нестерпимо смотрѣть.

— Не надо, не надо вспоминать!

— Этимъ только мнѣ и жить, и терзаться.

Помолчавъ, Леонидъ Петровичъ, будто со сна, спросилъ:

— Сегодня царскій день?

— Нѣтъ. Почему?

— Почему же играютъ гимнъ и кричатъ ура?

— Я не знаю.

Издали торжественно, грозно и таинственно, дѣйствительно, лилась во мракъ мѣдная мелодія, теряясь за широкимъ прудомъ въ поляхъ. Потомъ крики. Опять. Еще трубы. Снова крики. Пламя свѣчъ будто отъ нихъ заколебалось.

— Что это?

— Ты не читалъ эти дни газетъ. Вѣроятно, объявлена война.

— Война... — повторилъ раздѣльно Леонидъ. — Война! — повторилъ онъ еще разъ очень громко, и потомъ быстро, быстро заговорилъ, будто слово подгоняло другое: — Андрюша! это — отвѣтъ! Судьба, Богъ, не знаю что, мнѣ указываетъ пути! Я же — запасной, я буду посланъ и вотъ, и вотъ я все забуду, я найду снова себя и душу.

Андрей тихо отвѣтилъ:

— Найдешь себя, если о себѣ забудешь.

Но старшій его какъ бы не слышалъ, онъ бѣгалъ по небольшой комнатѣ, раздувая свѣчи поворотами и сжавъ крѣпко руки.

— Да, да... это такъ, это такъ! — повторялъ онъ, прислушиваясь, какъ изъ темноты снова раздавались крики, потомъ такой извѣстный, но будто впервые понятый до глубины, напѣвъ и опять крики въ черное небо.

II.

Дѣйствительно, новое положеніе какъ бы влило новый свѣтъ въ душевное устройство Леонида Петровича, направивъ его воображеніе въ сторону одинокаго геройства. Андрей Петровичъ пошелъ по своему желанью, будучи здоровымъ и ничѣмъ особенно не связаннымъ молодымъ человекомъ, въ армію и даже въ тотъ именно полкъ, гдѣ находился и старшій братъ. Онъ наблюдалъ съ интересомъ и тайной надеждою, какъ перемѣна жизненныхъ условій, внѣшней обстановки и интересовъ дѣйствовала на Леонида, будто ожидая, когда же наступитъ то настоящее измѣненіе, которое, казалось ему, такъ необходимо было смѣлому и открытому, но слишкомъ самодовольствующему характеру неудачнаго возлюбленнаго Варвары Игнатьевны.

Съ послѣдней Леонидъ Петровичъ не видѣлся передъ отъѣздомъ, даже не извѣщалъ ее о своемъ рѣшеніи, о которомъ она, конечно, узнала, какъ о всемъ узнаешь на дачѣ, но которое не ставила ни въ какую связь со своимъ послѣднимъ объясне-

ніемъ, такъ какъ старшій Загорскій былъ запаснымъ, а отношеніе его къ предстоящему поступленію въ армію не было ей извѣстно. Поступками младшаго брата Кольцова и совсѣмъ не имѣла причины интересоваться. Леониду было совершенно неизвѣстно, въ какомъ состояніи оставилъ онъ ту, мысль о комъ, ему казалось, не переставала руководить его чувствами и дѣйствіями.

Онъ не могъ дожидаться, когда же ихъ полкъ достигнетъ мѣста конечнаго назначенія и вступитъ въ настоящее дѣло. Польскія мѣстечки и еврейскіе городки его ни мало не интересовали, равно какъ и разговоры, планы, надежды и сожалѣнія товарищей. Онъ все время словно прислушивался, что дѣлается внутри его души, и Андрей замѣчалъ все болѣе крѣпкое и какое-то одинокое выраженіе на лицѣ брата. Младшій Загорскій зато какъ-то сразу занялъ положеніе самого обыкновеннаго и своего въ полковой средѣ. Его прямодушіе, веселость и видимая доброта располагали всѣхъ въ его пользу, а простота обращенія и беззаботность его дѣлали вездѣ желаннымъ и пріятнымъ собесѣдникомъ. Ничѣмъ особеннымъ его не считали, но просто любили въ противоположность Леониду Петровичу, къ которому относились холодно, но котораго почитали за человѣка необыкновеннаго и отъ храбрости котораго ждали очень многого.

Загорскій не обманулъ этихъ ожиданій и дѣйствительно, при первыхъ же перестрѣлкахъ и стычкахъ съ непріятелемъ выказалъ незаурядное присутствіе духа и отвагу.

Въ первый же разъ, какъ въ бинокль онъ замѣтилъ за мелкимъ кустарникомъ прусскія каски въ защитныхъ чехлахъ, онъ сказалъ, обращаясь къ стоявшему рядомъ Андрею:

— Вотъ начинается! Слава Богу, — сдѣлаюсъ другимъ.

Тотъ тутъ ничего не отвѣтилъ, только улыбулся ласково и подбодряюще, а ночью спрашиваетъ:

— Ты не писалъ, Леня, Варварѣ Игнатьевнѣ ничего?

Леонидъ не сразу отвѣтилъ и младшему брату показалось, что, навѣрное, тотъ въ темнотѣ нахмурился. Кому же и отвѣтилъ онъ тоже вопросомъ:

— Что тебѣ вздумалось говорить объ этомъ? Я стараюсъ, наоборотъ, совершенно забыть о ней.

— Я такъ. Ты утромъ сказалъ, что дѣлаешься другимъ, — я обманулся, я думалъ, ты перестанешь только о себѣ думать. А о комъ же и подумать въ первую голову, какъ не о той, которую ты такъ любилъ? Въдь она, можетъ быть, тебя любить, и Богъ знаетъ, что думаетъ.

— Ну, знаешь: когда любятъ, иначе ведутъ себя. Я не знаю, что ты тамъ навоображалъ, но по-моему, какъ-то даже неделикатно зудить человѣка, который хочетъ себя перестраивать.

Какъ же Андрею было спрашивать, или обращать вниманіе брата на себя, или товарищей, когда онъ такъ устремился въ забвенное геройство, что только о немъ и думалъ?!

Но Леонида и собственное геройство радовало какъ-то не потому, что онъ спасалъ товарищей, помогалъ побѣдѣ, а слѣдовательно, и торжеству родины, — нѣтъ, онъ веселился тѣмъ запасомъ, самимъ по себѣ, отваги и безстрашія, который отрывалъ въ своей душѣ.

Провидѣніе хранило его. Ни въ одномъ изъ самыхъ отчаянныхъ положеній онъ не былъ раненъ. Оставался невредимъ и младшій братъ, почти ни на шагъ не отстававшій отъ Леонида. Хотя онъ подвергался, слѣдовательно, тѣмъ же опасностямъ, никто ему этого въ подвигъ не ставилъ, да и онъ самъ удивился бы, узнавъ, что дѣлаетъ что-то героическое. Къ брату онъ уже не обращался съ разговорами, которые могли бы показаться неумѣстными и надоедливыми, а если говорилъ, то о самыхъ простыхъ предметахъ, не заключавшихъ въ себѣ никакого намека на желаніе узнать душевное настроеніе Леонида. Даже иногда съ наивнымъ лукавствомъ нарочно заводилъ рѣчь о первыхъ попавшихся вещахъ, чтобы отвлечь того отъ самозерцанія.

Бдучи въ небольшомъ отрядѣ по плоскому болотистому полю, онъ все повторялъ:

— Нѣтъ, ты посмотри, Леня, до чего это похоже на какой-нибудь Порховской уѣздъ! Сколько разъ я ѣздилъ за границу, но никогда мѣста, какъ слѣдуетъ, не узнаешь, покуда не нскодишь его ногами, или не изѣздишь на лошадахъ. Изъ окна вагона все кажется не настоящимъ.

Леонидъ молчалъ, зорко оглядываясь по сторонамъ.

— И какое умильное, незатѣйливое небо! будто полнявшее любимое мамно платье! — не унимался Андрей.

— Да, да... Славный ты, Андрияша! — молвилъ старшій, но вдругъ нахмурившись, остановился, такъ какъ переднія лошади тоже тревожно стали.

— Что это?

Но внезапный трескъ выстрѣловъ сбоку и тупой звукъ копытъ по мху показалъ, что непріатели оказались ближе, чѣмъ предполагалъ нашъ развѣздъ. Эта опасность не была новостью Загорскимъ, и Леонидъ, обнажая саблю, только успѣлъ замѣтить, какъ голубѣетъ въ ней „умиальное“ небо. Можетъ быть, не нужно было этого замѣчать, потому что онъ вдругъ почувствовалъ, что тихо сползаетъ на бокъ сѣдла. Совсѣмъ близко молодой нѣмецъ замахивается на него саблей, опускаетъ ее, но удара Леонидъ не чувствуетъ, только валится, какъ въ постель, а лошадь изъ подъ него вырывается.

Лишился сознанія, но, вѣроятно, на короткое время, такъ какъ, открывъ глаза, еще видѣлъ скачущихъ нѣмцевъ и нашихъ, человекъ восемь лежало, билась на спинѣ лошадь. Другое лицо наклонилось. Тотчасъ закрылъ глаза.

— И этотъ убить! — проговорили.

Приподняли голову и отпустили. Онъ далъ ей больно стукнуться, только чтобы тѣ скорѣе уходили. Все стихло. Леонидъ попробовалъ приподняться. Небо сдѣлалось краснымъ, закружилось, горячая боль прошла по рукъ и опять память оставила его. Очнувшись, онъ долго не могъ понять, гдѣ онъ находится и въ чемъ дѣло. Рѣдкіе и неровные толчки прерывали болѣе постоянное колыханье, возобновляя нестерпимую боль, отъ которой онъ хрипло застоналъ. Его не совсѣмъ ловко опустили, колыханья прекратились и около себя онъ увидѣлъ лицо Андрея. Какой онъ рыжій! Мѣстность — не та, но похожая.

— Не говори... не трогайся... я сейчасъ отдохну... опять пополземъ... встрѣтимъ... не горюй!..

— Ты — то же? — съ трудомъ сказалъ Леонидъ.

Андрей улыбнулся.

— Да... я тоже... я тоже раненъ.

— Господи! — подумалъ старшій, — значитъ, это онъ меня тащилъ, самъ раненый!

Онъ хотѣлъ пожать хоть руку Андрею, но собственная не повиновалась. Но почему-то вдругъ стало необыкновенно спокойно, какъ въ дѣтствѣ, даже не хотѣлось, чтобы братъ волокъ его куда-то дальше, но казалось невозможнымъ, что тотъ уйдетъ. Опять пріоткрылъ глаза; можетъ быть, и не открывалъ, а такъ представилъ себѣ умильное лниучее небо, какъ мамино любимое платье.

III.

Андрей не ошибся; они допозли до первыхъ встрѣчныхъ нашихъ отрядовъ, гдѣ имъ и оказали помощь. Какъ это ни странно, младшій Загорскій оказался въ болѣе тяжеломъ положеніи, нежели Леонидъ. Можетъ быть, усилія, которыя онъ употреблялъ, таща брата, истощили его. Обоихъ ихъ отправили въ Кіевъ, гдѣ въ свѣтлой небольшой палатѣ они и ждали выздоровленія, когда можно было бы снова вернуться въ дѣйствующую армию. Собственно говоря, старшій уже могъ бы уѣхать, но онъ поджидалъ Андрея, котораго не хотѣлъ оставлять. Когда они оба лежали, онъ все беспокоился о братѣ, забывая свои раины, и въ бреду ему представлялось, будто это онъ уже тащитъ Андрея черезъ мховые холмы, утѣшаетъ и говоритъ о дѣтствѣ. Теперь же онъ сталъ нѣжнѣйшей снѣлкой, заботливой и внимательной, словно позабывъ совершенно заниматься постоянно состояніемъ своей души. Андрей не хотѣлъ спугивать этого двойного выздоровленія и тихо сіялъ, не говоря ни слова.

— Тутъ только понимаешь, какая масса времени въ одномъ днѣ. Только что я ходилъ въ сосѣдную палату, бесѣдовалъ съ солдатомъ раненымъ. Занятно! Какъ онъ обрадовался, бѣдняга! Оказывается, изъ нашихъ мѣстъ, изъ-подъ Калуги.

Андрей былъ бы радъ лежать совсѣмъ заброшеннымъ, только бы его братъ, когда посѣщалъ его, говорилъ такія слова. Леонидъ сталъ читать газеты.

— А по-моему, мы отлично побѣдимъ, не можетъ быть никакого сомнѣнія. Дай-то Богъ тебѣ скорѣе поправиться, чтобы намъ опять туда поѣхать!

— И поѣдемъ скоро, скоро! — отвѣчалъ младшій и вдругъ заплакалъ.

— Ты что, что ты?

— Ничего. Я очень счастливъ!

— Знаешь, что? Я тоже какъ-то счастливѣе теперь. То есть, я не думаю, счастливъ я, или нѣтъ.

— Ты измѣнился, правда? — произнесъ Андрей робко.

Леонидъ промолчалъ, слегка нахмурясь.

— Не надо упрямяться... не надо, ну!.. — ласково продолжалъ Андрей.

Леонидъ улыбнулся, будто черезъ слух и тихо молвилъ:

— Пожалуй. О ней я не думаю.

— Когда опять, но по-другому будешь думать, тогда и со всѣмъ будетъ хорошо.

— Какія-то загадки?

— Съ очень хорошими разгадками, повѣрь.

Утромъ черезъ нѣсколько дней младшему Загорскому прислали букетъ розъ, съ которыхъ капала вода на бѣлый краше-ный столикъ.

— Отъ кого? — спросилъ, входя, Леонидъ.

Андрей, не отвѣчая, улыбался, расширивъ ноздри, будто что бы лучше чувствовать сладкій и томный запахъ.

— Отъ неизвѣстной поклонницы? Вотъ плутъ! Вѣдь ты у меня — красавецъ!

А растрепанный, небритый красавецъ только отвѣчалъ:

— Не отъ поклонницы, а отъ человѣка очень извѣстнаго и тебѣ, и мнѣ...

— И мнѣ даже? — спросилъ, насторожившись, старшій.

— Да. Тамъ въ ящикѣ письмо. Оно скорѣе предназначено тебѣ.

— Отъ Варвары Игнатьевны? Я не буду его читать!

— Почему?

— Потому что не хочу. И потомъ, она писала тебѣ, зачѣмъ же я буду читать чужія письма!

— Да. Письмо адресовано мнѣ, но предназначено для тебя. Я прошу тебя прочесть его. Повѣрь, тебѣ же будетъ лучше, тѣмъ болѣе, что прочитать нѣсколько строкъ тебя ни къ чему ни обязываетъ.

— Надѣюсь.

— Ну, вотъ и исполни мою просьбу.

Леонидъ пожалъ плечами, однако, выдвинулъ ящикъ, какіе бывають въ кухонныхъ столахъ. Онъ читалъ гораздо дольше, чѣмъ, казалось, требовали три странички небольшого листа. Андрей лежалъ недвижно, смотря, какъ на столъ образовывалась выпуклая, медленно подвигавшаяся лужица отъ цвѣтовъ.

— Она, значитъ здѣсь? — спросилъ, наконецъ, старшій

— Да. Она узнала изъ газетъ и поѣхала къ намъ... Къ тебѣ. Она любитъ тебя.

Леонидъ поморщился.

— Опять все стронуть сначала! Вѣдь я-то уже не тотъ.

— Вотъ потому-то ты и можешь ее видѣть.

— Какъ видѣть?

— Она сейчасъ придетъ сюда.

— Андрей!...

— Она тоже уже не та... — началъ было младшій, но отъ двери, какъ продолженіе его рѣчи, раздалось:

— Да. Я уже не та. Я люблю и любила васъ, Леонидъ Петровичъ, но думала только о себѣ и потому не могла понимать. Простите меня... Теперь я оцѣнила и ваши чувства, и ваше геройство... Простите меня...

— Варвара Игнатьевна, — перебилъ ее Андрей, — не надо! Вы все это написали въ письмѣ гораздо лучше, а братъ читалъ его. Пусть Леонидъ только посмотритъ на васъ, — вотъ все, что надо.

— Да, да... Только посмотритъ — повторила растерянно поѣзжительница.

Леонидъ не двигался, не поднималъ глазъ. Наконецъ, взглянулъ и вдругъ поцѣловалъ брата.

— Спасибо, Андрюша.

— За что, за что?

— Такъ это правда? — сказала Кольцова и двинулась ближе.

— Правда, правда! Только теперь я счастливъ. Эту недѣлю мы не будемъ разставаться.

— Недѣлю?.. Ахъ, да! Вѣдь вы опять увъжаете... и вы должны ѣхать! Я буду еще счастливѣе, потому что теперь я думаю о себѣ послѣдней. Вы не будете убиты, а если... а если... не сердитесь, Леонидъ Петровичъ, теперь я знаю, какъ быть счастливой!

— Думать о другихъ?

— Нѣтъ. Это похоже на мораль. Но давать всѣмъ приближающимся нужное имъ счастье. Любить ихъ.

— Но меня больше другихъ?

— Если вы отъ этого счастливы — хорошо.



В. Д. ФИНТИН.

ТРЕТІЙ ВТОРНИКЪ.

Сегодня провожала мужа. Мнѣ хотѣлось плакать, не скрою, но я замѣтила, что всѣ провожавшіе крѣпились, и я сдержалась. И потомъ это могло бы показаться лнцемѣріемъ. Конечно, Алексѣй Петровичъ ничего не знаетъ, но я сама-то знаю. Мнѣ стало досадно, что вѣ голову мнѣ приходитъ Ипполитъ... не надо, не слѣдуетъ! Я внимательно стала смотрѣть на озабоченное, какое-то посѣрѣвшее лицо мужа, чтобы отогнать отъ себя другое лицо съ выпуклыми карими глазами, темными усами, полное и розовое. Другимъ оно показалось бы нѣсколько животнымъ. Можетъ быть, это и правда, но минутами я забываю объ этомъ. Конечно, это — минуты слабости, но онѣ мнѣ всего дороже. Все это такъ недавно, такъ неожиданно случилось, какъ говорятъ, налетѣло, что я сама еще не могу сообразить, какъ это могло произойти. У меня бываютъ секунды странной разсѣянности, будто меня только что разбудили и я смотрю на себя, словно со стороны. Сейчасъ мнѣ трудно представить, что уѣзжающій — мой мужъ, Алексѣй Петровичъ. Конечно, я люблю его, но у меня не было слабости, не было забыванія чего-то при немъ, и никогда не было. А съ Ипполитомъ было; вѣроятно, потому я его и люблю. Но иногда онѣ мнѣ бываетъ противенъ. Будто что-то освѣтитъ его по другому... Можетъ быть, это и называется „опомниться?“ Я не знаю. Страшная лѣнь думать! Мужъ цѣлуетъ и креститъ Сережу, поднимаетъ его. Поднявъ вуаль, я замѣчаю, что у меня все лицо мокро отъ слезъ.

— Не надо, Аня, такъ огорчаться. Все будетъ прекрасно.

Если бы поѣздъ не долженъ былъ сію секунду трогаться, я бы во всемъ призналась мужу, и поступила бы нехорошо. Нужно мучиться и выворачиваться самой. Но я что-то не очень мучусь, вотъ вѣ чемъ дѣло. Рядомъ пожилая дама, не отрываясь, цѣлуетъ молодого офицера. Мнѣ хочется увидѣть его лицо, но дама не отпускаетъ: все цѣлуетъ и креститъ, креститъ и цѣлуетъ. Если онъ похожъ на мать, онъ долженъ быть очень красивъ. Не представляешь себѣ, что этотъ молодой человекъ, Алексѣй Петровичъ, всѣ ѣдутъ сражаться и могутъ быть убиты. Вагоны такіе же, какъ для поѣздки вѣ Крымъ, за границу, вѣ словахъ кондукторовъ иѣтъ ничего особеннаго, и отѣѣзжающіе такіе, какъ часто бываютъ отѣѣзжающіе. Женщины плачутъ, но когда же онъ не плачутъ? Вотъ я заплакала, вспомнивъ о любовникѣ... Боже мой, Порчевъ — мой любовникъ! И онъ ждетъ меня у подѣѣзда вокзала... Надо не позабыть отослать Сережу сѣ нянкой домой. Неужели Алексѣя Петровича убьютъ? Говорятъ, тамъ, на мѣстѣ люди чувствуютъ себя спокойнѣе и проще. Я этому вѣрю. Но я такъ боюсь мертвыхъ, т. е. покойниковъ... я даже не была на похоронахъ дяди Марка. Мужъ стоитъ уже на площадкѣ. Еще разъ цѣлую его. Плачу, сморкаюсь.

— Не оступитесь, сударыня, поѣздъ сейчасъ трогается! — говоритъ мнѣ изъ окна молодой офицеръ. Онъ, дѣйствительно, очень красивъ, но совсѣмъ не похожъ на мать.

— Аня, условимся такъ, голубка: думай обо мнѣ крѣпко, крѣпко вѣ третій вторникъ, отъ сегодняшняго считая. И я буду думать.

— Да. Ну, и что же выйдетъ?

— Вотъ мы посмотримъ.

— Третій вторникъ? хорошо.

— Я, конечно, буду писать. Не забудь позвать Вяжлинскаго. Сережа что-то кашляетъ.

— Хорошо, хорошо.

— Смотри, не забудь. Ты самъ, Сережа, напомни мамѣ, чтобы позвонила доктору.

— Я не забуду.

Фигура Алексѣя Петровича пошатнулась и двинулась. Сережа побѣжалъ впередъ козликкомъ. Старую даму вела подѣ руки молодая дѣвушка и ливрейный лакей. Да, нужно отыскать

няньку и отправить съ мальчикомъ. Но ея нигдѣ не видно. У фонаря ждетъ Ипполитъ!.. Какъ же съ нянькой? Эти старухи такъ безтолковы!

— Мама, гдѣ же няня?

— Я не знаю, я сама смотрю, гдѣ она.

— Богъ съ нею! она приѣдетъ... поѣдемъ вдвоемъ!

— Я хотѣла зайти еще въ одно мѣсто...

— Не стоитъ, мама. Поѣдемъ домой — папы нѣтъ!

— Ты, все равно, сейчасъ ляжешь спать.

— И ты ложись.

Няньки такъ и не отыскали. Пришлось ѣхать домой. Не знаю, видѣла-ли Ипполитъ, какъ я садилась на извозчика. Ну, позвоню ему, извинюсь... А то, правда: я какъ-то устала сегодня, да и неудобно, отчасти, въ первый же день отлучаться изъ дому.



Какъ это ни странно, но съ отъѣздомъ мужа, у меня будто меньше свободнаго времени. Сережа, дѣйствительно, немного прихворнулъ, но не въ этомъ, конечно, дѣло, а воздухъ какой-то другой сдѣлаался. Въ тотъ первый день Ипполитъ не разсердился; огорчился, разумѣется, но понялъ меня. Онъ, бѣдный, кажется, наоборотъ, рассчитывалъ на это время, какъ на время усненной любви. Онъ думалъ, что мы почти не будемъ разставаться. Можетъ быть, это было бы естественно, но какъ-то не вышло, я не знаю отчего. Я не перестала его любить, отнюдь нѣтъ, даже тѣ не частыя минуты, что мы съ нимъ видѣлись, меня радовали больше прежняго, но мнѣ все вспоминается тотъ вечеръ, какъ я провожала мужа. Неужели я влюбилась въ того мальчика, котораго крестила и цѣловала мать? Онъ очень красивъ... Но, нѣтъ, нѣтъ... когда я точно вспоминаю, мнѣ дѣлается яснымъ, что этотъ офицеръ — не болѣе, какъ деталь, обстановка, а главное, главное — это неожиданно сознанное чувство, что я провожаю на войну и что уѣзжающій — мнѣ мужъ и перестаетъ уже быть просто Алексѣемъ Петровичемъ, а дѣлается чѣмъ-то большимъ, болѣе значительнымъ.

Тогда я не такъ ясно себѣ это объясняла, но теперь вижу, что это было именно такъ.

Сегодня мы условились провести день вмѣстѣ. Сережѣ легче, и онѣ на недѣлю отосланѣ къ моей сестрѣ въ Царское, такъ что я не только свободна, но даже чувствую себя нѣсколько одинокой. Какъ это часто бываетъ, заранѣе назначенное удовольствіе и веселье не удавались. Ни завтракъ, ни катанье, ни обѣдъ, ни театръ — ничто не приводило бездумнаго веселья, на которое мы рассчитывали. Я старалась, какъ могла, наполнить день такимъ образомъ, чтобы все время быть на людяхъ, не оставаться вдвоемъ. Не знаю, замѣтилъ ли это Ипполитъ, но къ концу вечера его глаза дѣлались все печальнѣе, будто у дѣтей, которые не просятъ, но ждутъ обѣщаннаго подарка, а его все нѣтъ, и нѣтъ.

— Тебѣ не холодно? — спросилъ Ипполитъ въ театрѣ.

— Нѣтъ, — отвѣчала я, еще не понимая, къ чему завелъ онѣ разговоръ.

— Ужасно скучная пьеса! — сказалъ онѣ болѣе ясно.

Оставался еще цѣлый актъ. Въ антрактѣ я видѣла, что Ипполиту очень хочется задать мнѣ одинъ вопросъ, отлично мнѣ извѣстный, но на который я не могла себѣ отвѣтить. Мнѣ сдѣлалось досадно и на себя и на него; на свою нерѣшительность и на его нечуткость. Я сердилась, зачѣмъ онѣ обѣ этомъ думаетъ и зачѣмъ онѣ не говоритъ просто. Но его, не привыкшее къ выразительности, лицо было такъ печально, что мнѣ сдѣлалось его почти жалко. Я старалась все говорить, какъ могла мягче, но вышло все-таки ворчливо:

— Ипполитъ, ты совершенно правъ: и холодно, и скучно. Проводи меня домой.

— Ты хочешь ѣхать къ себѣ?

— Да. Проводи меня.

Кажется, онѣ не переставалъ еще надѣяться.

— А я дома у себя приготовилъ закусить.

— Развѣ мы уславливались ѣхать къ тебѣ?

— Я такъ думалъ, что это само собой разумѣется. Мы не уславливались, мнѣ просто очень хотѣлось этого.

Онѣ сконфуженно и недовольно умолкъ.

— Я не предполагала этого. Отложимъ до другого раза. Я поѣду домой. Проводи меня.

Только когда я простилась съ нимъ у подѣзда, не приглашая зайти, онъ понялъ, что сегодняшній день потерянъ.

Отъ Алексѣя Петровича получила два письма. Онъ уже участвовалъ въ бою, описываетъ просто, безъ ужасовъ, такъ же, какъ переходы, какъ справляется о домѣ, о Серержѣ, обо мнѣ. Эти безхитростныя строки я сама оживляла красками, картинами и представляла себѣ все гораздо ярче, чѣмъ при чтеніи художественныхъ разсказовъ, или патетическихъ корреспонденцій. Я перечитывала многія мѣста по нѣскольку разъ и всегда воображала по разному: то со стороны картинности, то со стороны психологіи, то со стороны идейности великой кампаніи. Однажды, поймавъ себя на этомъ занятіи, я словно опомнилась и мнѣ стало стыдно. Неужели я такъ безсердечна, такъ суха и равнодушна, что могу предаваться фантазіямъ, между тѣмъ, какъ живой человекъ, мой мужъ, передъ которымъ къ тому же я виновата (и какъ!) сражается, трудится, подвергается ежеминутной опасности! Въдь это не поэтическая фикція, а человекъ съ руками и ногами, отецъ Серержи, Алексѣй Петровичъ, тамъ, въ походѣ! Вспоминаю его лицо, его привычки, выраженія, что-нибудь самое домашнее, потому что, тѣмъ дѣйствительнѣе мнѣ кажется тогда война. Да, да, обыкновенный человекъ и онъ — герой. Если бы онъ до войны полгода говорилъ высокопарныя рѣчи, его геройство я сочла бы не настоящимъ. Гдѣ же Алексѣю Петровичу говорить восторженные рѣчи? Навѣрное, и тамъ повторяетъ свои „видите ли“, „знаете ли“, а на отдыхъ откроетъ свою чайницу съ желтыми китайцами на крышкѣ и заваритъ крѣпкаго чая (Попова, 3 р. фунтъ), какъ и всегда. Милый! Какъ хорошо, что у него не красивое лицо! пріятное, симпатичное, но не красивое... По моему, есть какое-то неприличіе мужчинамъ, старше двадцати пяти лѣтъ, быть красивымъ. Это какъ-то не ихъ дѣло. Красивый мужчина — какой ужасъ! вродѣ, какъ скажутъ „альфонсъ“. А Ипполитъ — красивый, но это меня не коробитъ. Иногда

очень даже красивѣ, когда оиѣ сидитѣ такѣ en trois quarts и свѣтъ сзади. Сколько ему лѣтъ кстати? Я думаю, не меньше тридцати. Боже мой! вѣдь я познакомилась съ нимѣ только вѣ февралѣ, а между тѣмѣ!.. Я не узнаю себя!.. Досадно, что Сережа все еще вѣ Царскомѣ, я нервничаю, когда одна. Но, конечно, пусть лучше поправится! Ему тамѣ хорошо: такѣ спокойно, тихо, хотя дѣти не очень-то цѣнятѣ покой. Я вспоминаю, какѣ я бывала вѣ Царскомѣ зимою. Видѣ снѣжной равнины на меня всегда дѣйствуетѣ неотразимо: какая нѣжность, умиленье, прощенье!

Сегодня мон именины. Я не могла отказать Ипполиту приѣхать кѣ нему прямо изѣ Царскаго. Казалось, спокойствіе желтѣющихѣ аллей еще не окончательно покинуло меня, когда я подѣвѣжала кѣ дому, гдѣ жилѣ мой любовникѣ. Ипполитѣ ждалѣ меня съ завтракомѣ, казался нетерпѣливымѣ и влюбленнымѣ. Я видѣла, какѣ горѣли у него глаза, которые онѣ опускалѣ каждый разѣ, какѣ замѣчалѣ мон взгляды. Руки его слегка дрожали, наливая вино. Хотя я была увѣрена, что я — единственная причина этого волненія, но такѣ ясно выказываемое, оно было мнѣ неприятно. Мнѣ, можетѣ быть, нужно было просто отсидѣться, чтобы послѣ царскосельскаго настроенія перейти кѣ свиданію. Я сидѣла вѣ шляпѣ передѣ холоднымѣ каминомѣ, спиною кѣ окну, стараясь не глядѣть, какѣ хлопоталѣ Ипполитѣ.

— Кушать подано! — доложилѣ онѣ шутливо, руки по швамѣ.

Но глаза держалѣ опущенными, будто боясь, что я прочту вѣ нихѣ слишкомѣ ясное желаніе. Онѣ — красивый, Ипполитѣ, и при случаѣ можетѣ быть забавникѣ. Что-то я должна вспомнить! вотѣ вертится... Ну, все равно, потомѣ вспомню...

Завтракали торопливо. Пили за мое здоровье, и за его, и общее, и за нашу любовь. Взглянувѣ, случайно, вѣ окно, я увидѣла сѣрое небо и мокрую крышу: идетѣ дождѣ.

Однимѣ лѣтомѣ мы жили верстахѣ вѣ пятнадцать отѣ Пскова. Ѣздили вѣ городѣ на лодкѣ, вотѣ вѣ такую же погоду, на разсвѣтѣ. Промерзали всегда страшно. Вспомнила мужа, онѣ тамѣ забнетѣ вѣ окопахѣ или вѣ пути. Стало неприятно, но это не

была жалость вслѣдствіе контраста, что вотъ, молъ, онъ тамъ зябнетъ и мерзнетъ, а я сижу въ теплѣ и пью вино съ чужимъ человѣкомъ. Нѣтъ, это было сложнѣе и проще, т. е. примитивнѣе. Просто Алексѣя Петровича я почувствовала необыкновенно роднымъ, какъ Сережу, у котораго все мило и ничто не стыдно. Поэтому, можетъ быть, и не такъ интересно? Охъ, ужъ эта интересность!

— Вы не веселы сегодня, Анна Петровна, или что-нибудь васъ тяготитъ?

— Нѣтъ, нѣтъ, ничего, увѣряю васъ.

— Отчего же тогда вы такъ грустны? Можно подумать, что вы разлюбили меня.

— Зачѣмъ же это думать? Увѣряю васъ, что я такая же, какъ всегда.

Ипполитъ пересѣлъ и обнялъ меня, я не двигалась, смотря въ окно.

— Вамъ скучно, что такая погода? Хотите, я спущу занавѣски и можемъ тогда, вообразить, что на дворѣ — вьюга, южная ночь, африканскій полдень, что хотите.

— Нѣтъ, не надо опускать занавѣсокъ, я и такъ могу вообразить, что угодно. Вотъ сообразить одной вещи я не могу: почему я здѣсь?

— Я что-то не понимаю. Какъ, почему вы здѣсь? — Отчего же вамъ и не быть здѣсь? Вы меня любите, я васъ обожаю... Что за мысль у васъ въ головѣ!?

— Не то, не то... — прошептала я и встала.

— Что васъ тревожитъ, дорогая? объясните мнѣ...

— Ахъ, Ипполитъ, я боюсь, что вы меня не поймете, или, что еще хуже, поймете не такъ, какъ слѣдуетъ.

— Когда же я васъ не понималъ, и кто можетъ лучше понять, какъ не тотъ, кто любитъ безъ мѣры?

— Тутъ дѣло совсѣмъ не въ вашей любви, а въ вашей тонкости, что ли...

— Ну, скажите, скажите!

Онъ снова сѣлъ ко мнѣ и обнялъ, говоря:

— Мы нервы сегодня, встали съ лѣвой ноги ради своихъ именинъ...

Онъ улыбался, нѣжась, какъ кошка н щекоча усами мою шею. Тихонько отстранявъ его, я сказала:

— Я не могу быть съ вами, Ипполитъ...

— Ну, какія сказки!

— Нѣтъ, это не сказки. Я говорю серьезно.

— Вы куда-нибудь торопитесь? Но какъ же было не устроить, чтобы сегодняшній день не былъ занятъ?

— Это не то.

— Что же?

— Я вообще не могу быть съ вами.

— Вы разлюбили меня! Но, Анна Петровна, вѣдь этого же не можетъ быть! это нелѣпо!..

— Я говорюла, что вы все поймете шиворотъ-на-выворотъ.

— Но какъ же это прикажете понимать? Ясное яснаго, что вы меня не любите больше.

— Совсѣмъ не то. Я не могу быть съ вами.

— Развѣ это не одно и то же? И потомъ, что случилось? Что произошло? Ну, успокойтесь, ну, расскажите мнѣ, въ чемъ дѣло.

Онъ такъ боялся, такъ волновался, что мнѣ сдѣлалось слегка неловко. Онъ былъ очень красивъ, но безконечно далекъ. За окномъ, не переставая, шелъ дождь. Мнѣ дѣлалось просто скучно. Можетъ быть, Ипполитъ правъ и я разлюбила его, вѣдь иногда это случается очень неожиданно. Онъ ждалъ объясненій, но какъ объяснить то, чего сама не понимаешь?

— Но вѣдь вы же не могли меня разлюбить, а между тѣмъ вотъ уже третій вторникъ, съ тѣхъ поръ, какъ уѣхалъ вашъ мужъ...

— Какъ третій вторникъ?

— Очень просто. Онъ уѣхалъ девятнадцатаго августа, а сегодня девятое сентября.

— Да.

Навѣрное, лицо мое изобразило радость, которая обманула Ипполита, потому что онъ вдругъ воскликнулъ:

— Ну, видите, какая вы нехорошая!

— Да, я очень нехорошая.

— И я былъ правъ, вы просто сегодня встали съ лѣвой ноги.

— Вы были правы: я совершенно разлюбила васъ, да, можетъ быть, никогда и не любила.

— Какъ это?

— Не надо говорить. Прощайте. Какъ хорошо, Боже, какъ хорошо!

Вѣроятно, Ипполитъ подумалъ, что я сошла съ ума. Я не знаю. Я не видѣла его съ тѣхъ поръ. Можетъ быть, онъ уѣхалъ. Но этотъ третій вторникъ былъ однимъ изъ самыхъ счастливыхъ дней моей жизни. И какъ хорошо, что раньше я ни въ чемъ не призналась Алексѣю Петровичу!



Т. В. СЛЁЗКИНОЙ.

П Я Т Ь
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВЪ.

Высокій учитель чуть не свалился, запнувшись о тонкую бичевку, протянутую на четверть аршина отъ пола, одинъ конецъ которой былъ привязанъ къ классной доскѣ, другой же терялся подъ задними партами.

— Это еще что? — проворчалъ онъ, поправляя пенснѣ.

Изъ сдержаннаго смѣха и какого-то секретнаго оживленія, прошедшаго по классу, послышалось что-то вродѣ „минное загражденіе!..“

— Кто же долженъ получить за это минное загражденіе именинное награжденіе? — спросилъ учитель, раскрывая журналъ.

Онъ былъ признанный остроумецъ и старался держать себя по-русски, балагуромъ, хотя фамилія его была Цванцигъ.

— Убрать это сооруженіе: вы еще не въ дѣйствующей арміи. Навѣрное, это вы придумали, Оконниковъ, недаромъ у васъ такой сонный видъ.

— Я? Да почему я, Евгений Павловичъ? — оправдывался красный, слишкомъ высокій для всего пятого класса, и, дѣйствительно, нѣсколько сонный мальчикъ.

— Ну, не вы, такъ Николаевъ.

— Нѣтъ, Евгений Павловичъ, это не я, — отвѣтилъ сухо болѣзненный, черненькій подростокъ и сейчасъ же опять опустился на скамью.

— Я вовсе не считаю васъ, государи мои, за какихъ-то особенныхъ шалуновъ или острыхъ разумомъ Платоновъ, но я, однажды, былъ случайнымъ слушателемъ вашего „политическаго“ разговора и, помня вашъ тогдашній воинственный азартъ, не удивился бы, если бы вы его примѣнили и въ нашемъ

„храмъ науки“, хотя наше заведеніе, особенно по составу слушателей, не болѣе, какъ преддверіе, антишамбръ настоящей науки, подлинная же тамъ, у бывшаго дворцоваго моста, гдѣ коллегіи почему и студенты до сей поры называютъ другъ друга коллегами...

Николаевъ нахмурился во время рѣчи Евгенія Павловича и не оборачивался на толчки, которыми старался привлечь его вниманіе, еще болѣе покраснѣвшій, Оконниковъ. Имъ было досадно, что ихъ разговоры, которые они считали необыкновенно важными и секретными, стали извѣстны, да еще такому болтливому человѣку, какъ Евгеній Павловичъ. Едва кончился урокъ, какъ они поспѣшно поднялись на верхнюю площадку лѣстницы, гдѣ никогда никого не было, такъ какъ ученикамъ ходъ туда былъ запрещенъ, да и ходить-то на эту площадку, на которой находилась только дверь въ инспекторскую квартиру, было незачѣмъ. Сѣвъ на подоконникъ, Николаевъ началъ озабоченно:

— Какая досада, что этотъ болтушка гдѣ-то подслушалъ, какъ мы сговаривались, Ильюша.

— Да, скверно! — отвѣтилъ тотъ довольно равнодушно.

— Да не скверно, а отвратительно, невѣроятная гадость. Во-первыхъ, это вообще неприятно, а во-вторыхъ, онъ можетъ донести инспектору, даже домой написать — съ него станется!

— Ну, что онъ тамъ слышалъ! Какіе-нибудь пустяки. Такъ болтаетъ. Вѣдь мы въ училищѣ и говорили-то очень мало...

— Я удивляюсь тебѣ, Оконниковъ, какая ты рохля! А еще собираешься на такое дѣло...

— Какая же я рохля, Николаевъ? Но не могу же я кипятиться по пустякамъ!

— Какъ по пустякамъ! Ну, что ты теперь дѣлаешь?

— Слушаю тебя.

— Ничего подобнаго, смотришь, какъ приготоуишки въ снѣжки играютъ.

— Ужъ и въ окно не взгляни — какія строгости.

Оконниковъ покраснѣлъ и сѣлъ спиною къ стеклу, черезъ которое было, дѣйствительно, видно, какъ, соскребая снѣгъ съ мощенаго двора, бѣгали и визжали маленькіе реалисты въ длиннополыхъ, до пятъ, пальто. Николаевъ помолчалъ, но по-

томъ, видя, что его собесѣдникъ сидитъ не поворачиваясь, очевидно, смилостивился и началъ, хотя и суровымъ голосомъ, но который можно было принять и за дѣловой.

— Федора Цибулю видѣлъ?

— Видѣлъ.

— Говорилъ съ нимъ?

— Говорилъ.

— Какъ слѣдуетъ?

— Какъ слѣдуетъ.

— У меня тутъ еще одинъ кандидатъ есть отъ сапожнаго мастера. Можетъ быть полезенъ...

Оконниковъ, видя, что Вася даже посвящаетъ его въ свои планы, подобострастно замѣтилъ:

— Это вѣдь ничего, что отъ сапожника: намъ всякіе годятся.

Николаевъ только презрительно дернулъ острымъ плечикомъ, ничего не промолвивъ.

— Вотъ Федя хотѣлъ привести ко мнѣ даже не отъ сапожника, а просто мальчика, никакого.

— То есть, какъ никакого?

— Онъ — ничей и нигдѣ не живетъ.

— Хулиганъ, что ли?

— Вродѣ того, хотя фамилія его — Разумовскій.

— Это ничего не значитъ. У тебя, Оконниковъ, хоть ты изъ купцовъ, ужасно аристократическія воззрѣнія. Не понимаю, откуда это? Или отъ твоей глупости?

— Что же я дуракъ, по твоему?

— Не уменъ. Да это, можетъ быть, еще лучше. Ты не унывай и не обижайся.

Видя, что товарищъ изъ купцовъ надулся, Николаевъ примирительно заключилъ:

— Такъ завтра на дворъ у васъ, за сараемъ. Только ты постарайся денегъ достать.

— Дуракъ, дуракъ, а денегъ доставать, такъ я долженъ!

У Оконниковыхъ уже чувствовалась близость праздниковъ: бабушка и мать постились, отецъ позже запиралъ лавку и дома долго еще шелкалъ на счетахъ, вездѣ былъ какой-то особенный беспорядокъ, пыль и запустѣніе, которые копятъ будто

для того, чтобы разительнѣй былъ контрастъ съ праздничной чистотою. И на Ильюшу какъ-то меньше обращали вниманія, хотя и вообще онъ не могъ пожаловаться на излншнюю опеку. Такъ, когда попадется отцу на глаза, тотъ скажетъ: „Учись, учись, Илья! Нечего слоновъ продавать, а то сейчасъ въ кассу посажу!“ Мать увидитъ, — найдетъ, что Ильюша худѣетъ, мало ѣстъ. Бабушка проворчитъ, что не крестясь за столъ садится, — но всѣ эти замѣчанія были мимолетными и сейчасъ же забывались, вовсе не предназначаясь для скорого исполненія. Зайдетъ ли въ которую-нибудь изъ двухъ комнатъ, называемыхъ „молодцовскія“, гдѣ въ одной на двухъ кроватяхъ помѣщались два холостые приказчика, въ другой на двухъ же кроватяхъ четыре мальчика, по двое на каждой, — сейчасъ къ нему съ вопросомъ: не получилъ ли Илья Васильевичъ кола, не побилъ ли его кто и т. п. Теперь же тамъ больше занимались политикой по „Петроградскому Листку“, а если и играли на мандолинахъ, то не прерывали этого занятія при приходѣ хозяйскаго сына, лишь очищая ему мѣсто на твердомъ диванѣ. Оконниковъ все высчитывалъ, сколько онъ получитъ къ празднику: отъ отца, — пять рублей, отъ матери — три, отъ старшаго брата — рубль, отъ бабушки — полтинникъ. Изъ нихъ нужно молодцамъ купить орѣховъ. Всего девять рублей останется — не больше. Канарейку, что ли, продать? Замѣтятъ... Нужно рублей двадцать достать, на остальныхъ компаньоновъ плоха надежда. Войти развѣ въ соглашеніе съ Прохоромъ Ивановичемъ, взять изъ магазинной кассы? Потомъ вернетъ, конечно... Да если бѣ отецъ зналъ, онъ самъ не пожалѣлъ бы!.. Нѣтъ, открываться никакъ нельзя, уже по одному тому, что онъ далъ Николаеву клятву не дѣлать этого. Ильюша съ тоскою посмотрѣлъ на сухое лицо Прохора, причесывавшагося гребешкомъ. Нѣтъ, тотъ не согласится. Въ комнатахъ было тепло, въ сосѣдней мать съ бабушкой уже совѣщались о праздничныхъ покупкахъ, а тамъ-то, навѣрное вѣтеръ свищетъ, пули, снѣгъ!.. Не будетъ мягкихъ подушекъ въ полосатыхъ наволочкахъ, ни пироговъ по праздникамъ, ни матери, ни бабушки, ни канареекъ, ни Прохора Ивановича, — даже ничего не будетъ!.. Но будетъ что-нибудь другое! Не можетъ быть, чтобы такъ-таки ничего

не было. Но неизвѣстное пугало Ильюшу, обладавшаго отъ природы нѣжною и нѣсколько робкою душою. Нельзя, однако, сказать, что къ тому шагу, на который онъ рѣшился, подстрекнули его слова Николаева, который вообще всегда и всѣмъ былъ недоволенъ. Нѣтъ, впервые подвигли къ отвагѣ и риску кроткаго Ильюшу безформенные, похожіе одинъ на другого, гдѣ кромѣ типографскихъ грязныхъ пятенъ почти ничего нельзя было разобрать, портреты въ „Петроградскомъ Листкѣ“. Юные герои: гимназисты, реалнсты, казачки, просто такъ мальчики, шестнадцати, четырнадцати, двѣнадцати и даже десяти лѣтъ. Оконниковъ не только научился видѣть глаза и носъ въ сплошной сѣрой грязи, но даже различалъ одного героя отъ другого, помнилъ ихъ имена и все воображалъ себѣ подпись „Оконниковъ, Илья, пятнадцати лѣтъ“. Иногда онъ произносилъ вслухъ эти слова и прислушивался: будто вдали по Кировной идутъ солдаты, а у Спаса Преображенья звонятъ къ вечернѣ. Совсѣмъ другое впечатлѣніе на Ильюшу производятъ слова: „Отъ штаба Верховнаго Главнокомандующаго“. Это онъ произноситъ истоиво, будто читаетъ Апостола и съ трудомъ удерживается, чтобы не прибавить „вонмемъ“. И простыя, сдержанныя, русскія торжественныя слова донесеній несутъ въ себѣ необыкновенную убѣдительность и возвращаютъ каждому слову его точное, первоначальное значеніе, такъ что, когда тамъ читаешь „лхая атака“ то знаешь, что это — не красота стила беззаботнаго корреспондента, а подлинно „лихая атака“ — ничего больше, но и ни на пядь меньше. Гдѣ бы ни видѣлъ Ильюша хотя бы клочекъ газеты съ этими строчками, печатанными жириымъ шрифтомъ, на него находилъ какой-то туманъ и нѣсколько сонный восторгъ, — и тогда бабушка, пироги, подушка — казались неважными, ни переставая быть милыми, а настоящее, торжественное, суровое и блистательное — тамъ. Неужели онъ, Ильюша Оконниковъ, поминутно краснѣющій, откормленный ватрушками, да блинчиками, сможетъ хотя бы подержаться за ту завѣсу, за которой все важное, божественное и слушая о чемъ всегда нужно про себя вымолвить: „премудрость прости!“

А десять-то рублей взять негдѣ! Дня черезъ два нужно бѣжать, гдѣ же ихъ взять? Ильюша съ тоскою обвелъ глазами

свою комнатку: широкая кровать, сундукъ, ломберный утлый столикъ съ тетрадами и книгами, Казанская въ углу, закрытая клѣтка у окна, ремень на полу... Гдѣ же десять рублей?

Въ дверь бокомъ вползла мать, держа руку въ карманѣ, гдѣ тихо звякали ключи.

— Ильюша, ты не спишь?

— Нѣтъ, мама, — отвѣтилъ тотъ, вставая.

— Вотъ что, другъ мой... Сослужи мнѣ службу. Скоро праздники, а сама я въ этомъ не понимаю... по секрету надо сдѣлать... какъ пойдешь изъ училища, зайди къ Виноградову и купи гармонь молодцамъ. Я не знаю, какую надо. Самъ выбери... И незамѣтно съ чернаго хода пронеси. Я встрѣчу и гармонь спрячу. Очень имъ хочется, да мнѣ и самой мандолина-то надоѣла. Вотъ тебѣ десять рублей, завтра, или послѣ завтра, какъ улужишь время и сходи. Понялъ? — спросила она, видя, что Ильюша, зажавъ бумажку, ничего не говоритъ.

— Понялъ.

-- Хорошую выбери, попробуй.

— Попробую.

— Деньги-то не потеряй.

— Нѣтъ, нѣтъ, — пробормоталъ Ильюша, крѣпче сжимая бумажку и глядя на лампадку передъ Казанской.

Вася Николаевъ занимался политикой и чтеніемъ газетъ совсѣмъ иначе, чѣмъ Оконниковъ Ильюша. Можетъ быть, это происходило оттого, что онъ читалъ другія газеты, а можетъ быть, отъ разности характеровъ и домашней обстановки. Сынъ небогатаго чиновника, недовольнаго и своимъ положеніемъ, и начальствомъ, и всѣмъ на свѣтѣ, такъ какъ приходилось еле-еле сводить концы съ концами, Вася привыкъ къ секретному фрондерству и къ тому, что называется, держать кукишъ въ карманѣ, но у него по молодости лѣтъ этотъ кукишъ часто вылезалъ и наружу. Онъ все бранилъ, причѣмъ такимъ газетными выраженіями, что прослылъ мальчикомъ умнымъ, самостоятельнымъ и чуть-чуть опаснымъ. Главнымъ его удовольствіемъ было умничать и командовать, будто этимъ онъ возмѣщалъ хотя бы отчасти разныя домашнія, несправедливыя, по его мнѣнію, недостатки. Стремленіе начальствовать подружило

его съ Оконниковымъ, желанье же быть самостоятельнымъ и протестовать побудило къ побѣгу. Побѣгъ — всегда протестъ. И въ предполагаемой компаніи онъ, конечно, будетъ главой, вдохновителемъ и распорядителемъ. Его черные глазки горѣли, и въ разговорахъ на дворѣ за сараемъ сквозь избитыя газетныя фразы чувствовалось настоящее одушевленіе.

Въ назначенное время Николаевъ явился со своимъ кандидатомъ, Петромъ Ямовымъ, сапожнымъ подмастерьемъ. Пѣвчій, Ѳедоръ Цибуля пришелъ самостоятельно. Наконецъ, прибылъ и Оконниковъ въ сопровожденіи „просто такъ“ мальчика лѣтъ четырнадцать на видъ, но который увѣрялъ, что ему всѣ семнадцать, Николая Петровича Разумовскаго. Разумовскій, не смотря на драный костюмъ и неопредѣленное положеніе, имѣлъ видъ менѣе забитый и отчаявшійся, нежели пѣвчій и сапожникъ. Приключенія и необходимость жить своимъ умомъ развила въ немъ сообразительность практическую въ отличіе отъ теоретическихъ умничаній Васи Николаева. Послѣдній мелькомъ взглянулъ на вновь пришедшаго и, сухо молвивъ „здравствуй“, сунулъ ему свою руку. Очевидно, Разумовскій ему не понравился, потому что съ послѣдующими словами онъ обращался все къ двумъ другимъ подначальнымъ, будто Оконникова и его протеже здѣсь совсѣмъ не было:

— Теперь всѣ въ сборѣ?

— Всѣ.

Затѣмъ въ краткой рѣчи Николаевъ напомнилъ объ общемъ планѣ, указалъ на всю значительность ихъ предпріятія, на возможную славу, назначилъ, что каждому дѣлать и ясно далъ понятіе въ концѣ, что, какъ во всякомъ дѣлѣ, имъ нужно согласіе, которое скорѣе всего достигается добровольнымъ подчиненіемъ кому-нибудь одному.

Оконниковъ задумчиво сгребалъ пальцемъ снѣгъ съ полъницы и размышлялъ, почему Васины слова совершенно не производятъ такого дѣйствія какъ печатныя донесенія, — никакой торжественности нѣтъ, а только чувствуешь досаду, зачѣмъ это такъ трескуче и не по-настоящему. Неизвѣстно, что думали остальные бѣглецы, но когда Николаевъ умолкъ, Разумовскій спросилъ прямо къ дѣлу:

— Деньги-то на дорогу есть?

— Найдутся, — надменно отвѣтилъ атаманъ.

— То-то, а то безъ денегъ недалеко уѣдешь.

— Вотъ я шестьдесятъ семь копѣекъ принесъ, — прошепелявилъ сапожникъ и передалъ пригоршню мелкихъ денегъ Николаеву.

— У меня тоже рубль есть, — проговорилъ Цибуля, но денегъ не вынулъ.

— У меня девятнадцать рублей набралось, — объявилъ, покраснѣвъ, Оконниковъ и открылъ было кошелекъ, но Николаевъ остановилъ его, говоря:

— Не надо отдавать, наоборотъ возьми и у другихъ, ты будешь нашимъ казначеемъ. Вотъ мои пять рублей. Господа, давайте Оконникову у кого сколько есть!

Съ избраніемъ Ильюши въ казначеи, вообще началось болѣе точное распредѣленіе должностей. Самъ Николаевъ, конечно, оказался вдохновителемъ, администраторомъ и заправкой, на сапожника возложили обязанность чинить въ дорогъ ихъ платье, вообще слѣдить за гардеробомъ. Цибуля вызвался заботиться о пропитаніи, а кромѣ того сказалъ, что, если денегъ не хватитъ, то онъ можетъ по дорогъ „славить Христа“.

— Кому Христа-то будешь славить? Нѣмцамъ, что-ли? Нѣтъ, ужъ если монетъ не будетъ хватать, или чего тамъ другого, то я вамъ достану! — возразилъ Разумовскій.

— Ты достанешь? Какъ не достать! Воришка ты, больше ничего. Смотри, Оконниковъ, у тебя бы онъ не стащилъ!..

— Зачѣмъ же я буду свои собственные таскать? А если бы и случилось, то это все равно, что изъ одного кармана въ другой переложить.

— Однимъ словомъ, теперь вамъ все извѣстно, — прекратилъ пререканія Николаевъ, — завтра на Варшавскомъ вокзалѣ. На Варшавскомъ, не на Балтійскомъ. Ты, Оконниковъ, приходи раньше съ Цибулей и Разумовскимъ и возьми билеты, а я приведу Ямова. Поняли?

Очевидно, всѣ поняли, потому что, когда на слѣдующій день Николаевъ съ сапожникомъ подходили къ вокзалу, у подвѣзда ихъ встрѣтилъ Цибуля и повелъ внутрь, гдѣ въ длин-

номъ хвостъ передъ кассой стоялъ Ильюша, а Разумовскій караулилъ какіе-то узелки.

— Это чьи-же вещи? — спросилъ администраторъ, указывая на свертокъ въ темномъ платкѣ съ цвѣточками.

— Это нашъ казначей привезъ. Не знаю, что тутъ у него находится.

— Тутъ думку я захватилъ съ собою, — объяснялъ подошедшій съ билетомъ Оконниковъ, — поѣсть кое-что и перемѣна бѣлья.

— Запасливый малый! — сказалъ Разумовскій.

Но Николаевъ даже не улыбнулся, а тотчасъ сталъ вполголоса дѣлать распоряженія. Онъ былъ блѣденъ и страшно серьезенъ. Оконниковъ казался заплаканнымъ. Остальные имѣли видъ довольно обыкновенный. Когда поѣздъ тронулся, Ильюша и пѣвчій перекрестились.

— Бабушка научила? — спросилъ сапожникъ.

— Чего это?

— Креститься.

— Я самъ знаю.

— Ничего, ничего, казначей! — подбодрялъ его Разумовскій: — это не мѣшаетъ. Скоро вѣдь сдѣлаемся „христоролюбивымъ воинствомъ“.

Однако, самъ не послѣдовалъ Ильюшину примѣру. Николаевъ все сговаривался, что отвѣчать, если въ дорогѣ ихъ будутъ спрашивать, куда они ѣдутъ. Но они не успѣли рѣшить, такъ какъ въ вагоны уже входили для провѣрки билетовъ. Старый служащій, посмотрѣвъ поверхъ очковъ на пятерыхъ путешественниковъ, спросилъ:

— А большихъ съ вами никого нѣтъ?

— Нѣтъ, — бойко отвѣтилъ Николаевъ.

— Куда же вы всѣ ѣдете?

— Въ Кіевъ къ дядѣ, — вдругъ отозвался для всѣхъ неожиданно Цибуля.

— Что же, вы всѣ родня между собою?

— Кто-таки родня, а кто такъ, по-сосѣдски... — продолжалъ, не смущаясь, пѣвчій.

— Почему же у васъ билеты въ С., развѣ вы ѣдете въ Кіевъ?

— Тамъ на лошадяхъ доберемся.

Служащій помолчалъ немного, потомъ произнесъ:

— Знаете что, господа? Мнѣ, конечно, все равно, но можетъ случиться, и даже очень можетъ, что къ вамъ кто-нибудь другой обратится съ тѣми же вопросами, такъ вы придумайте что-нибудь посуразнѣе.

Когда служащіе ушли, Николаевъ набросился на пѣвчаго, зачѣмъ тотъ, не сговорившись съ другими, отвѣчалъ на разспросы.

— А что жъ такое? Видишь, какъ складно все вышло. А куда мы сговаривались бы, насъ бы всѣхъ арестовали.

— Положимъ, вышло совсѣмъ нескладно, — процѣдилъ Разумовскій, — но насчетъ сговоровъ Цибуля совершенно правъ: когда очень приспичитъ, нечего ужъ сговариваться, нужно каждому свое воображеніе имѣть.

— Но какой же выйдетъ порядокъ, если вы меня не будете слушаться? — не унимался Николаевъ.

— При случаѣ и порядку отиѣна бываетъ, — оправдывался Цибуля, радуясь поддержкѣ.

Разумовскій съ Ильюшей легли наверхъ, остальные расположились внизу, серьезные и взволиованные.

Неизвѣстно, спали ли нижніе путешественники и слышали ли они тихій шепотъ, которымъ долго наверху шелестѣли Ильюша съ сосѣдомъ. Навѣрное, имъ не снилось финала, который ихъ ожидалъ тотчасъ по пробужденіи. Для любого самаго прозанческаго сна, было слишкомъ непоэтично лицо жандарма, потребовавшего паспортовъ отъ нашихъ пассажировъ, а самихъ путниковъ пригласившаго въ станціонную комнату. Пошло за нимъ только трое: Николаевъ, сапожникъ и пѣвчій; Разумовскій и Ильюша куда-то пропали.

— Вотъ всегда такъ! — ворчалъ Николаевъ, шагая передъ жандармомъ, — никакого порядка. Сколько разъ я говорилъ, что надо держаться всѣмъ вмѣстѣ, не разбиваться. А теперь что же? Мы здѣсь, а они неизвѣстно гдѣ.

— Можетъ быть, струсилн, ночью вылѣзли, да вернулись. Деньги-то всѣ были у Оконникова... — апатично предположилъ Цибуля.

— Ужасно досадно! А потому что всё врозь, никто не слушается!

— А насъ теперь что, домой вернуть? — интересовался сапожникъ.

— Почему я знаю! — нетерпѣливо отвѣтилъ Николаевъ, но по всему было отлично видно, что, если онъ не зналъ, то прекрасно предполагалъ, что съ ними сдѣлаютъ.

Ихъ, дѣйствительно, благополучно вернули въ Петроградъ къ родителямъ, а тѣ двое такъ и пропали. Въ городъ ихъ не оказалось и вообще ничего не было о нихъ извѣстно, пока у Оконниковыхъ не было получено письма отъ Ильюши, въ которомъ онъ чистосердечно просилъ прощенья за то, что не купилъ гармоніи и рассказывалъ, какъ онъ добрался до позиціи. Письмо это читалось и всѣми вмѣстѣ, и каждымъ членомъ дома отдѣльно, потомъ перешло въ молодцовскую, Прохоръ Ивановичъ читалъ его кухаркѣ, затѣмъ носили его по знакомымъ домамъ и сосѣднимъ лавкамъ, пока не выучили почти наизусть. Затѣмъ свѣдѣнія прекратились до самой той поры, когда исполнилась мечта Ильюши и его портретъ съ грязнымъ пятномъ вмѣсто носа не появился въ „Петроградской Газетѣ“ съ совершенно такою же подписью, какъ ему представлялось: „Оконниковъ, Илья, 15 лѣтъ“. Тутъ вдругъ даже Ильюшина мать получила способность разбирать газетные снимки и, еще не читая подписи, воскликнула: „Господи помилуй! Ужъ это не Ильюша ли здѣсь нарисованъ?“

И опять листокъ запутешествовалъ изъ хозяйскихъ комнатъ въ молодцовскую, потомъ на кухню, по сосѣдямъ и знакомымъ, на праздникахъ его показали даже Федору Цибуль, пришедшему Христа славить.

— Илью нашего видалъ? — спросила Оконникова пѣвчаго, подавая ему замусоленный газетный листокъ.

— Оконниковъ Илья, — прочиталъ тотъ и вздохнулъ.

— А мы вотъ не сподобились. Кому какая судьба! а все Николаевъ этотъ егозилъ — вотъ ничего и не вышло.



ПРИМЕЧАНИЯ К ПЯТОМУ ТОМУ

Плавающие-путешествующие.

Первое издание романа вышло в середине февраля 1915 г. в изд-ве М. Семенова. Его не удалось разыскать (мне даже сообщали, что и специалисты никогда не видели этой книги). В *К XX-летию литературной деятельности Михаила Алексеевича Кузмина* (Л. 1925) сказано, что существовали три экземпляра первого издания без цензурных пропусков. Второе издание появилось там же в том же году в июле, но уже как шестой том Собрания сочинений. В нем две главы подряд обозначены как двенадцатые. В 1923 г. в Берлине («Петрополис») вышли идентичные третье и четвертое издание с посвящением «дорогому Юр. Юркуну». Разночтения во втором издании следующие:

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| 18,5-6 | так чего ж тут сердиться? |
| 23,28 | вон там книжка |
| 26,26 | чтобы он исполнил |
| 27,27 | — А Шпингалет еще у меня в долгу! |
| 31,25 | как будто будет сидеть тут три года |
| 32,12-13 | сшитом в подобие |
| 33,13 | он какой тонкий художник |
| 42,19 | с тонкою шиколкой |
| 48,27 | который должен был сию минуту придти |

- 63,9 сегодня я вас увижу [...] беспокойство.
65,5 опустясь
75,2-3 сама того не зная
78,15-16 можно возбуждать
83,31 — Как вы могли это подумать?
84,27 Но вы все слишком упрощаете
84,28 Это все совсем не так просто
84,29-30 если мой муж
89,11 не на просиженном и продушенном ди-
 ване
97,18-19 влюбленным в его же жену
111,6 вот уж никак
121,12 даже почти не говорила
126,1 узкие
126,3 с слегка опаленными
130,22 потому вам ничего и не скажу
144,25-26 не прикажешь ли ей сделать
150,32 одиноко пить
151,2-3 что вот она и здесь
153,4 покуда же мне
154,12 это же ужасно
161,13 отворил дверь
165,1-2 на руке
170,26 невыносимым
176,14 это была довольно глупая
187,33 жизни, будет жить окруженный забо-
 тами своего дяди, сам будет ласковым
188,1 поедут за границу
208,19 мою и веру и любовь
210,4 и крепко. [Слова «проговорила» нет]

- 215,29 смешно было и вспоминать.
 216,21 Наконец он вышел
 228,14 я всегда ищу, ищу, а вы
 233,4 вам обещаю
 233,11 все прошло
 236,17 на что-нибудь обиделись
 258,23-24 у которого теперь сидели
 275,31 наоборот, теперь гораздо и [sic] лучше

Плавающие-путешествующие — *gotap à clef* (см. *Зол. Руно* 1907/5:8: «...выведены некоторые современные писатели и художники»). См. расшифровку в *Russian Literature* (Amsterdam) VI-3 (July 1978):227-235.

Военные рассказы.

Вышло в Петрограде в 1915 г. в изд-ве «Лукоморье».

Ангел северных врат. Впервые в г. *Биржевые ведомости*, № 14470, от 2(15) ноября 1914:2-3 без посвящения и с разбивкой на восемь главок (II со слов «Медленно из отверстия» [8], III — «Домна вернулась» [10], IV — «Было ясно и сухо» [11], V — «Заметно темнело» [12], VI — «Незнакомец вынул» [14], VII — «Анна Николаевна говорила» [15], VIII — «Мама, позвал Федя».

- 7,1 Поезд ушел
 8,14 уютно. Оглядевшись по сторонам, Анна Николаевна
 8,9 Помирать не страшно
 9,6 Сходи, попроси, умоли

- 10,17 Пойдем пешком к тете Дуне!
 10,25 прошлый раз, как мы ходили?
 10,28 Но ты все-таки устанешь
 11,1 Анна Николаевна не придала
 11,31 да откуда-то проплачет грудной
 12,7 а попробуй, и пойдешь
 12,8 Но Феде
 12,29 в воздухе
 13,13 могли бы помочь,
 13,22 во сне или наяву.
 14,7 суровая нежность
 14,24 Они ехали
 15,8 Еще только серело
 15,22 Будьте спокойны
 15,29 если тут стоит.
 16,11-12 А где же сама тетя Дуня?
 16,14 поедem дальше

Серенада Гретри. Впервые в ж. *Аргус* 1914/20:65-71, датировано августом 1914, без посвящения.

- 21,6 стройной [...] фигуре
 22,22 но лезут в дом
 23,25 будто еще мирным
 27,18 не спуская глаз
 27,30 затряс

Пастырь воинский. Впервые в ж. *Огонек* 1914/40: [2-16]:

- 35,11 как дети, будто я вас родил, — скажет
 батюшка, обдернет ряску и застыдится.
 — Что-то много детей, батюшка! — шу-
 тят.

- Ну, ну ... которые сыновья, которые племянники.
- 35,14 курчавился. Говорили, что он прибежал к каким-то «средствам», выписав из Варшавы две баночки, но они не помогли, так как оказались «дамскими».
- 35,27 плохо, сам — стяжатель!..
- Какой же вы, батюшка, стяжатель?
- Стяжатель, повторит о. Василий и покосится на окно, где в ряд стоят завязанные банки с надписями «мирабель», «крыжовник».
- Так ведь вы душой не кривили?
- Не кривил, а вдруг покривил бы? Стяжателем сделался, так уж ругаться нельзя.
- 36,14 оставить? Наконец, выскакивает подпоручик в залу, где гулял о. Василий, и шепчет:
- Нет ли, батюшка, у вас десяти рублей отыгратья, завтра верну.
- Тот деньги дал и спрашивает:
- 36,20 разойтись. Те: «да вот последний раз», «да еще последний», «да самый последний». Тогда-то о. Василий и пришел в гнев: ряску обдернул и говорит:
- Что это вы, господа, пастыря не слушаться? Вам не пастыря, а пастуха нужно бы с орясиной, так вот вы бы слушались!

Сказал и умолк, сконфузился. Молчали и играли, а потом встали, что различными отдали, что записали и стали собираться домой, а о. Василия в шутку иногда пастушком звали, но без злобы или насмешки.

Но, конечно, они послушались не из страха, а по любви.

35,26

Разве это возможно?

36, 9 сн.

[после этого абзаца идет следующий]:

Но если о. Василий мог быть отличным наставником в частной беседе, то совсем не удавались ему проповеди. Выходило что-то такое простое и обыкновенное, чем любители духовного красноречия были недовольны, да и сам проповедник чувствовал это и говорил:

— Нет, я — не оратор. Любить я могу, а излагать не умею. Хотя во время войны один случай и выставил

37,1

Мы не стяжатели (на минуту вспыхнул, вспомнил, вероятно, о банках с вареньем), а будем биться

37,19

батюшка не молчит, а рассуждает, но рассуждает как-то

37,35-36

иконы вдоль всех стен

38, 7 сн.

без шляпы. Предлагали мне кивер... я ничего, не обиделся, да смешно уж очень!..

41,8

на горушке видели...

—Ах на горушке!.. Я просто гулял, смо-

трел, откуда ветер дует, дождя не будет ли...

А уж чего гулял, ветер смотрел, когда стоял как бесчувственный!

Офицер видит, что батюшка до того сконфузился, что даже отпираться стал — и умолк.

А о. Василий потом подошел к нему и тихонько спросил: — Вы, голубчик, про горку-то не болтайте, утаите, а то мне как-то стыдно.

41 [между двумя последними абзацами отдельным абзацем]:

Долго будут помнить свидетели ту горушку!

41, последний абзац:

Ничего, что батюшка, вернувшись, будет играть в винт, конфузиться и не уметь говорить проповедей, — придет нужный час, найдет о. Василий горушку, станет на молитву и даже несколько смутится, видя себя истинным молитвенником.

Кирикова лодка. Повидимому, до книги не публиковалась.

Правая лампочка. Впервые в г. *Биржевые ведомости*, № 14538, от 6(19) декабря 1914 без посвящения и с разбивкой на пять главок (вторая начинается словами «Солнце только что село» [54], третья — «— Почему это?», четвертая — «Тогда гостья весело встала»

и пятая — «Что делать теперь?»

- 53,4 тронула
- 53,16 означало
- 53,22 были отведены
- 54,27-28 все было выдержано
- 55,29 быстро перешла
- 55,31 будьте вежливы.
- 57,25 извещать сигналами врагов
- 58,3 уйдете живою...

Два брата. Впервые в ж. *Лукоморье* 1914/23:2-7 без посвящения:

- 61,21-22 связь между ее речами
- 65,4 причин
- 65,17 беззаботность делали
- 65,22 очень много
- 65, 1 сн. забыть совершенно о ней.
- 70,24-25 потому ничего не могла понимать

Третий вторник. Впервые в ж. *Лукоморье* 1915/5:8-12 без посвящения:

- 78,21 не могла сейчас ответить
- 80,29 вот вертится, вертится...
- 80,30-31 Пили и за мое здоровье, и за его, и за общее и за нашу любовь
- 80,32 увидала
- 80, после 7 сн. — Девятое сентября?
— Да.

Пять путешественников. Впервые в ж. *Лукоморье* 1915/2:1-7 без посвящения:

- 88,3-4 у бывшего Троицкого моста, в коллегиях, почему и студенты

СОДЕРЖАНИЕ

Плавающие-путешествующие 5

Военные рассказы

Ангел северных врат [281]

Серенада Гретри [295]

Пастырь воинский [309]

Кирикова лодка [319]

Правая лампочка [327]

Два брата [335]

Третий вторник [349]

Пять путешественников [361]

Примечания к пятому тому 374

Kuzmin, Mikhail Alekseevich, 1872–1936.
Proza.

ISBN 0-933884-45-1